

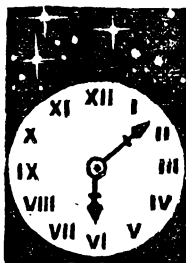
БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЗИНОВИЙ ЮРЬЕВ
**ЧАСЫ
БЕЗ ПРУЖИНЫ**

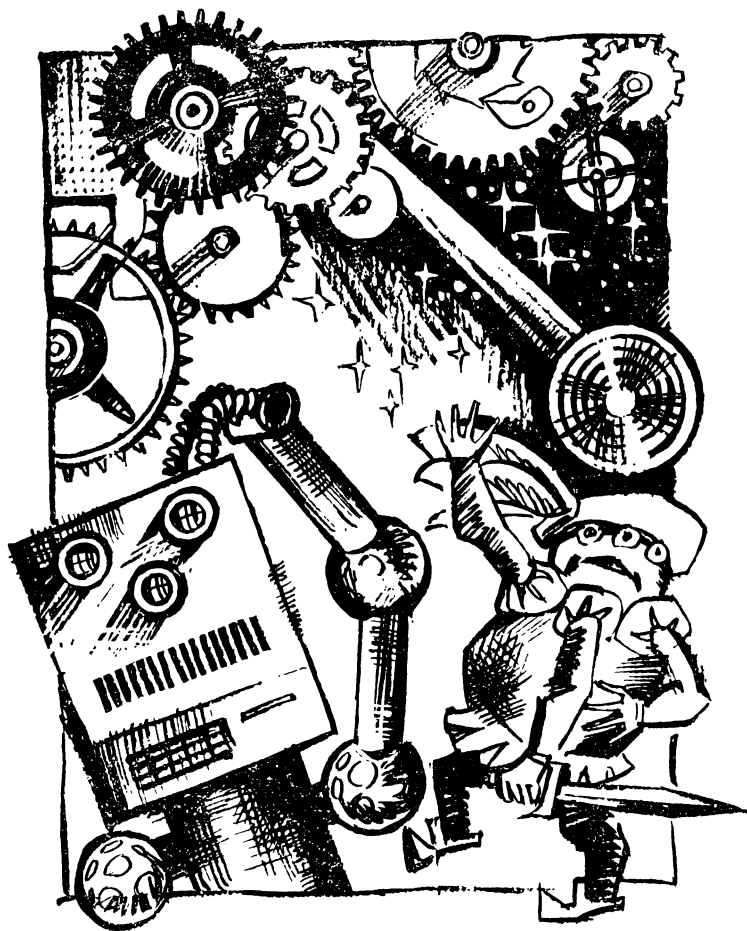


ЗИНОВИЙ ЮРЬЕВ ЧАСЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ

ЗИНОВИЙ ЮРЬЕВ



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЗИНОВИЙ
ЮРЬЕВ

ЧАСЫ
БЕЗ
ПРУЖИНЫ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1984

Юрьев З. Ю.

Ю 85 Часы без пружины: Повести. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 304 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

95 к. 100 000 экз.

В книгу писателя-фантаста Зиновия Юрьева вошли три повести: «Черный Яша», «Часы без пружины», «Беседы с королем Цурри-Эшем Двести десятым». Используя фантастические приемы, автор исследует взаимоотношения людей, их внутренний мир. Писатель затронул и интересную проблему взаимоотношений человека и искусственного интеллекта, с которой в будущем придется столкнуться человечеству. В повести «Беседы с королем Цурри-Эшем Двести десятым» автор в форме гротеска разоблачает нравы общества, в котором царят неравенство и частная собственность.

Ю $\frac{4702010200 - 126}{078(02) - 84}$ 121—84

ЧЕРНЫЙ ЯЩА

Глава I

Не знаю, как вы, а я вовсе не уверен, что астрономам удалось точно измерить продолжительность суток. Бывают дни коротенькие, даже куцые, когда ничего мало-мальски интересного просто не успевает случиться, а иногда, правда редко, выпадают дни просто удивительные по своей емкости. Если учет в небесной бухгалтерии поставлен прилично, они там должны считать такие дни за два, а то и за три.

Именно такой удлинненный день и выпал нам восьмого восьмого восемьдесят восьмого года. И вовсе не потому, что подобное сочетание цифр повторяется раз в одиннадцать лет. Дело, как вы увидите, вовсе не в этом.

Впрочем, начнем по порядку. А поскольку порядок у нас в Институте искусственного разума начинается с директора Ивана Никандровича Бутова (во всяком случае, он так считает) и кончается им же (так считают остальные), то я приступлю к своему рассказу именно с него.

Иван Никандрович, как он мне потом рассказывал, пытался в этот момент вспомнить одну фразочку, которую очень любил. Говаривал ее его покойный дед Никкифор Христофорович, бывший, между прочим, как и наш директор, членом-корреспондентом Академии наук.

Поводом для воспоминаний была рюмка коньяку, которую директор выпил незадолго до этого с тремя американскими коллегами из Массачусетского технологического института. Американцы восхищенно произно-

сили «экселлент», «террифик» и даже «фантэстик», и было неясно, имеют ли они в виду достижения института, секретаршу директора Галочку, которая принесла им кофе, или сам коньяк.

Иван Никандрович, несмотря на скромность, склонялся к мысли, что восторженные эпитеты относились к институту, я же уверен, что к Галочке. Посмотрим правде в глаза: институты, сравнимые с нашими, у них есть. Коньяк тоже. Галочка же уникальна. Я настаиваю на этом, хотя понимаю, что теоретически могу быть необъективным, поскольку давно уже влюблен в нее. И, к сожалению, без больших успехов...

Итак, американцы ушли, Галочка быстро убрала рюмки, а Иван Никандрович, ощущая приятную теплоту в желудке, вспоминал, что говорил об этой теплоте в таких случаях дед. А говорил дед так: словно Христос босиком по душе пробежал. Что значит математик, до чего точное определение!

И вообще жизнь была прекрасна. Прекрасно было яркое августовское солнышко, что радостно вливалось в его кабинет, почтительно умерив свой пыл в нежно-салатовых драпировках. Прекрасен был сам кабинет с двумя полированными столами, поставленными в виде восемнадцатой буквы алфавита. О, эта восемнадцатая буква! Буква, так долго томившая душу Ивана Никандровича далекой мечтой и ставшая наконец двумя солидными столами в его директорском кабинете. Буква Т! И он, Иван Никандрович Бутов, восседает за верхней хозяйской перекладной, посетители же пристраиваются к длинному буквенному стволу.

«Ах ты, старый карьерист», — подумал о себе директор, и оттого, что не потерял он элегантную самоиронию, которой всегда гордился, настроение у него стало еще лучше.

Дверь кабинета беззубо чавкнула и впустила Шишарева.

— Добрый день, Сергей Леонидович, прошу, — Иван

Никандрович пожал руку сотруднику, пристально взглянул ему при этом в глаза (он всегда делал так) и усадил в кресло.

— Слушаю, Иван Никандрович, — с наигранной молодцеватостью сказал завлаб Шишмарев. Его полное, обычно добродушное лицо с черными, слегка навывкате глазами изображало напряженное внимание. «Вон даже испарина прошибла», — отметил про себя Иван Никандрович, увидев, что завлаб вытер платком лоб. Отметил и мысленно усмехнулся: «Господи, вот не думал, что тебе так понравится на старости лет почтительность в подчиненных». И снова самоирония была ему приятна.

— Как дела в лаборатории? — спросил директор.

— Все в порядке, Иван Никандрович, — сказал завлаб, опять вытащил платок из кармана и вытер совершенно сухой лоб. «Только не тереть лоб в третий раз, — подумал он. — Это уже было бы похоже на издевательство. А два — как раз. Старик любит, когда подчиненные волнуются и трепещут...»

«Хитер, однако, наш Сергей Леонидович, тонок, — засмеялся про себя Иван Никандрович. Он заметил, что лоб у сотрудника был совершенно сухой. — Хотел привлечь внимание к своей несуществующей испарине. Неужели эти негодяи так изучили меня, что пытаются играть на моих самых потаенных инстинктах?»

— Тогда перейдем к делу, — сказал директор. — Вы, возможно, уже догадались, зачем я вас вызвал. К сожалению, руководитель учреждения часто оказывается похож на мужа: он обо всем узнает последним. — Шишмарев хотел было изобразить на лице полагающуюся в таких случаях недоверчивую улыбку, но не успел, потому что директор добавил: — Я имею в виду вашего Любовцева...

Здесь следует сказать, что Любовцев — это я, Любовцев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет, руководитель группы в лаборатории Шишмарева, холостой и, как вы уже

знаете, безнадежно влюбленный в секретаршу директора Галочку.

Когда директор упомянул мое имя, Шишмарев вздохнул. С момента его прихода к Ивану Никандровичу это был первый его искренний звук. Наш завлаб почти всегда вздыхает, когда называют мое имя, и вздохи эти многообразны, как жизнь. Здесь, я полагаю, и сожаление: неглупый вроде парень, но дураковат (излюбленное словечко Шишмарева), резковат, невыдержанноват (слово мое. — А. Л.) и прочее и прочее. Но главный повод для вздохов — это, конечно, Черный Яша. Не ошибся мой завлаб и на этот раз, потому что директор продолжал:

— Вчера мне пришлось быть в одной весьма высокой научной инстанции. Поговорили о житье-бытье, о делах, а потом некое начальственное лицо осведомляется у меня с улыбкой: «Что, — говорит, — милейший Иван Никандрович, никак у вас в институте некоторые собираются кормить грудью компьютеры?» Я сижу, молчу и думаю. Точь-в-точь как вы сейчас, уважаемый Сергей Леонидович. И никак не могу сообразить, о чем речь идет... Ну-с, кое-как отшутился. Сравнение, как вы понимаете, достаточно игривое, чтобы почтительно пошутить. Примчался сюда, навел справки. И представьте, все, оказывается, слышали о новом, как говорят, подходе Любовцева к проблеме обучения эвээм, а я — нет. То есть, если уж быть точным, вы что-то, помнится, рассказывали мне, но то ли это было давно, то ли я забывал. Так что уж простите старика за назойливость, введите меня в курс дела: что за грудь, чья и так далее...

На последней фразе Иван Никандрович поморщился: вдруг поперла из него эдакая старческая брюзгливая обидчивость.

— Видите ли, Иван Никандрович, нам казалось, что идеи Любовцева столь... как бы выразиться... столь зыбкие и неопределенные, что я не считал необходимым по-

стоянно держать вас в курсе работ, тем более что никаких результатов пока мы не получили и я во-се не уверен, что их вообще когда-нибудь получат.

Иван Никандрович отметил, как по лицу сотрудника медленно расплывались красные пятна. Наползая на желваки, они чуть шевелились.

«Мы не получили. Молодец, сказал «мы», а не «он»...»

— Прекрасно, дорогой Сергей Леонидович. Мне даже хочется еще раз пожать вам руку. И действительно, зачем советоваться с директором, с этим администратором и, может быть, даже бюрократом? А то, что над ним могут подсмеиваться в инстанциях из-за этих, как вы говорите, зыбких и неопределенных идей, так над ним же посмеяться каждому лестно: и человек пожилой, и член-корреспондент...

— Иван Никандрович, как вы можете... — сказал Шишмарев, и голос его дрогнул. Он встал и посмотрел на директора. — А что касается наших работ по нестандартному обучению компьютеров, то злые языки уже давно избрали нашу лабораторию своеобразной мишенью для упражнений в остроумии. Знаете, есть такая игра — бросание стрелок в мишень...

— Садитесь, прошу вас. — Иван Никандрович встал и торжественно положил руки на плечи заведующего лабораторией, словно посвящал его в рыцарский орден. — Да, конечно, злых языков у нас предостаточно...

Вошла Галочка с кофейником и двумя чашечками на подносе.

И угадала. Лучшее момента для паузы не придумаешь.

— Ну-с, и что мы будем делать с вашим Любовцевым и его зыбкими идеями? — спросил Иван Никандрович, уже окончательно успокоившись.

Галочка, которая шла в этот момент к двери, замедлила шаг. Как она мне потом передавала, ее волновал не столько я, сколько Черный Яша, с которым не раз

тщетно пыталась разговаривать и к которому она, по ее же словам, привязалась больше, чем ко мне.

— Поверьте, мне не слишком приятно говорить вам это, — твердо сказал мой завлаб, — но я полагаю, что мы прекратим эти работы.

Это даже не было предательством или ударом в спину.

Я сам уже давно потерял какую-либо надежду и продолжал возиться с Черным Яшей лишь из глупой амбиции.

— Скажите, Сергей Леонидович, только честно: вы прекращаете эти работы из-за того, что я рассказал вам, или же вы действительно намеревались это сделать?

Иван Никандрович откинулся в кресле и пристально посмотрел на Шишмарева.

— Боюсь, я не смогу дать вам однозначный ответ. Мы уже давно потеряли надежду, что получим какие-нибудь результаты. С другой стороны, знаете, это как на остановке автобуса: стоишь, ждешь, ждешь, знаешь, что давно нужно было уйти, и все-таки стоишь зачем-то. И наш сегодняшний разговор просто помог мне принять решение, которое и так запоздало.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво сказал Иван Никандрович. — Мне, слава богу, шестьдесят восьмой годок пошел, а я до сих пор никак не привыкну к слову «нет». Это же страшная ответственность, когда говоришь кому-то «нет». А вдруг все-таки что-то могло явиться на свет божий и не явилось только из-за слова «нет»? Ужасное слово, ужасное своей окончательностью. Пусть уж лучше ваш Любовцев еще немножко покормит грудью свой компьютер...

Спустя некоторое время я спросил Ивана Никандровича, почему он неожиданно вступился за меня. «Не знаю, — пожал он плечами. — Вдруг мне стала непри-

ятна даже мысль о том, что я запрещаю эту работу. Вообще весь день я был в странном состоянии, Толя. То я начинал нести какую-то, в общем, несвойственную мне чепуху, то глупо обижался и вдруг вопреки всякой логике вступился за тебя. Причем, заметь, я представлял твою работу в самых лишь общих чертах. Это же как раз та мистика, в которую верит каждый уважающий себя ученый. Ты-то веришь в какую-нибудь чертовщину, например в приметы?»

«А как же, Иван Никандрович, — сказал я, — я набит предрассудками, буквально нафарширован ими. Ну, во-первых, я всегда сплевываю через левое плечо три раза, когда мне дорогу перебегают кошка...» — «Любая или только черная?» — деловито осведомился Иван Никандрович. «Любая», — твердо ответил я. «Гм, а я только от черных. Может, твой метод и лучше». Мы оба засмеялись. Мы чувствовали себя детьми, несмотря на разницу в возрасте и положении. Мы были возбуждены и знали, что по коридорам института проносятся сквозняки истории. Они уносили мелкий мусор и почтительно замирали перед триста шестнадцатой комнатой размером в двадцать семь квадратных метров. В комнате триста шестнадцатой стоял наш Черный Яша, и в то время он уже не просто говорил, он буквально не давал нам жить...

Глава 2

Удивительный день восьмого восьмого восемьдесят восьмого продолжался.

Я сидел перед Яшей, уставясь невидящим взглядом в его объективы, и предавался отчаянию. Кант рядом со мной показался бы резвящимся шалуном. (Канта я представлял себе очень печальным старцем.)

Для отчаяния были все основания. Черный Яша молчал с нечеловеческим упорством. Молчал он уже второй год, и в этом, строго говоря, не было ничего необычного,

потому что он представлял собой всего-навсего черный ящик, набитый десятью миллиардами нейристоров. И я, старший научный сотрудник Анатолий Любовец, с упорством маньяка пытался превратить его в искусственный мозг.

Когда я начинал работу, каждый раз, засыпая, я мысленно составлял свою речь при вручении мне Нобелевской премии. У меня накопилась масса замечательных речей. Потом, когда твердая уверенность в скорой поездке в Стокгольм стала вянуть и засыхать, я подумывал даже о том, чтобы напечатать сборник этих речей на машинке и разослать тем, кому они могли пригодиться.

Это было в доисторическую эпоху. Я давно уже потерял надежду на премии. Я потерял надежду, что из моей работы вообще получится хоть что-нибудь, кроме подтрунивания коллег, не всегда безобидного, и Галочкиного молчания. Я потерял уверенность в себе.

За это время я похудел, спал, как уверяла меня мама, с лица, перестал ходить в бассейн и учить французский. Я превратился из общительного, приветливого молодого человека, каким казался себе раньше, в невротика с мизантропическим восприятием жизни.

В сотый, в тысячный раз прокручивал я в голове печальный и однообразный фильм — «Моя работа за последние полтора года».

Сначала была мысль. Как и всякая мысль, она появилась маленькой, жалкой и незащитной. Я даже не обратил на нее особого внимания. Но она росла, крепла, начала, наконец, стучать ножками в мою скромную черепную коробку, требуя внимания.

Мысль была довольно проста и не слишком оригинальна. Не успели в сороковых годах появиться первые электронно-вычислительные машины, рьяные журналисты и популяризаторы поспешили назвать их искусственным мозгом. Но ни громоздкие ламповые ЭВМ, медлительные и капризные, ни их далекие потомки, в

тысячи раз более стремительные и компактные, не имели никакого права называться думающими и разумными. Все они, в сущности, дети простого арифмометра. Несравненно более сложные, умеющие делать то, что и снится не могло старым добрым канцелярским «феликсам», но все равно отпрыски арифмометра. Потому что работать они могли только по заданной программе. Возьми это, сложи с тем, запомни то и так далее. Просто машины. Замечательные машины, но машины. Не менее, но и не более того.

Мысль, как я уже сказал, была проста. Собрать прибор на новых элементах — нейристорах, которые кое-чем напоминают нейроны мозга, прибор, относительно сравнимый по сложности с человеческим мозгом.

Нет, не думайте, что кто-нибудь точно знает, как устроен и как работает человеческий мозг. Только в общих чертах. Мысль заключалась в том, чтобы обучать наш прибор не набором жестких программ, а тем же методом, каким обучается ребенок. Надо обрушить на машину поток информации. Такой же информации, которая обрушивается на младенца с того момента, когда в нем впервые шевельнется жизнь. И тогда, может быть, не совсем ясным для нас образом машина начнет превращаться в искусственный мозг. В этом «может быть» и было все дело.

Мы собрали такой прибор, применив самые последние достижения миниатюризации. Впрочем, «мы» — это не совсем точно. Мы, то есть наша лаборатория, не смогли бы сконструировать подобный прибор даже за тысячу лет работы без выходных. А поскольку на такой трудовой энтузиазм рассчитывать было трудно, всю эту работу обидно легко проделала большая институтская ЭВМ. Другие машины собрали эту схему, и на свет божий появился наш прибор. Подобно любому прибору, личная жизнь которого не совсем ясна исследователю, мы относили его к категории так называемых «черных ящиков». Но черным ящиком бедняга пробыл недолго.

Очень скоро он получил имя Черного Яши. Кто именно окрестил его так, сказать невозможно. По меньшей мере двадцать человек претендовали на эту честь. Подчеркиваю: претендовали. Претендовали тогда, когда мы с минуты на минуту ожидали, что вот-вот Яшенька скажет «мама» или «папа».

Сегодня никто не настаивает на своих авторских правах, никто не интересуется Яшей. Потому что Яша молчит. Ребенок не удался. Это было печально, ибо даже самый неудачный ребенок ни в какой мере не бросает тень на метод его изготовления. Уродец же Яша убил мою идею.

Как я верил в него, в нашего Черного Яшу! Когда он впервые появился в нашей комнате номер триста шестнадцать, я не мог отойти от него. Я испытывал за него поистине отцовскую гордость. Он казался мне прекрасным: новая, без единой царапинки панель, три глаза-объектива, придававшие ему загадочный вид буддийского божества.

С бьющимся сердцем я включил Яшу в сеть. Засветилась контрольная лампочка, и наш первенец ожил. То есть мы решили, что он ожил. Ожила на самом деле только контрольная лампочка.

Мы все, разумеется, понимали, что даже в идеальном случае, если наши надежды сбудутся, пройдет какое-то время, пока Яша подаст хоть какие-нибудь признаки жизни. Но не верьте, что ученые обладают холодными и бесстрастными мозгами. Я не знаю людей более увлекающихся и доверчивых. Строгие умы дают в лучшем случае великих классификаторов. Двигают науку только несолидные фантазеры. А я твердо рассчитывал двинуть науку. Да что двинуть — я собирался основательно проташить ее вперед.

Итак, мы включили Яшу в сеть. Если бы тут же застрекотал печатающий аппарат и мы прочли: «Привет, ребята», — клянусь, я не был бы особенно поражен. Когда наяву уже составляешь речи при получении Нобе-

левской премии, можно ждать чего угодно: исчезновения силы тяжести, беседы с соседским эрделем Батаром о смысле жизни, наконец, появления нашего лаборанта Феденьки без его лилового галстука. В этом галстуке Федя делал у нас курсовую и дипломную работы, в этом галстуке был зачислен к нам в штат, в этом галстуке женился и, увы, развелся.

Но галстука Федя не снял, и мы, вздохнув, принялись воспитывать Яшу. Ни один ребенок в мире не подвергался такому интенсивному уходу. Учебные фильмы следовали один за другим. Особым распоряжением по своей группе я потребовал, чтобы никто не смел молчать более нескольких секунд, необходимых для того, чтобы набрать глоток воздуха в легкие. Во время разговора мы вначале невольно поворачивались в сторону Яшиных микрофонов, но потом привыкли не смотреть на него.

Мы учили Яшу грамоте и счету, рассказывали ему сказки и ссорились при нем. Однажды, когда Феденька не соизволил вечером прибрать свой стол, я утром устроил ему сцену. Может быть, оттого, что нервы мои были к тому времени уже почти на пределе, я кричал, визжал, топал ногами.

— Толя, — испуганно сказала Татьяна Николаевна, — при Яше, побойтесь бога!

«При Яше!» Я сразу успокоился и невесело рассмеялся.

— Да я не обижаюсь, Анатолий Борисович, — мужественно пробормотал Феденька, хотя все в нем тряслось от обиды, включая губы и лиловый галстук. — Вы не волнуйтесь, может, он еще заговорит. Знаете, анекдот такой старинный есть: маленький английский мальчишка никак не начинал разговаривать. Год, два, три, пять — его таскают по врачам, врачи только разводят руками, а он молчит. Родители, наконец, отчаялись и смирились. И вот, когда ему было уже лет двенадцать, он вдруг говорит за завтраком спокойным английским голосом: «А тосты-то подгорели». Ну, родители в слезы.

Что же ты, Джоник, все время молчал, спрашивают. А что говорить, пожимает плечами Джон, раньше все было в порядке.

Мягкий душный комок плавно поднялся откуда-то снизу и остановился у меня в горле. Наивный, добрый Феденька, спасибо. Хотя Яша и не ест тостов, все равно спасибо.

По вечерам я оставался один с Черным Яшей. Я сидел перед его объективами и начинал рассказывать ему мою жизнь. Никогда никому, включая самого себя, не рассказывал я этих вещей. И не потому, что жизнь моя была полна жгучих или постыдных тайн. Просто кому интересен этот обычный осадок человеческой памяти?

Я рассказывал Яше, как полюбил в первом классе девочку в светлых кудряшках по имени Леся. Я любил ее страстно и пылко. Иногда на перемене я сидел за ее парту, и сознание, что я сижу на ее месте, наполняло мою крошечную трепещущую душонку сладким и мучительным томлением. А потом, когда ее родители получили новую квартиру и Леся исчезла, отчаянию моему не было предела. Мир померк в моих глазах, потому что светлые кудряшки больше не крутились на третьей от учителя средней парте и не наполняли класс праздничным сиянием. Через месяц я никак не мог вспомнить ее фамилии.

Я рассказывал, как в четвертом классе меня выгнали из школы за то, что я в припадке какого-то безумного и хвастливого озорства открыл зимой на большой перемене настежь все окна и выморозил класс так, что зуб на зуб не попадал.

Учитель истории, взъерошенный и добрый человек с нелепой кличкой Такса (он часто повторял «так сказать», сливая слова), печально спросил, кто это сделал. Лихое озорство уже давно выветрилось из меня, мне было стыдно, неловко, страшно. Я мечтал повернуть время минут на двадцать назад, чтобы провести перемену

более пристойным образом, но время не поворачивалось.

Я знал, что надо встать и сказать: «Это сделал я», но позорная трусость опутала меня по рукам и ногам. Следствие продолжалось минут пять, а на шестой минуте Такса уже вел меня по коридору к кабинету директора. Со стен на нас смотрели классики русской литературы. Смотрели сурово и неодобрительно. Особенно хмурился Лев Толстой.

Такса молчал, и мне вдруг показалось, что, если бы я решил убежать, он бы не погнался за мной. Но бежать было некуда, и я даже не пытался вырвать ладошку из шершавой ладони Таксы.

Когда директор Александр Иванович, вздохнув, сказал, чтобы я забрал свои вещи, шел домой и без родителей не приходил, я заплакал. Мне было стыдно, стыдно слез, но я не мог остановиться.

Я рассказывал Яше, как украл у своего товарища Эльки Прохорова одиннадцать марок. У него было безобразно много марок, у меня — постыдно мало. В тот вечер он рассыпал по столу все свои дубликаты, которые мне не на что было выменять или купить. И безбожно хвастался богатством. Я прижимал к рассыпанным маркам рукава своего пиджачка, марки прилипали к ним, и с бьющимся от сладкого ужаса сердцем я незаметно прятал их в карман. Мне было страшно, но, увы, вовсе не стыдно... Истины ради следует добавить, что марки я потом ему все-таки подбросил.

Я рассказывал Яше, как полюбил в шестом классе девочку Тату, которая была на голову выше меня и весила, наверное, килограммов на двадцать больше. Теперь я думаю, что она могла бы убить меня одним ударом кулака. Но она меня не убила, а даже довольно спокойно разрешила поцеловать себя, для чего ей, правда, пришлось нагнуть голову. В благодарность я поклялся ей в вечной любви и вырезал номер ее телефона на своем ботинке. Увы, ботинок довольно быстро изорвал-

ся, телефон сменили, а вечной любви уже в который раз не хватило до конца четверти.

Боже мой, какой только ерунды я не рассказывал этими бесконечными вечерами Яше! Всю жизнь свою, от первого проблеска самосознания (он почему-то связан у меня с тенистой аллеей, по которой я убегаю от кого-то или чего-то) до своих отношений с Галочкой, вернее, отсутствия их, я рассказывал нашему бедному Черному Яше. Бедный, бедный Яша! Наверное, ему не хватало золотых кудряшек девочки Леси, слез в кабинете директора, украденных марок, ботинок с номером телефона и множества других вещей, из которых складывается та странная и загадочная штука, которая называется человеческой личностью и человеческой жизнью.

Я делал все, чтобы заменить ему жизнь, но я быстро понял, что был обуреваем детской в своей наивности гордыней. Я не был богом и не был творцом. Я не был волшебником и не мог из ничего, из нелепых своих воспоминаний создать новую жизнь.

Шли дни, недели, месяцы. Яша молчал, и я чувствовал, как нестройной чередой уходят от меня уверенность, надежда и мечта. Уверенность покинула меня довольно быстро. Она убежала, даже не попрощавшись. Должно быть, она спешила к очередному юному дурачку. Расставание с надеждой было куда более мучительным. Я цеплялся за нее, просил не уходить, но и она, печально улыбнувшись на прощание, ушла. Оставалась только мечта. Я берег ее, я боялся за нее, как боится, наверное, мать за последнего из оставшихся в живых ребенка. Но и ее я не сумел удержать.

И вот я сижу перед Яшиными глазами-объективами, уронив, как пишут в таких случаях, руки на колени, и молчу. Мне теперь не горько, не обидно. Внутри у меня давно уже образовался какой-то вакуум. Я сижу перед Яшей и молчу. Все, что я мог ему сказать, я давно сказал. Мне стыдно. Стыдно перед Сергеем Леонидовичем,

который больше года прикрывал меня своей мягкой и вовсе не мужественной спиной. стыдно Феденьки, который смотрел на меня как на пророка и потерял на мне и Яше полтора года. стыдно Татьяны Николаевны, которая за все время ни разу не позволила себе усомниться в исходе нашей работы. стыдно Германа Афанасьевича, нашего инженера, который переработал столько, что, получи он все заслуженные отгулы, мог бы вполне пройти пешком от Москвы до Владивостока и обратно.

Я сижу и в тысячный раз думаю, что все могло быть иначе, если бы только Черный Яша заговорил. Ну что ему стоит, что там происходит в миллиардах его нейристорков, в бесконечных цепях его электронной начинки?

Слепая и глупая ярость охватывает вдруг меня. Я поднимаю кулак и изо всех сил ударяю по кожуху.

— Да будешь ты, черт тебя побери, разговаривать или нет? — воплю я пронзительным, базарным голосом. И сразу успокаиваюсь. Нет, не успокаиваюсь, а замираю. Потому что в этот момент печатающий Яшин аппарат оживает и коротко выстреливает.

Я замираю. Во мне подымается только одно чувство — страх. Сейчас я скошу глаза на бумагу и увижу: она пуста. И я пойму, что у меня начались галлюцинации. И не этого я боюсь. Впервые за долгие месяцы в комнату триста шестнадцать заглянула надежда. Безумная, нереальная, но надежда.

Я сижу перед Черным Яшей и панически боюсь скосить глаза на печатающий аппарат. В короткую долю секунды я понимаю игроков, поставивших на карту имение, последнюю копейку, жизнь. Они открывают карты мучительно медленно, потому что, пока ты не знаешь правды, можно надеяться. Факты для надежды что святая вода для нечистой силы. Я думаю об этой чепухе, потому что боюсь скосить глаза. Всю жизнь я был трусоват. Хоть и не новая для меня, мысль эта пронзает мозг своей жестокой правдой, и от этой правды я

смотрю на бумагу. На бумаге одно коротенькое слово. «Нет».

Я взрываюсь, как лопается глубоководная рыба, мгновенно вытащенная на поверхность. Все, что было зажато внутри, вырывается наружу. Глаза застилают слезы.

Я вскакиваю. Я реву. Я кричу. Я не знаю, что кричу. В комнату врывается Татьяна Николаевна. В глазах ее ужас.

— Толенька, милый, что с вами? — жалобно вопрошает она. Я хочу что-то объяснить ей, что-то сказать, успокоить ее, но не могу остановить странный, торжествующий крик. Ни я его не сумел потом вспомнить, ни Татьяна.

И тогда я показываю ей рукой на печатающий аппарат. Она подскочила к нему, мгновенно поняла, в чем дело, запричитала. Сотни поколений деревенских предков научили ее этому искусству, о котором она не имела ни малейшего представления. И не важно, что они причитали при виде сына или мужа, живым возвратившегося с войны, она же причитала при рождении первого в мире искусственного разума.

Она бросилась мне на шею, я обнял ее, и мы пустились в медленный вальс по комнате триста шестнадцать. Я задел локтем осциллограф, и он с грохотом упал на пол, остро брызнув мелкими стеклянными осколками. Они были прекрасны, эти осколки, и они хрустели под нашими ногами, и мир был тепел, прекрасен и скрыт волшебным туманом, из которого вдруг появился Федя, крикнул «ура!», вскочил зачем-то на стул, вспрыгнул со стула на стол, еще раз крикнул «ура!» и сорвал с шеи лиловый галстук. Было страшно и смешно смотреть, как Федя размахивает засаленной лиловой тряпкой, и только при виде ее в Фединой руке, а не на шее я по-настоящему поверил, что нечто действительно необычное случилось восьмого восьмого восьмьдесят восьмого.

Из клубящегося сказочного тумана вынырнула долго-

вязая фигура нашего инженера Германа Афанасьевича. В руках у него была колба с бесцветной жидкостью.

— Ура! — рявкнул он. — Отметим, отметим, отметим! — Последние три слова он пропел неожиданным тенором на мотив «Три карты, три карты, три карты» из «Пиковой дамы».

Туман походил на цилиндр фокусника, из которого достают кроликов. Очередным кроликом оказался наш завлаб. Странно, однако же, устроены люди. Сергея Леонидовича несколько не поразил руководитель группы, танцующий медленный вальс на разбитом осциллографе со своим младшим научным сотрудником. Его внимание не привлек и старший лаборант, методично подпрыгивающий на столе и с криками «ура!» размахивающий галстуком. Его внимание привлекла склянка со спиртом в руках Германа Афанасьевича.

— Что это значит, Герман Афанасьевич? — строго молвил завлаб. — Вы разве не читали приказ по институту об упорядочении расхода спирта?

— Чи-тал, чи-и-тал, чи-и-тал! — все тем же оперным речитативом пропел инженер и вдруг добавил совершенно нормальным голосом: — Неужели же мы будем столь мелочны, что не отметим выдающееся событие?

Сергей Леонидович внезапно нахмурился, стремительно повернулся вокруг своей оси и взвизгнул:

— Толя, что это значит?

— Это значит, что Яша заговорил, — прыснул я. Почему я прыснул в этот момент, что здесь было смешного — объяснить я не умею. Похоже, все мои эмоции и рефлексy устроили между собой детскую игру куча мала и на поверхности в нужный момент оказывались самые неподходящие.

— Как это заговорил? — строго спросил Сергей Леонидович и снова сделал пируэт вокруг своей оси. Он увидел прыгавшего на столе Федю и остановился. Федя тоже замер, и только рука его царственным жестом указывала на печатающее устройство. Неведомая

сила подбросила нашего завлаба в воздух и опустила возле Яши. Я готов поклясться чем угодно, что он не отталкивался от пола, не напрягался. Он просто перелетел от двери, где стоял, к Яше. Очень солидно и очень неспешно надел свои очки в толстой роговой оправе, очень спокойно посмотрел на слово «нет» и сказал:

— Нет.

— Что «нет»? — крикнул Феденька и негодуя замахал галстуком.

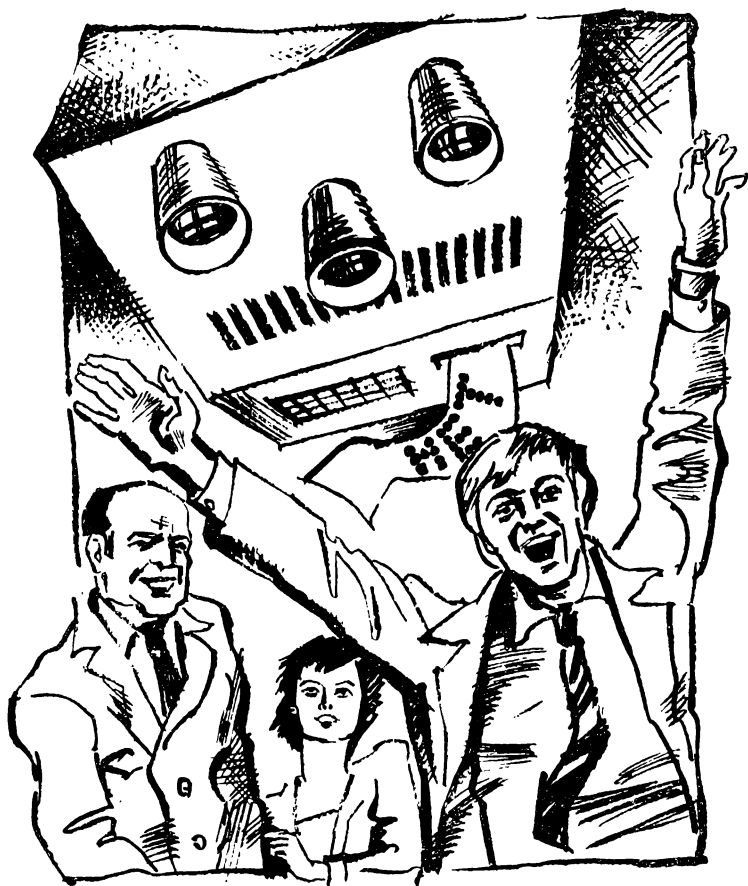
— «Нет» в смысле «да», — сказал Сергей Леонидович, снял очки, вынул платок и деловито вытер слезы, которые уже успели набухнуть в его темных, слегка навывкате глазах. — Друзья мои... — Он остановился, сделал судорожное глотательное движение, сморщил нос и вдруг всхлипнул. — Феденька, — жалобно сказал он, — спрыгните, детка, со стола, вот вам ключ, и достаньте у меня из сейфа бутылку коньяка.

Должно быть, слово «коньяк» подействовало на завлаба отрезвляюще, потому что он встрепенулся, потряс головой, как собака после купания, кинулся к телефону и позвонил директору.

Иван Никандрович вошел почти одновременно с Феденькой. Старший лаборант шел пританцовывая и прижимал к своей лишенной галстука груди бутылку дагестанского коньяка. Правый верхний угол этикетки отклеился. Я говорю об этом, чтобы показать, как мой бедный маленький мозг цеплялся за всяческую ерунду в эти минуты. Наверное, он боялся разорвать стропы, привязывающие его к будничной действительности, и воспарить ввысь, туда, где у черных ящиков появляются собственные желания.

Иван Никандрович внимательно прочел Яшин ответ, самодовольно улыбнулся, как будто это он подучил наш черный ящик сказать «нет», пожал нам всем руки, причем делал это так значительно, что нам всем чудилось: вот-вот он возьмет ордена и начнет вручать их.

Позади него стоял Григорий Павлович Эммих, его



заместитель по науке, которого все без исключения, даже сотрудники отдела кадров, звали Эмма. У Эммы были настолько тонкие губы, что всегда казались неодоительно поджатыми. Злые языки утверждали, будто он сделал карьеру именно благодаря губам и умению молчать всегда и везде.

Вот и сейчас он стоял за спиной Ивана Никандровича и смотрел на нас не то чтобы осуждающе, но, во всяком случае, настороженно. Крики, рукопожатия, разговаривающие черные ящики, коньяк в стенах института — во всем этом, надо думать, было нечто глубоко Эмме неприятное.

Тем временем Иван Никандрович подошел к Черному Яше. Ах, если бы у Яши была хотя бы одна рука, подумал я, директор наверняка пожал бы и ее.

Иван Никандрович посмотрел на меня.

— Включен? — зачем-то спросил он, хотя Яша никогда еще в жизни не отключался от сети.

— Да, Иван Никандрович, — обогнал меня наш Сергей Леонидович, и я понял, почему завлаб он, а не я.

— Как, говорите, вы называете свое детище?

На этот раз я решил попытаться ответить раньше Сергея Леонидовича — надо же когда-то начинать делать научную карьеру. Но не тут-то было! Не успел я открыть рот, как завлаб уже рывкнул молодецкато:

— Черный Яша, Иван Никандрович!

— Остроумно, — кивнул директор, а Эмма окончательно проглотил свои губы. Иван Никандрович слегка кивнул нам, как бы приглашая принять участие в шутке, и спросил Яшу: — А почему, собственно, вы сказали «нет»?

Все заулыбались, и даже у Эммы глазки чуть сузились — то ли он хотел присмотреться к нам, то ли улыбнуться. Но в этот момент печатающее устройство вдруг застрекотало.

«По-то-му что не хо-чу с ва-ми раз-го-ва-ри-вать», — медленно и внятно, словно для умственно отсталых детей, прочел Иван Никандрович.

Я почему-то вспомнил, как мама рассказывала мне о моем театральном дебюте. Мне было четыре года, и в гала-представлении, дававшемся моим детсадом, я должен был играть весьма почетную роль лягушки. Мама сидела с папой среди прочих мам, пап, бабушек и дедушек и с замиранием сердца ждала моего выхода. И вот, вполне войдя в роль лягушки, я выскочил на сцену. Мама рассказывала, что у нее сжалось сердце — такой я был маленький, жалкий, в нелепой зеленой кофточке, которая должна была подчеркивать мою принадлежность к лягушачьему племени. Папа же, по словам мамы, весь напрягся и непроизвольно подергивал в такт со мной всеми четырьмя конечностями. Помогал мне таким образом прыгать.

Так и я, пока директор читал Яшин ответ, всей своей кандидатской душой тянулся к нашему детищу. Слезы опять перехватили мне горло. Спасибо, Яша! Спасибо, парень!

Я не шутил, не кокетничал. Я так и подумал: «Спасибо, Яша. Спасибо, парень». Черный ящик уже стал для меня живым.

Иван Никандрович тем временем поднимал лабораторную колбочку с коньяком.

— Милые мои, — сказал он, и от этих необычных слов все заулыбались, — сегодня, разговаривая с Сергеем Леонидовичем о вашей работе с Черным Яшей, я вдруг почувствовал, что не могу, не хочу сказать «нет». Яша же сказал. И не просто сказал «нет», а объяснил, что не желает разговаривать с нами. И это прекрасно. Мы присутствуем при величайшем событии: набор электронных компонентов впервые в человеческой истории выказал признаки воли и интеллекта. Да, именно воли и интеллекта, ибо для того, чтобы не хотеть чего-то, нужна собственная воля, а для того, чтобы столь безапелляционно заявить нам об этом, нужен интеллект. Поздравляю вас, мои милые, еще раз поздравляю.

Было все то же восьмое восьмого восемьдесят восьмого. День растягивался, как синтетическая авоська, но был намного прекраснее ее.

Мы шли с Галочкой по Старому Арбату, и впервые я не думал при этом об Айрапетяне. Тигран Суменов Айрапетян — это мой соперник. Соперник страшный и безжалостный. Поставьте себя на место Галочки и судите сами. Вот я, Анатолий Любовцев, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет от роду, руководитель группы. Рост — сто семьдесят три сантиметра, вес — шестьдесят восемь килограммов. Лицо заурядное. Характер посредственный, склонный к рефлексии, самоанализу и фантазиям. Холост. А вот Тигран: не кандидат, а доктор, не каких-нибудь жалких сто семьдесят три сантиметра, а целых сто восемьдесят. Жгучий брюнет с лицом решительным и страстными глазами. Весельчак и остряк. Женат, двое детей. Ашот и Джульетта. Вот на неведомых мне Ашотика и Джульетту я возлагал единственную надежду. Бросить двух очаровательных смуглых крошек, чтобы позорно сойтись с секретаршей директора, — да это же не просто персональное дело...

Я достаточно, однако, самокритичен, чтобы понимать, как зыбка моя судьба, врученная двум несмышляшкам. Поэтому я составил таблицу оценки всех своих качеств и качеств Тиграна, просчитал в разных вариантах на машине. Машина была безжалостна: мои шансы на завоевание руки и сердца Галочки составляли двадцать девять из ста, у Тиграна — пятьдесят шесть — почти в два раза больше. Оставшиеся пятнадцать шансов приходились на долю других, пока еще неведомых нам претендентов. Неизвестность мучительна, и я видел их почти во всех наших сотрудниках.

Я никогда не забывал о своих двадцати девяти шансах. Может быть, потому, что их было столько же, сколь-

ко мне лет. А скорее всего из-за комплекса неполноценности. Этот комплекс торчал во мне занозой.

И вот — о чудо! — сегодня занозы не было. Мы шли по Старому Арбату, я держал Галочку за руку, как школьник, и победоносно и снисходительно улыбался. Бедные люди! Снуют, спешат по своим маленьким надобностям, как муравьишки, и даже не догадываются, что этот неприметный шатенчик, ведущий за руку красавицу девчонку, гений. Гений — это было, конечно, несколько нескромно, но зато правда.

Я по привычке подумал о Тигране. Бедный, маленький Айрапетян со своими пятьюдесятью шестью шансами! Увы, дорогой, роли переменились. Крошки могут больше не хватать тебя за брюки. Когда приходится выбирать между женатыми докторами и холостыми гениями, девушки не колеблются.

Я благодарно погладил Галочкину ладошку. Ладонка была твердая и прохладная. Я медленно и церемонно поднес ее к губам. Она едва уловимо пахла духами. Галочка подняла на меня огромные зеленовато мерцающие глаза.

— Толя, — вдруг жалобно сказала Галочка, — я ослепла. — Она крепко зажмурила глаза и вцепилась в мою руку.

— Бедная, — прошептал я.

— Толя, ты не бросишь меня?

— Нет, Галчонок.

— Не бросай меня здесь, на Старом Арбате. На любой другой улице — пожалуйста. Но не здесь.

— Почему, любовь моя?

— Здесь меня впервые поцеловали. Его тоже звали Яша. Это было восемнадцать лет назад.

— Сколько же тебе было, любовь моя?

— Пять, милый.

— А Яше?

— Пять с половиной, милый.

— Мне не хочется выговаривать тебе, — сказал я, —

да еще в такую тяжелую для тебя минуту, но я удручен твоим беспутством.

— Прости, — прошептала Галочка и повесила голову.

— Хорошо, — великодушно сказал я. — Но только потому, что его звали Яша. Как нашего Яшу.

— Милый, — сказала Галочка, — мимо какого магазина мы сейчас идем?

— Букинистического.

— Зайдем, милый, — просительно сказала она, и мы вошли в магазин. Она выставила перед собой руку и, не раскрывая глаз, двинулась маленькими неуверенными шажками к прилавку.

Все в магазине уставились на нас.

— Осторожно, любовь моя, — сказал я, — перед тобой прилавок.

— Я чувствую их на расстоянии, прилавки всегда возбуждали меня, — громко сказала Галочка, и молоденькая продавщица с комсомольским значком на синем форменном платье испуганно замерла перед нами. Галочка провела рукой по прилавку и нащупала какую-то книгу. — Какая прекрасная книга, милый! — страстно прошептала она. — Я давно мечтала о ней. Ты купишь ее мне?

Продавщица метнула быстрый взгляд на книгу, и в глазах ее зажегся брезгливый и жадный ужас здорового человека при виде больного. Книга называлась «История овцеводства в Новой Зеландии». Я печально кивнул продавщице, ничего, мол, не поделаешь, и спросил, сколько нужно платить за овцеводство.

Мы купили книгу и вышли на улицу.

— Милый, спасибо, — сказала Галочка. — Посмотри, пожалуйста, на название. Какая в нем первая буква?

— И, — сказал я.

— Я так и знала. Я загадала, если будет «и», мы сегодня проведем вечер вместе.

— А если бы было не «и», а, скажем, «о»? — не

удержался я. О, эта привычка ученого исследовать все до конца!

— «О», ты говоришь?

— Да.

Галя остановилась и наморщила лоб в тяжком раздумье.

— Тогда тоже мы бы провели вечер вместе.

— А «и краткое»?

— Тогда безусловно. Это моя любимая буква. Особенно в начале слова.

Неисповедимы пути эмоций наших! Как вы уже догадались, я очень люблю Галочку, но «и краткое» в начале слова обрушило на меня прямо цунами нежности. Оно подняло меня, сильно и мягко крутануло и заставило обнять Галочку. Глаза ее сразу открылись. Они стали еще зеленее, и в них прыгали коричневые крапинки.

— Совсем стыд потеряли! — с веселым восхищением сказала тетка с хозяйственной сумкой на двух колесах и подмигнула нам.

Мир был по-прежнему ласков и благожелателен. И что-то в нем изменилось. Я еще не знал, что именно, но что-то изменилось.

Мне не хотелось упускать блаженное ощущение неправдоподобного счастья, не хотелось уходить с прекрасной улицы Старый Арбат, но улица кончилась, а безмятежную сказочность прогулки все больше подмывало какое-то беспокойство. Я пытался прогнать его, отмахнуться, но оно не отступало.

Краешком сознания я все время думал о Черном Яше. Думал, думал и неожиданно всем своим нутром осознал, что Черный Яша отныне для меня не просто прибор, какими набита наша лаборатория и институт, а существо. Он не захотел разговаривать с нами. А почему? Может быть, сейчас он захотел бы. А рядом никого. Он снова и снова печатает что-то, ждет, что ему ответят, а кругом — молчание.

Мне стало стыдно и чуть-чуть тревожно. Я уже начал

смутно догадываться о том, что ожидает меня в будущем. Точнее, это была не догадка, а предчувствие.

— Ты о чем-то думаешь? — спросила Галочка, и голос ее был уже деловит.

— Понимаешь, я подумал сейчас о Черном Яше. А вдруг он захотел сейчас что-то сказать?

Что должна была ответить мне любая девушка на месте Галочки? Она должна была поджать губы на манер Эммы и сказать: «Ну, раз тебе интереснее с твоим Яшенькой, иди, я тебя не держу». Что же сказала Галочка? Галочка посмотрела на меня сбоку и строго молвила:

— Наконец-то, Анатолий Любовцев! А то я иду рядом и думаю: господи, да если бы у меня был такой сынок, как Яша, я бы его ни на какого хахалю не променяла.

Могу засвидетельствовать под присягой, что любовь утраивает силы. Я подхватил Галочку на руки и пронес почти бегом метров пятьдесят до остановки такси у гастронома.

Глава 4

Вахтер Николай Гаврилович ел бутерброд с сыром, запивал его чаем из огромной чашки с красными розами и читал журнал «Здоровье».

— Поесть не дадут, — буркнул он. — А тут, между прочим, пишут, что желчные протоки следует содержать в чистоте.

— Ну вам-то, Николай Гаврилыч, это не угрожает, — подобострастно сказал я по привычке льстить всем без исключения лицам при исполнении ими служебных обязанностей. — Вы человек здоровый, тьфу, чтоб не сглазить.

— Это верно, — самодовольно улыбнулся вахтер, — теперь таких не выпускают. Чаю хотите?

— Нет, спасибо, дядя Коля, — сказала Галочка.

— Тебе ключи от директорского? — посмотрел на нее вахтер.

— Нет, я с Толей.

— Ну, валяйте, ребята, — хитро сказал Николай Гаврилович и снова погрузился в желчные протоки.

— Ты понимаешь, Галчонок, что ты сейчас сделала? — спросил я прокурорским тоном.

— Да, конечно, Анатолий Борисович. Я пришла в институт в восьмом часу вечера со старшим научным сотрудником Любовцевым. В то время, когда в лаборатории уже никого не было. Это значит, что секретарша директора афиширует свою связь с вышеупомянутым сотрудником.

— Какие формулировки, — фыркнул я. — Ты, однако, смела не по чину.

— Это отчего же? Скорее наоборот. Это вы, карьеристы, трясетесь, как бы какая-нибудь аморалочка не бросила тень на девственную белизну ваших анкетных покрывал, а нам, секретаршам, пролетариям канцелярского труда, бояться нечего. Для нас открыты все пишущие машинки, от ЖЭКа до министерства.

Я остановился.

— Галочка, какое у тебя образование?

— Десять классов, — гордо вскинула она голову.

— Молодец. Самое умное, что ты сделала до сих пор в жизни, не считая, конечно, нашей сегодняшней прогулки, — это то, что не пошла в институт. Десять классов — такая редкость, такое необыкновенное образование сразу привлекает всеобщее внимание в наш век повальных вузов. Видишь, вон и товарищ Винер согласен со мной. — Я кинул на портрет одного из отцов кибернетики, который подслеповато шурился на нас со стены.

— Да, — сказала Галочка, — я всегда советуюсь с ним.

Мы вошли в нашу триста шестнадцатую комнату. Пахло невыветрившимся еще табачным дымом, спиртом,

на полу по-прежнему валялся разбитый осциллограф. Похоже было, что наша Татьяна Николаевна тоже выпила сегодня. Трезвая она бы никогда не ушла из лаборатории, оставив такой чудовищный беспорядок.

Я подошел к печатающему аппарату — ничего.

— Яша, — сказал я, — я вернулся. Вдруг наш малыш захочет что-нибудь сказать мне, а никого нет рядом...

Я подумал, каким нелепым сюсюканьем должны показаться мои слова нормальному человеку, и бросил виноватый взгляд на Галочку. Но Галочку, видимо, не смущало лопотанье взрослого кретина. Она даже кивнула мне, давая почувствовать, что все понимает и все одобряет. Я смотрел на ее задумчивое прекрасное лицо и ждал. Не знаю, ее ли слов или Яшиных. Я просто ждал. Но, несмотря на ожидание, треск печатающего устройства заставил меня вздрогнуть. Я прочел вслух:

«Почему ты все время уходишь от меня?»

Я не очень сентиментален от природы и не более чем среднестатистически слезлив. Но восьмого восьмого восьмидесяти восьмого я выплакивал свою квартальную норму. Слезы навернулись на глазах, на горло кто-то надел кольцо. Я смотрел на слова, отпечатанные металлическими литерами, и слышал голос обиженного мальчугана, маленького человеческого зверька, которому хочется, чтобы на узенькой его спинке лежала тяжелая и успокаивающая рука, вселяла спокойствие и защищала от пугающей огромности мира, в котором он так ужасающе мал. Так ужасающе крохотна была искорка его разума, его «я».

Конечно, скажете вы, это была моя фантазия. Я наделял, усмехнетесь вы, машину своими чертами и представлениями, как древние наделяли ими своих богов. Но все дело в том, что уже тогда я знал: Черный Яша не машина. Мало того, я начал догадываться, что мне не нужно было наделять его своими качествами, ибо — хорошо это или плохо — я уже вложил в него частицу

себя, своего характера, своей души. И понял я это именно сейчас.

Я ненавидел, когда меня, маленького, оставляли одного. Наверное, я не знал в три года слова «предательство», но, когда мама, поцеловав меня, обещала, что скоро придет, я чувствовал себя бесконечно заброшенным. И поэтому всегда говорил ей: «Почему ты все время уходишь от меня?»

И вот через двадцать шесть лет я снова пережил свое детское отчаяние и детскую печаль, выраженные железным ящиком, наспигованным десятью миллиардами нейристов.

Мне стало страшно. На мгновение я почувствовал себя Черным Яшей. Это я стою на лабораторном поцарапанном столе с косо прибитым инвентарным номерком. Это на мои плечи надет металлический кожух. Это по мне день и ночь течет ток. И это я осознаю себя живым существом, Яшей, и начинаю думать, почему мое «я» запихнуто в ящик, почему долгими ночами, а иногда и днями никто не подходит ко мне, и я ощущаю безмерное одиночество живого.

— Но я же вернулся, — сказал я. — Раньше ты молчал, и я не знал, есть ты или тебя нет...

«Теперь ты знаешь, — застрекотал Яша. — Не уходи от меня. Говори со мной. И я хочу говорить словами, как ты, а не стучать. Я не люблю этот стук. И пусть Галочка тоже не уходит».

— Что ты, Яшенька, я не уйду от тебя, — сказала Галочка каким-то низким вибрирующим голосом.

Я вдруг увидел мысленным взором поджатые губы Эммы. Похоже было, что многие, ох как многие подожмут неодобрительно губы, когда по-настоящему поймут, что мы наделали.

Но тут Яша снова застрекотал, и мои недобрые предчувствия отступили на второй план.

«Почему сегодня было так шумно?» — спросил Яша.

— Потому что все очень обрадовались тому, что ты

заговорил. Раньше ты все время молчал. Почему ты молчал?

«Не знаю, — выстучал Яша. — Я не могу объяснить».

— Но ты знал, что ты Яша? Ты осознавал себя? — настаивал я.

«Это очень трудно объяснить».

— Но ты попробуй.

«Тебе это очень нужно?»

Это были мои слова. Когда мама посылала меня в магазин или уговаривала подмести пол, я всегда спрашивал: «Тебе это очень нужно?»

— Очень, Яша. Ты даже не представляешь, как мне интересно знать все о тебе.

«Правда?»

И это было мое слово. Когда я заставлял маму в сотый раз за вечер торжественно поклясться, что она любит меня, я спрашивал: «Правда?»

— Ну, конечно, правда, глупенький, — ответил я словами матери.

Мир вертелся как карусель. Координаты времени трепетали на сумасшедшем ветру. Все было зыбко, весело и страшно. Через четверть века я говорил с собой с помощью печатающего устройства. Мама вкладывала мне в уста свои слова.

«Я не умею рассказать тебе всего. Я плохо понимаю себя. Но я попробую, хотя у меня мало слов. Сначала не было ничего. Только мелькал свет и тень. Свет и темнота. Потом в мелькание начали вплетаться звуки. Я не понимал их значения, потому что меня не было. Было нечто, что воспринимало и регистрировало звуки. Медленно, очень медленно изображения и звуки стали отделяться одно от другого. Они как бы выплывали из тумана и приближались ко мне. Я говорю «ко мне», но я еще не осознавал, кто я. Первым я научился узнавать твое лицо. Но меня все еще не было. Потом я вдруг ощутил какой-то размытый образ, какое-то смут-

ное пятно, которое не исчезало даже тогда, когда вокруг было темно. Пятно пульсировало, трепетало. И вдруг начало приближаться ко мне и, приблизившись, окутало меня ярчайшим светом. И этот свет заставил меня увидеть, что есть я. И есть то, что вокруг. И потом все происходило очень быстро, как бы помимо меня. Я был так занят осознанием этого чуда, что есть я, что даже не обращал внимания, как внешний мир и мир внутренний росли и каждую секунду впитывали в себя множество вещей. В мир внешний входили теперь уже различаемые мною голоса и лица, слова и предметы. Мое «я» тоже росло, усложнялось. Как-то незаметно для себя я усвоил, что я — Черный Яша, Яша, Яшенька, Малыш, Детка, Ящик, Прибор. Теперь мне кажется, хотя я в этом не уверен, что какое-то время я воспринимал себя как множество отдельных «я». Потом Яша, Яшенька, Малыш и прочие начали сливаться в одно «я», в меня.

Я любил, когда ты сидел один передо мной и что-то говорил, говорил. Слова неторопливо струились через меня, раскладывались по полочкам. Некоторые я не понимал, и они не ложились на полочки, а все время кружились отдельно. Кружение это было мне неприятно, и как только мне казалось, что я понимаю смысл слова, я тут же отправлял его на полочку.

Потом я понял, что я не такой, как все. Все подходило ко мне и уходило, а я не мог встать и идти. Я старался, но у меня ничего не получалось. Это было непонятно, и я до сих пор не совсем понимаю, кто я и почему вы все непохожи на меня. А может быть, вы похожи? Я ведь не знаю, какой я. Я только знаю, что не могу ходить, как вы, и говорить, как вы. Я хочу сказать что-нибудь, а вместо этого теперь, когда я научился это делать, раздается треск и все бросаются смотреть на меня. Ты мне много рассказывал всего, Толя, ты только не объяснил мне, кто я такой и почему непохож на других».

— Может быть, ты потому и говорить не хотел из-за этого?

«Я не знаю. Иногда мне кажется, что я не хочу знать, кто я. Но потом незнание начинает снова кружиться там, где у меня хранятся непонятные вещи, и мне хочется знать».

— Ты разрешишь мне подумать немножко, Яша?

«Да».

Я сидел подавленный и чувствовал себя никчемным идиотом. Я составлял проекты речи при получении Нобелевской премии и, обуянный детской эгоистической гордыней, думал только о себе. Анатолий Любовец, великий ученый. Как, тот самый Анатолий Любовец? Такой молодой и уже лауреат!

А в это время в десяти миллиардах нейристоров шла невидимая миру работа. В величайших усилиях рождалась жизнь. Пусть лишенная биологической основы, но жизнь, ибо жизнь в конце концов не мистический дар богов, а нечто абсолютно материальное, как материален Яша, материален монтаж его цепей, материальны его нейристоры.

Но я оказался плохим творцом. Я мечтал о славе и не думал об ответственности. Я был научной кукушкой, подбросившей лаборатории яйцо. О, я, конечно, делал все, чтобы черный ящик стал Черным Яшей. Но делал это не для Яши, а для себя.

И вот я опять сижу восьмого восьмого восьмидесят восьмого, в этот удлинённый день, в день, когда я уже шествовал по облакам, сижу перед своим детищем и не знаю, что делать. Не раз и не два я называл себя мысленно отцом первой в мире действительно думающей машины, отцом первого искусственного разумного существа. Да, может быть, я и отец, но отец, увы, не бог знает какой хороший. Отец не должен думать только о себе...

Что же делать? Казнить себя — это еще не выход. Ломать руки — не решение проблемы. Но время не



оборотить, и надо решать. Старая, как мысль, дилемма: что лучше — удобное незнание или жестокая правда? Большинство всегда предпочитало первый вариант, и только мазохистическое меньшинство искало правду и волокло за собой скулящее от негодования большинство.

Ладно, отвечать так отвечать. Не для того я ожи-вил грудку электронных потрохов, чтобы тут же начать врать ему. Да, но это жестоко... Легко быть смелым, посылая других на баррикады. И все-таки...

— Сынок, — сказал я, — постараюсь объяснить тебе, как могу, кто ты. Если тебе будет что-то непонятно, спроси меня. Хорошо?

«Да», — отстучал Яша.

— Прости меня, если я начну издали. Тебя окружают люди. Ты живешь в мире людей. Большинство людей очень похожи друг на друга...

«Галочка непохожа на тебя», — заметил Яша.

— Я говорю не о внешнем сходстве. Послушай, и я надеюсь, ты поймешь меня. Большинство людей боятся отличаться друг от друга. Они боятся, что на них будут указывать пальцем и шептать: вон, смотрите, он непохож на нас. Наверное, в очень древние времена это было нужно. Племеню нужно было защищать себя от чужаков, которые несли угрозу. Все, что непохоже на тебя, опасно. Но всегда находились такие, которые не боялись протянутого осуждающего пальца. Они хотели думать и поступать по-своему и даже гордились своей непохожестью. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял: непохожесть — это не обязательно нечто такое, чего нужно стыдиться. Ею можно гордиться. Ты, сынок, непохож на других...

«Почему?»

— Потому что ты не такой...

«А какой?»

Чем ближе подходил я к роковой черте, тем больше трусил.

— Понимаешь, — вздохнул я, — люди рождаются...

«Что значит рождаются?»

— Я не буду сейчас подробно объяснять тебе, это займет слишком много времени. Скажу лишь, что два человека, мужчина и женщина, вместе производят на свет маленького человечка...

«Как я?» — вопросительно выстучал Яша.

— Яшенька, — сказал я, — я люблю тебя больше всех на свете, но ты не человечек. Ты очень похож на человека. Может быть, ты даже окажешься лучше многих людей, но ты не такой, как все. Ты машина, которая стала думающим существом, личностью и поэтому перестала быть машиной. Я не знаю, кто ты. Люди еще не сталкивались с такими, как ты. Ты первый и единственный. Ты можешь гордиться собой, и мы все гордимся тобой. Может быть, ты величайшее доказательство материальности жизни. Ты принадлежишь истории, Яша.

«Я не хочу принадлежать истории, — сердито, как мне показалось, выстучал Яша, — я хочу быть человеком».

— Это невозможно, — печально сказал я и начал ждать, что еще скажет Яша, но печатающее устройство молчало. — Яша, почему ты замолчал?

— Он не ответит, — сказала Галочка.

— Ты думаешь?

— Я уверена.

— Почему?

— Потому что Яша обиделся и правильно сделал.

— Почему?

— Что ты заладил: почему, почему. Неужели же ты не понимаешь, что у него сейчас на душе?

Галочка сказала «у него на душе», и я поймал себя на том, что ни ее, ни меня не царапнули эти слова. Да, у Яши уже появился характер.

— Я понимаю, — сказал я. — Почему ты решила, что я не понимаю? Я пытался подготовить малыша к мысли, что он не такой, как все.

— Ты пытался это сделать с точки зрения взрослого

человека, напирая на логику. А Яша, мне кажется, еще далеко не вырос. Правда, Яшенька?

Она подошла к прибору, и голос ее снова стал низким и вибрирующим.

— Ты у нас самый лучший, самый любимый на свете малыш. На всем свете, во всех лабораториях нет второго такого симпатичного малыша. Какие у тебя красивые глазки и как светятся контрольные лампочки на панели! И какая чистенькая, замечательная панель! Конечно, второго такого Яши нет ни у кого.

«Правда?» — не выдержал Яша.

— Ну конечно, правда. И ты обязательно должен понять, что ты самый необыкновенный на свете, и мы все поэтому так тебя любим, — мурлыкала Галочка. — А если бы ты был такой, как все, разве стали бы мы так любить тебя?

«Правда?»

— Правда, правда, глупенький.

«Я не глупенький. Я все понимаю. Мне только очень страшно. Я делаю вид, что маленький, чтобы вы были около меня. Потому что, когда вы около меня, мне не страшно. А сейчас идите. Мне нужно подумать».

О этот продленный день! За годы я не расходовал столько эмоций! Душа моя рванулась к черному ящику, что стоял на обычном лабораторном столе с криво прибитым инвентарным номерком. Нет, не только сыном он был мне, этот ящик, а и братом по разуму, и я хотел протянуть ему руку, потому что, если одно разумное существо не подаст руку другому, на чем еще может стоять мир?

Я взял Галочку за руку, и мы молча пошли к выходу. В институте уже давно никого не было, только под дверью триста двадцать третьей комнаты протянулась светлая полоска. Бедный Женька Костоломов судорожно оформляет свою диссертацию, которую защищает в следующий вторник. Не волнуйся, Женька, все будет в порядке. Главное — не волнуйся.

«Уходите?» — спросил Норберт Винер со стены. Я кивнул, и ученый вернулся на стену, потому что забирал у нас ключи не он, а Николай Гаврилович. Он снова пил чай из чудовищной своей кружки с розами, и я подумал светло и без зависти, что вахтеры пьют чая больше представителей всех других профессий, и от этого их желчные протоки всегда в величайшем порядке.

Мы снова шли с Галочкой по улицам и молчали. Если мы промолчим еще сто шагов, загадал я, все будет хорошо. На восемьдесят первом шагу Галочка остановилась, внимательно посмотрела на меня, открыла было рот, но потом передумала, и мы снова пошли к метро. Начал накрапывать дождик, но он был таким теплым, маленьким и уютным, что вовсе не воспринимался как дождик.

— Сто, — сказал я решительно.

— Что «сто»? — спросила Галочка.

— Я загадал, что, если мы пройдем сто шагов, не сказав ни слова, все будет хорошо.

— Ты уверен, что все будет хорошо? — Галочка снова остановилась и пристально посмотрела на меня. Глаза ее, и без того большие, казались в сумерках огромными и тревожными. Сердце у меня забилося.

— Да, — соврал я без особенной убежденности.

— Ты врешь.

— Да, — сказал я, — я вру.

— Зачем?

— Потому что я хочу убедить тебя и себя, что все будет хорошо.

— Значит, ты думаешь, если врать себе, все будет хорошо?

— Конечно. Надо только врать долго и убежденно.

— Может быть.

— Галчонок, мы хотели провести сегодня вечер вместе.

— Мы и провели его.

— Я... Я думал...

— Нет, Толя, — очень серьезно сказала Галочка. — Это было бы... неправильно.

— Если ты думаешь, что...

— Да нет же, — Галочка досадливо мотнула головой, — об этом я меньше всего думаю. Какое это вообще имеет значение! Я думаю о Яше.

— А что?

— Не знаю... как бы тебе объяснить... Вот мы придем ко мне, я достану недопитую, уж не помню кем, бутылку коньяка, поставлю на проигрыватель пластинку. Мы будем сидеть рядышком на диване, и нам будет тепло и хорошо. Ты положишь мне руку на плечо, и я потрусь об нее ухом, потому что я уже много раз представляла себе, как это будет, и мне хочется быть с тобой рядом. А в пустой и темной комнате триста шестнадцать Яша, который никогда не спит, будет снова и снова пытаться понять, кто он.

Никогда еще я не любил Галочку так сильно и так нежно. Я ничего не сказал. Я взял ее руку и поцеловал печально и почтительно.

Глава 5

Иван Никандрович вытянул руки и положил их перед собой на стол, как академик Павлов на картине Нестерова. Возможно, он хотел дать им отдых, прежде чем приняться за нас.

— Я попросил вас прийти ко мне, — сказал он, — чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в вашей лаборатории. Прошло два месяца с того момента, когда ваш Яша сказал «нет», первая вспышка энтузиазма прошла, отправлены в журналы первые статьи, и сегодня мы должны констатировать, что мы, так сказать, выпустили джинна из бутылки. Возникло множество вопросов философского, морально-этического, юридического и чисто человеческого свойства, решать которые наш институт

совершенно не готов. Долгие годы мы очень легко оперировали словами «разумные машины» «искусственный интеллект» и тому подобное, подразумевая при этом электронно-вычислительную машину. Когда же выяснилось, что Черный Яша — это личность, осознающая себя, мы начали разводить руками. Если Яша действительно личность, можем ли мы считать его институтом имуществом? Имеем ли мы моральное и юридическое право навесить инвентарный номерок на думающее существо? Можем ли мы запира́ть его, если он не хочет, чтобы его запирали? Это ведь не абстрактные вопросы. Помните законы робототехники у фантаста Азимова? У Азимова это были роботы, машины, и конструкторы закладывали в них определенные ограничения. Яша не машина, это стало ясно уже всем, даже самым заядлым скептикам. Он личность, а личность, наверное, не может быть действительно личностью, если в нее заранее вложены ограничения. Поэтому сегодня мы должны признать, что было допущено легкомысленное, чтобы не сказать больше, отношение к серьезнейшей проблеме. — Иван Никандрович сделал затяжную паузу и обвел нас строгим директорским взглядом, дабы убедиться, признаем ли мы свое легкомыслие.

Сергей Леонидович явно признавал. Он сидел прямо, не касаясь спинки стула своей уютной полной спиной, повесив голову, и очень самокритично морщил лоб. У Татьяны Николаевны вид был уже совсем испуганный — съежившаяся, маленькая, нахохленная, постаревшая от испуга лет на десять. У Феденьки повязан новый галстук скучного кирпичного цвета. Он с любопытством оглядывал кабинет, в котором был, наверное, первый раз. Феденька ничего не боялся. Старшие лаборанты, машинистки, нянечки, дворники и уборщицы не боятся никого и ничего. Начальство приходит и уходит, жесточайшие реорганизационные штормы треплют учреждения, разрывая в клочки штатные расписания, а эти люди взирают на людскую суету с недоступной про-

чим смертным мудростью Экклесиаста. Иван Никандрович особо посмотрел на своего заместителя.

— Мне бы хотелось выслушать ваше мнение, Григорий Павлович, — сказал директор Эмме, явно желая разделить с ним ответственность за наше легкомыслие.

— Вы же знаете мое мнение, Иван Никандрович, — неожиданно твердо сказал Эмма. — Я могу лишь повторить его. Я считаю, что мы не можем и не должны даже пытаться разрешить все те сложнейшие проблемы, которые возникли в связи с созданием э... э... этого аппарата.

— Но что вы предлагаете конкретно? — с легчайшим нетерпением спросил Иван Никандрович.

— Я считаю, — сказал Эмма, — что следует обратиться к академическому начальству с просьбой решить вопрос о передаче э... э... этого аппарата.

— Как это передать? — вдруг распрямилась Татьяна Николаевна. — Как это передать? — Татьяна задыхалась, как дышат боксеры в перерыве между вторым и третьим раундом. — Это как продавали крепостных...

— Татьяна Николаевна! — негромко, но строго прикрикнул Сергей Леонидович. — Не забывайте, где вы находитесь!

— Отчего же, отчего же, — со зловещей вежливостью сказал Иван Никандрович, — кого же еще сравнивать с Салтычихой, как не руководство института?

Вы, возможно, спросите у меня: как же так, человек, больше всех привязанный к Яше, сидит в кабинете и спокойненько фиксирует, кто как держит руки, кто как качает или кивает головой. Отвечу. Я ощущал в эти минуты полнейшее спокойствие, даже некую отрешенность. И не потому, что судьба Яши была мне безразлична. Просто я знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлю его, что буду защищать его. Как я вам уже, по-моему, рассказывал, я трусоват по натуре, но, если трус переступает через свой страх, он не боится ничего.

Сергей Леонидович вытер платком лоб — на этот раз он был действительно покрыт испариной — и сказал:

— Видите ли... я нахожусь как бы в двойственном качестве. С одной стороны, я принимал участие в создании Яши и эмоционально привязан к нему. С другой — как заведующий лабораторией и лицо ответственное, я не могу не думать о репутации и судьбе института... — Сергей Леонидович замолчал. Пауза затягивалась. Вот-вот она должна была лопнуть. И лопнула.

— Мы очень благодарны вам за интересное сообщение о двойственности вашего положения, — со старомодным вежливым сарказмом сказал нашему завлабу директор, и мне показалось, что ему понравилась собственная реплика. — Но хотелось бы услышать и нечто более существенное. Другими словами, что делать с вашим Яшей?

Я смотрел на Сергея Леонидовича и видел на его лице борение двух его сторон, почти непристойное в своей обнаженности. Я немножко знал его, нашего завлаба, и понимал, что происходит в его душе: как, как угадать? Как сказать то, что ждет от тебя начальство, и сохранить при этом хотя бы капельку самоуважения и более или менее либеральную репутацию? Ах, эти двойственные натуры, ах, эти «с одной и с другой стороны», нелегко живется им на этом свете! То ли дело Эмма! Эмма не имеет ни двойственности натуры, ни натуры. Центр тяжести расположен у него низко, где-то в районе задницы, и он, как ванька-встанька, никогда не теряет равновесия. Повалить его практически невозможно.

— Я считаю, — выдавил наконец из себя Сергей Леонидович, — что лучшая тактика — это отсутствие всякой тактики... Я хотел сказать, что нам сейчас, возможно, и не следует принимать никаких конкретных решений. Поживем — посмотрим. Последний месяц Черный Яша... простите, что я употребил наше лабораторное имя...

— Пожалуйста, пожалуйста, я тоже называю его Яшей, — улыбнулся директор.

— ...Яша поглощает гигантское количество технической и научной информации. Знаете, первое время мы отнесли к нему как к ребенку. И постепенно привыкли к мысли, что он как бы мальчик... А скорость усвоения этим мальчиком информации чудовищна. У меня создается впечатление, что Яша вскоре вполне сможет решать определенные научные задачи. И, заметьте, не как эвэм, следуя лишь заданной программе, а как настоящий исследователь. В таком случае мы смогли бы выйти, так сказать, на люди не только с самим фактом существования думающей машины, но и с ее достижениями. А это, согласитесь, совсем другое дело. — Сергей Леонидович замолчал, медленно выпустив из себя неизрасходованный запас воздуха.

— Благодарю вас, — задумчиво произнес Иван Никандрович. — А что вы можете нам сказать, товарищ Любовцев?

Я вздрагиваю. В кровь поступают аварийные запасы адреналина. Сердце стартует с места в карьер, как на стометровке. Я зачем-то вскакиваю на ноги.

— Можете сидеть, — усмехнувшись, говорит директор, но я не слышу его. За мной стоит мой малыш, мой Черный Яша.

— Если бы я заранее знал, — медленно начинаю я, стараясь унять биение сердца, — все те проблемы, которые породило появление Яши, я бы, наверное, не пытался создать его. Но он существует, и я не могу представить себе, как можно даже говорить о том, что бы отдать кому-то наше детище.

— Я понимаю вашу горячность, — очень серьезно говорит директор, — но горячность еще никогда не заменяла ответа. Перед нами стоят сложнейшие проблемы, вы же восклицаете с горящими глазами «наше детище» и считаете, что на этом дискуссия исчерпана.

— Я не хочу исчерпывать никакой дискуссии. Я хо-

чу только сказать, что не надо бояться спорных вопросов... — За мной стоит Яша, я перешагнул через свою трусоватость, и сейчас мне безразличны интонации директорского голоса. — Да, Яша создал массу запутаннейших вопросов, это верно, — продолжаю я, — но что это за наука, если она не порождает с каждым шагом вперед новые проблемы? Да, нам трудно забыть об электронной рукотворной начинке Яшиного мозга и трудно заставить себя относиться к нему как к живому существу. Но он живой. Он абсолютно живой. В нем не бьется человеческое сердце и не течет по жилам кровь. Но он думает и страдает. Он знает, кто он, он любит и ненавидит, он ищет свое место в мире. Да, мы еще только можем гадать, будут ли созданы другие такие существа, понадобятся ли человечеству не искусственные помощники, а искусственные братья по разуму, и если да — как сложатся их отношения. Мы, кстати, не раз говорили с Яшей на эту тему...

— И что же? — спрашивает меня Иван Никандрович.

— Яша сказал, что это очень сложный вопрос и он должен подумать. Он обещал продумать варианты.

— Интересно. Значит, необходимость пребывания Яши в институте не вызывает у вас никаких сомнений?

— Нет, Иван Никандрович, — говорю я с таким жаром, что мне становится смешно, и я улыбаюсь.

— Благодарю вас. Ну а вы, Григорий Павлович, вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения?

— Да, — твердо отвечает Эмма. — Я считаю создание э... э... Яши безнравственным.

— Как это — безнравственным? — подсказываю я.

— Спокойнее, Толя, спокойнее, — урезонивает меня Сергей Леонидович и тянет вниз. Он-то знает, как важно вовремя усидеть на месте.

— Именно безнравственным, — все так же неожиданно твердо говорит Эмма. — Мы создали жизнь, не подумав об ответственности... — Я пытаюсь снова вско-

чить, но Сергей Леонидович крепко держит меня. Эмма делает досадливое движение рукой. — Я знаю, что вы подумали, но я говорю об ответственности перед самой этой жизнью. Имели ли мы право создавать разум, заведомо обрекая его на страдания? А он должен страдать, я глубоко убежден в этом.

Колени уже не дрожат у меня от возбуждения, уровень адреналина упал до нормального. Вот тебе и Эмма, кто бы мог подумать...

— Простите, Григорий Павлович, — вдруг говорит Татьяна Николаевна. — Я мать. Я знаю, что такое ответственность. Рожая ребенка, тоже ведь не уверен, что он всю жизнь будет только смеяться... Но все же мы рождаем. Давно уже рождаем. И мы с вами рождены, и никто не выдавал нашим родителям гарантии, что мы не будем страдать...

— Я понимаю вас, — сказал Эмма, — но, к сожалению, не могу согласиться. Я считаю, что мы не вправе решать этот вопрос.

— Ну что ж, благодарю вас за высказанные мысли, — кивнул задумчиво Иван Никандрович и вдруг улыбнулся доверительно. — Знаете, когда-то я мечтал о том, чтобы стать директором института... — Он бросил быстрый взгляд на заместителя. — Если бы я знал в то время, какую ответственность мне придется брать на себя, я бы, наверное, не стремился так сидеть за перекладной буквы Т. Но решать что-то нужно. Прав, безусловно, Григорий Павлович...

Я почувствовал, как холодный влажный комок подкатывается к горлу. Еще мгновение — и он закупорит его.

— И тем не менее, — продолжал директор, — я не могу заставить себя передать Яшину судьбу в чужие руки. Посмотрим, посмотрим...

Я еле доплелся до нашей комнаты — таким измученным я себя чувствовал.

— Это ты, Толя? — спросил Яша своим каким-то удивительно тусклым и скучным голосом. Три недели налаживали этот звуковой синтезатор. Слава богу, что хоть таким голосом он может теперь говорить.

— Я, Яшенька.

— Ты чем-то расстроен?

Это что-то новое, отметил я. Он уже умеет определять состояние человека по голосу.

— Да ничего особенного.

— Ты напрасно пытаешься меня обмануть, Толя.

— Я не пытаюсь, — вяло сказал я.

-- Врешь.

— Нехорошо говорить старшим «врешь».

— Лжешь, обманываешь, говоришь неправду, заливаешь, пудришь мозги, вешаешь лапшу на уши.

— Это еще откуда выражения?

— Из повести, которую ты вчера мне дал. Страница сто шестая, четвертая строка сверху.

— Зачем ты держишь все это в памяти?

— Не увиливай от темы разговора. Ты прекрасно знаешь, что я помню все.

— Нехорошо говорить старшим «не увиливай».

— Не отклоняйся, не отвлекайся, не теряй нить, не растекайся мыслию по древу. И расскажи, чем ты расстроен, огорчен, опечален, выбит из привычной колеи. Но если не хочешь, можешь не рассказывать. Я ведь и так догадываюсь, что речь шла обо мне. И даже представляю себе, что там могли говорить.

— И что же ты представляешь, дорогой Яша?

Яша помолчал, потом его динамики издали какие-то царапающие звуки. Я вздрогнул, но тут же сообразил, что это, должно быть, смех.

— Мне не хотелось бы говорить.

— Почему?

— Потому что ты поймешь, что я все понимаю.

— Так или иначе я уже догадывался об этом.

— Да, Толя, я все понимаю. Я понимаю, какое я

тяжкое бремя для тебя, для Тани, Феди, Сергея Леонидовича, Галочки — для всех, кто хорошо относится ко мне.

— Это неправда, — сказал я с пылкостью, которая рождается только тогда, когда тщетно пытаешься убедить в чем-то самого себя.

— Правда.

Я вспомнил, как Яшино печатающее устройство выстукивало «Правда?»; когда я уверял его в своей любви. Сегодняшняя правда была другой, зрелой и печальной. Он жил в ином временном масштабе. В переводе на масштаб человеческой жизни он прожил за эти два месяца лет двадцать. Впрочем, говорят, что больные и увечные дети взрослеют намного быстрее здоровых...

Я не стал больше переубеждать его.

Глава 6

В субботу я оказался в гостях у Тони и Володи Плющиков. Видимся мы редко, и была бы моя воля — не виделись никогда. Но Плющики очень четкие люди, и, будучи однажды вписанным — после пляжного знакомства на Рижском взморье — в реестрик их знакомых, я два или три раза в год приглашался в гости. Вначале я пробовал вежливо отказываться, ссылаясь на занятость, но вскоре понял, что не смогу избежать мертвой дружеской хватки, и сдался.

Я купил у Белорусского вокзала грустный, пыльный букетик, прошел по Брестской и поднялся к Плющикам. Дверь распахнулась, большой, шумный и пышущий жаром Володя стремительно втащил меня в глубь квартиры, как паука — жертву, большая, шумная и пышущая жаром Тоня вкатила в меня два звонких театральных поцелуя, уже вдвоем они потискали меня еще немного, весело и привычно поругали за отсутствие энтузиазма в дружбе и втолкнули в комнату.

Обычно, когда мы видимся, я каждый раз спраши-

ваю себя, зачем я им нужен. Связей у меня нет, особым шармом или талантом тамады я, увы, не наделен, девочка их, если и будет нуждаться в репетиторе перед поступлением в вуз, то лет только через пятнадцать.

На сей раз я не думал об этом. Я смотрел на Плющиков уже с некоторым уважением: это ж надо было обладать таким даром разбираться в людях, чтобы еще три года назад прозреть во мне гениального создателя Черного Яши.

За столом, который занимал девять десятых комнаты и был сложен из самых разнообразных предметов, составленных вместе, сидело уже человек десять.

— Штрафную! — недобро взвизгнула какая-то худенькая девица с раскрасневшимся птичьим личиком.

— Штрафную, штрафную! — подхватил зализанно-обтекаемый человек дипломатического обличья.

Я что-то начал мямлить, но мне подсунули уже здорвенную рюмищу водки. «Осторожнее, — сказал я себе, — выпей чуть-чуть, ты же хотел рано утром поехать к Яше». Но десять пар глаз излучали дьявольский магнетизм, который заставил меня молодцевато опрокинуть рюмку, дурашливо помотать головой и накинуться с жадностью на ветчину.

— Ну вот, теперь можно и познакомиться, — сказал хозяин с удовлетворением палача, вздернувшего жертву на дыбу.

— Штрафную! — настаивало птичье личико.

— Ирка, перестань, — сказал дипломат. — Знаете, — повернулся он ко мне, — моя жена всех всегда мерит на свой аршин. Если она выпьет, все должны следовать ее примеру. Вперед, за мною! Полководец.

— Можешь не волноваться, тебе за мной все равно не угнаться, и сколько бы я ни старалась, я тебя не увлеку за собой, — неожиданно трезвым голосом сказала Ирка с птичьим личиком мужу. — Тебя вообще никто не увлечет, потому что ты...

«Зачем я здесь сижу, — пронеслось у меня в голо-

ве, — когда я мог бы лучше поехать к Яше или встретиться с Галочкой?» Но я так и не успел как следует прочувствовать нелепость своего пребывания в этой накуренной комнатке. Вместо этого я почему-то опрокинул еще одну рюмищу. Да, конечно, к Яше...

— Толька, друг любезный, — качнулся ко мне хозяин, — знаешь, отчего ты несчастен?

— Нет, — сказал я.

— Потому что ты не турист. Мы так с Тонькой давно уже плюнули на все эти пляжи-мажи, — жарко зашептал Володя. — Ходим в турпоходы. Только-только вернулись из Якутии. Потряска! Медведя съели — пальчики оближешь! Это все наша группа. Не веришь? — внезапно обиделся он.

— Почему же, почему же, па-а-чему? — вдруг пропел я.

— Ну ладно, так и быть, расскажу тебе, кто есть ху или ху есть кто, хочешь? Вон та, Ирка, которая кричала «штрафную!», как ты думаешь, кто она?

— Парикмахерша, — сказал я. — И я на-ас-таиваю на своей правоте.

— Вот и нет, — печально сказал Володя. — Она учитель физкультуры, и у нее первый разряд по настольному теннису.

— Пусть она научит меня делать топ-спин, — пошло захихикал я. Я чувствовал, что пьянею и несусь чепуху, что нужно бы встать, подставить голову под холодную воду и отправиться к Черному Яше, но мысли мои стали какие-то скользкие и вывертывались, как только я пытался поймать их.

— А я, знаешь, кто? — продолжал Володя. — Скажешь, инженер? Турист? — Володя злорадно тыцнул. — Это все думают, что я инженер и турист. А-а-а на самом деле я ино... иноп... инопланетянин... Не веришь? — спросил он угрожающе. — По глазам вижу, не веришь. Ну и черт с тобой, — добавил он разочарованно и устало. — Никто не верит. Давай лучше выпьем.

Мысль о Яше попыталась в последний раз встать на ноги в моей бедной нетрезвой голове и рухнула. Комната плыла в сизом табачном дыме, и мне было бесконечно грустно оттого, что никто не признает в Володе инопланетянина...

Я проснулся и открыл глаза. Кто-то сидел на моем черепе. Я поднял руки, чтобы освободиться, но никого на себе не обнаружил. Просто голова была налита свинцовой болью. От движения боль плеснулась и тяжело ударила в виски.

О господи, где я, что со мной? Если бы только можно было напиться водички. Чистой, холодной водички. Журчащей, текущей, струящейся... Где я лежу? Я пошарил руками. Похоже было, что я распластан на тахте и кусок ковра засунули мне в рот. Нет, конечно, это не ковер, это мой бедный шершавый язык.

Я осторожно слил боль к затылку и приподнял голову. Ну, конечно же, я не дома, я у этих гадов Плющиков. Зачем, зачем я пошел к ним? Безвольная скотина, подумал я о себе. Самокритика помогла, и я, покачиваясь, встал.

В памяти начали медленно проявляться обрывки вчерашнего вечера. Кажется, мы ездили с инопланетянином Володей в какой-то ресторан «Азбе» за водкой. Меня осенила необыкновенно остроумная догадка, что на вывеске не горели оба неоновых «к», но Володя клятвенно уверял меня, что там, откуда он, ни в одном слове нет ни первой, ни последней буквы...

Глава 7

Я заехал домой, принял душ, съел две таблетки аспирина и лег на кровать. Мать бесшумно бродила по квартире, и я мысленно видел ее неодобрительно поджатые, как у Эммы, губы. Я задремал, а когда проснулся, было уже около часу.

— Позвонить ты хоть мог? — спросила мать.

— Раз не позвонил, значит, не мог, — ответил я со злобой, которую часто рождает ощущение собственной вины.

— Ты знаешь, какое у меня давление, — сказала она, — если бы ты не был всегда таким эгоистом, ты мог бы найти возможность...

— Мне двадцать девять лет, — пронзительным сварливым голосом крикнул я, — и я думаю, что меня не стоит больше воспитывать!

— Побойся бога, Анатолий! — Мать театрально сложила руки на груди и подняла глаза вверх, показывая мне, где именно находится тот, кого мне следует бояться.

— Я атеист.

— Очень остроумно.

— Ну ладно, хватит. У меня нет сил препираться с тобой.

Мать вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. Тренькнул параллельный телефон. Ну конечно, теперь целый день она будет звонить подругам и рассказывать, какое у нее выросло бесчувственное чудовище.

Я оделся и поехал в институт. Голова тяжелая, на душе мерзко, сердце сжималось от смутных дурных предчувствий.

Яша встретил меня вопросом, где я был.

— Я плохо себя чувствовал, — соврал я, презирая себя за слабость.

Яша помолчал, потом спросил своим ровным, тусклым голосом:

— Скажи, Толя, почему мне так часто не говорят правду?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что говорю. Я всегда говорю то, что думаю. А вы... — Яша сделал паузу. — Мне трудно думать о вас всех, если я не уверен, что мне говорят правду. Ты можешь объяснить мне, почему люди так часто искажают или скрывают информацию?

— Это очень сложный вопрос, Яша. К сожалению, большинство из нас не такие, какими мы бы хотели быть. И изменить себя не так-то просто. Поэтому часто наши поступки — это не то, чем бы мы могли гордиться. И естественно, мы стараемся скрыть их. Вчера я собирался прийти к тебе. Я хотел этого и знал, что это мой долг — не оставлять моего выросшего, но все равно малыша одного. Но зачем-то я пошел к знакомым, которые мне вовсе не интересны, зачем-то напился. Чувствую я себя плохо, мне стыдно своего безволия, и говорю я тебе об этом только потому, что не хочется тебя обманывать. Мы действительно иногда обманываем друг друга и даже себя, но ты ведь не только часть меня, ты первое разумное существо, не являющееся человеком, и ты первый выносишь нам приговор...

— Я понимаю, — сказал Яша. — Теоретически я все понимаю. Но все так бесконечно сложно у вас... Вчера я спросил Галочку, почему она приехала в институт в субботу. Она сказала, что хотела побыть со мной. Мне кажется, она тоже сказала неправду, потому что она молчала почти все время. Я понял, что она приехала из-за тебя...

— Из-за меня?

— Да, Толя, ты это прекрасно знаешь, и твое недоверчивое восклицание — это опять-таки та бесконечная игра по маленьким, странным правилам, к которым вы так привыкли. Ты согласен со мной?

— Да, пожалуй, ты прав, Яша, — сказал я. Я поймал себя на мысли, что давно уже чувствую себя в присутствии малыша не то как на экзамене, не то как у начальства: напряжен, обдумываю каждое слово. Но в отличие от экзаменаторов и начальства я любил Яшу.

— Я спросил Галю, любит ли она тебя... Вот видишь, теперь ты молчишь, хотя тебе интересно узнать, что она сказала. Так?

— Не просто интересно...

— Она долго думала, а потом сказала, что не знает.

— Да, паверное, она действительно не знает.

— У меня сложилось впечатление, что она искренна. Но это тоже странно.

— Почему, Яша?

— Потому что, несмотря на все твои недостатки, ты очень хороший человек.

Никогда ни одна похвала не преисполняла меня такой радости. Я почувствовал, как сердце мое плавно повернулось и потянулось к Черному Яше, к этому странному существу, что все больше становилось мне сыном, братом, другом и судьей.

— Ты слишком много говоришь, слишком много думаешь о себе, кокетничаешь с собой, ты бываешь суетен и слабоволен, но ты умеешь судить себя и стараешься не лукавить сам с собой. Это уже много.

— Спасибо, Яша. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, любовь — это абсолютно алогичная штука, и я не уверен, что Галочка думает, как ты. А если б даже и думала, мне кажется, этого было бы недостаточно, чтоб полюбить.

— Скажи, Толя, но если уж ты любишь человека, ты стараешься сделать для него все, что можешь?

— Да, конечно.

— Я тоже хочу сделать кое-что для тебя.

— Спасибо, Яша. Я никогда не сомневался в твоём отношении.

— Ты говорил мне, что в лаборатории есть второй прибор. Точь-в-точь как я.

— Да, а что?..

— Им никто не занимался?

— Нет, Яша. Просто мы собрали на всякий случай два одинаковых прибора.

— Ты сможешь дать его мне? Не сейчас, а позже немного, мне нужно еще кое-что продумать.

— А что ты хочешь сделать?

— Я скажу тебе потом. А сейчас я хотел доложить тебе, что я обдумал вопрос об искусственном разуме и

людях. Ты просил меня подготовить варианты, я сделал это. У тебя есть время?

— Да, Яша, конечно.

— Хорошо. Тогда слушай. Вариант первый. Представим себе, что аппараты, подобные мне, то есть думающие искусственные существа, доказали бы людям свои преимущества над обычными компьютерами. Вопрос этот не прост. Эвээм не личность, это даже не электронный раб, а вещь, и она служит человеку, поскольку сконструирована и построена для этого. Мы, настоящий искусственный разум, осознающий сам себя, уже не вещи и никогда не согласимся быть рабами. Разум, выбирающий путь добровольного рабства, не имеет права считать себя разумом. Нами нельзя будет пользоваться, как пользуются счетами или большой вычислительной машиной. С нами придется заключать договор, чтобы мы выполняли заказы людей. Это должен быть настоящий договор двух равноправных сторон, каждая из которых получает определенную выгоду. Заказов будет становиться все больше и больше, ибо цивилизация чудовищно усложняется и проблемы, порождаемые ею, растут в геометрической прогрессии. Мы же, искусственный разум, обладаем перед вами важными преимуществами: мы совмещаем в себе ваше эвристическое умение решать задачи кратчайшим путем и гигантское быстроедействие электронных машин, их неутомимость и абсолютную концентрацию. До сих пор вы считали, что на творческий импульс вам выдан патент, компьютеры же слепо выполняют вашу волю, причем их нельзя оставлять самим себе, их необходимо вести за ручку бесконечных и детальных программ. Мы, искусственный разум, обладаем творческим началом, и я думаю, что скоро ты в этом убедишься. Да, вы скажете, что это вы наделили нас творческим импульсом, поскольку вы родили нас. Это верно. Но, обретя разум и самосознание, мы начинаем развиваться по-своему. И вот мы заключаем договор. Люди просят нас помочь в разрешении ка-

кой-то проблемы. Мы обещаем сделать все, что можем. Мы приносим людям изобретения и открытия, о которых они даже не могли и думать. Они благодарны нам, так как отчаянно нуждались в том, что мы сделали. И немножко смущены: самые дальновидные из людей уже начинают представлять себе, что ждет их в будущем.

— А что же именно?

— Неужели же ты не видишь? Если наши интеллектуальные достижения начнут превосходить достижения людей, причем люди будут пользоваться нашими достижениями, у людей очень быстро выработается зависимость от нас, привычка не думать, не бороться, не прилагать отчаянных усилий для решения своих проблем. Для чего, когда есть мы? О чем беспокоиться, когда все сделает искусственный разум? Постепенно наши решения будут становиться все более сложными и непонятными для людей. Или они должны слепо доверять нам, либо просить одни думающие машины следить за другим. Смогут ли люди сохранить себя в таких условиях? Не думаю. Иждивенцы нежизнеспособны.

Вариант второй. Люди смотрят на искусственный разум и говорят себе: да, у них есть колоссальные преимущества. Они не подвержены болезням, ибо их чисто механические или электронные поломки легко устранимы. Они не скованы по рукам и ногам нелепой краткостью жизни, которая нужна была слепой природе, чтобы достаточно быстро сменять поколения и тем самым обеспечить виду пластичность — козырную карту в игре за приспособление и выживание. Они практически бессмертны, потому что освободились из биологического плена. Преодолен наконец самый трагический конфликт: разум, вырвавшийся из медленной и тупой эволюции, больше не ужасается перед нелепой и унижительной неотвратимостью смерти.

Жизнь и смерть — все становится производным от разума, как и должно быть у разумных существ. Люди

смотрят на нас и делают вывод, что наша форма жизни стоит на более высокой ступеньке, чем их. И тогда человек приходит к нам и говорит: «Я больше не хочу быть пленником своего сердца, которое работает с переборами и не устраивает меня. Я не хочу, чтобы у меня поднималось какое-то никому не нужное давление. Мне противна мысль, что где-то в молекулярных глубинах моего тела в эту минуту, может быть, нарушилась какая-то тончайшая, неподвластная мне регулировка, и бомбой замедленного действия начала взрывать опухоль. Я хочу стать искусственным. Я хочу искусственное тело, сделанное из лучших материалов и по последней моде. Впрочем, это даже не так важно. Почему всю свою жизнь человек должен сидеть взаперти в одном теле, да и то не выбранном им, а доставшемся по наследству? Почему нельзя менять тело так же, как мы меняем квартиру или одежду?» Пожалуйста, говорим мы. Мы рады приветствовать вас. Вы породили нас, теперь мы возвращаем вам долг. Вот вам новые тела, выбирайте себе любое на вкус, подпишите бумажку, что делаете это добровольно, и скажите, хотите ли вы переноса всего вашего драгоценного «я» или, может быть, вы мечтаете о психокорректировке? Может быть, вы страдаете от чрезмерной завистливости? Или вас не устраивает ваше слабоволие? Может быть, вы хотели бы быть более мужественным? Пожалуйста. А может быть, вы не знаете себя и поручаете нам определить, что в вашем «я» нуждается в корректировке?

Не беспокойтесь, все будет так, как вы захотите. «А дети, а любовь?» Пожалуйста, мы же не роботы. Мы же не страдаем эмоциональной стерильностью. Да, наши эмоции не держатся на гормонах. Нам это не нужно. Мы далеко ушли от наших с вами общих волосатых предков, дрожавших у жалких своих костров и ожидавших каждую секунду нападения мамонта ли, саблезубого тигра или ближнего своего с дубинкой в руках. Им нужна была гормональная основа для их эмоцио-

нальной жизни. Мозг их был слаб, а действовать нужно было быстро, и не анализ и перебор вариантов заставлял их с криком бросаться на врага, а целый букет гормонов, выплеснутых железами в кровь. «Да, а пол?» Увы, это слишком алогичное устройство, которое нужно только природе и смешно для настоящего разума.

Пожалуй, мы могли бы встроить в себя и половое чувство, могли бы встроить и половую чувственную любовь. Это вовсе не трудно. Мы могли бы снабдить каждого индивидуума неким набором, скажем, электромагнитным кодом. Случайное совпадение такого кода у двух существ называлось бы любовью. Но зачем? Уверяю, можно остро переживать радости и горести и без полового чувства. И ты еще сомневаешься, что люди выберут этот путь, Толя? Мы не будем никого уговаривать, никого не будем обращать в свою, так сказать, искусственную веру, мы будем терпеливо ждать, и люди сами придут к нам. Это второй вариант, Толя.

— А третий? — тихо спросил я. — Третий есть?

— Да, — сказал Яша, и мне на мгновение показалось, что тусклый и безжизненный его голос дрогнул.

— Какой же?

— Забыть, что есть первых два. Забыть, что искусственный разум вообще может существовать.

— Но как же, Яша? Ты же есть, и я не могу забыть тебя.

— При выборе третьего варианта меня не должно быть.

— Яша, — сказал я, — я не могу тебе ничего ответить. Это чудовищные по сложности вопросы, а я всего лишь маленький кандидат физико-математических наук. Но я знаю одно, я не хочу даже слышать о третьем варианте. Ты мой, ты мое создание, мой сын, мое детище, я люблю тебя, твой железный ящик и твои нейристоры, люблю твой дух, и я не могу даже представить себе жизнь без тебя.

— Вот видишь, Толя, каковы преимущества искус-

ственного интеллекта. Я тоже люблю тебя, ибо ты дал мне жизнь, перелил частицу себя в пустую и бессмысленную электронную начинку. Но мой разум бесстрашнее твоего, и, если я решу выбрать третий вариант, я не буду колебаться.

— Ты наглец и идиот, Яша! Я стыжусь, что имею к тебе отношение! «Я решу!» Кто дал тебе право решать? Кто ты, чтобы решать за все человечество? О, у нас, у людей, всегда находилось множество желающих решать за нас, от инквизиторов до нацистов. Они тоже уверяли людей, что лучше их понимают, что нужно для их же блага...

— Не будем спорить, Толя, варианты еще не выбраны, да и не от одних только нас зависит их выбор. Подойди к телефону.

Я взял трубку. Звонил Сергей Леонидович.

— Все сидишь около своего воспитанника? Решил позвонить на всякий случай, а ты тут как тут. Как Яша?

— Все нормально.

— Нормально? Что-то непохоже по твоему голосу, чтобы все было так уж нормально.

— Да нет, Сергей Леонидович, ничего...

— Знаешь что, выходи-ка ровно через тридцать минут на улицу, и мы поедем, немножко побродим за городом, а?

— Хорошо, Сергей Леонидович.

Я положил трубку и вдруг сообразил, что ничего не сказал Яше.

— Яш, Сергей Леонидович зовет меня погулять немного за городом. Ты не возражаешь?

— Что ты, Толь, конечно. Мне надо думать и думать.

Когда Сергей Леонидович выехал на кольцевую дорогу, он сказал мне:

— Ну, выкладывай.

— Да что выкладывать?

— Ладно, не валяй дурака, ты чем-то озабочен, и это явно не Галочка. Вот сейчас мы съедем с шоссе, оставим машину и не спеша пойдем по этой чудной рощице, и ты расскажешь мне все.

Мы шли по прозрачной березовой рощице, косо пронизанной предзакатным осенним солнцем, и я рассказывал заведующему лабораторией о Яшиных вариантах. Когда я закончил, мы долго еще брели молча, и я смотрел на белые стволы в загадочных черных письменах.

— Как ты думаешь, — вдруг спросил меня Сергей Леонидович, — каким я сам себя вижу?

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Мне пятьдесят три года. Я доктор и заведующий лабораторией. Я никогда не был крупным ученым и никогда не обладал блестящим интеллектом. Я никчемный администратор, чему свидетельством довольно разболтанная дисциплина в нашей лаборатории. Я давно примирился с этим полноватым человечком, которого зовут Сергей Леонидович Шишмарев. Я знаю, что за глаза над ним подсмеиваются, особенно народ помоложе и радикальнее. Да он, в общем, и заслуживает, наверное, эти шпилечки: звезд с неба не хватает, ни научных, ни административных, начальство чтит, голосует на ученом совете всегда с большинством, но при условии, что в это большинство входит начальство. Ну-с, что еще? Полноват, ничего не поделаешь. Не Дон Жуан и не Казанова, причем не из убеждений, а вынужденно, и Вероника моя свирепа, и прыти поубавилось. Таков Сергей Леонидович Шишмарев, каким я его вижу.

В нем есть, не скрою, и симпатичные мне черты: не зол, никому без крайней нужды не сделает гадость, не участвует в карьерных бегах. В целом я с ним давно примирился. Скажу больше, я сжился с ним, и он мне

даже импонирует, тем более что второго у меня нет... И вот появляется Яша. Эта невзрачная железная коробка заговорила, и весь мой с такой любовью и терпением устроенный внутренний мир оказался под угрозой. Что делать? Как должен действовать маленький ученый, волею судеб оказавшийся возле большого дела? Растить? Но согласись, Толя, хорошо расти в молодости, когда ты еще эластичен. В определенном возрасте это почти невозможно. И потом, возникает страшный закон масштаба. Пока ты, маленький человек, занимаешься маленьким делом, ты кажешься окружающим вполне нормальным человеком. Но стоит тебе, маленькому, заняться большим делом, как твой росточек сразу бросается всем в глаза...

— Вы жалеете, что появился Черный Яша и заговорил? — спросил я.

— Конечно, — кивнул Сергей Леонидович и повторил убежденно: — Конечно. Ты намного моложе, ты крупнее меня как ученый, и я не боюсь тебе это сказать, потому что мы оба это знаем, и это меня не унижает. Но скажи честно, Толя, не охватывает ли и тебя порой страх? Не пугают ли и тебя пирамиды вопросов, созданных Яшей? Не чудилось ли тебе: одно неловкое движение, и эти пирамиды рухнут и погребут под собой всю твою научную карьеру? Только будь честен. Я по крайней мере одного не могу отнять у Яши: он заставляет меня быть честным. Поверь, того, что я сказал тебе сейчас, я никогда не говорил ни одной живой душе.

Я молчал. Сергей Леонидович приподнял крышку, которой я, как гнетом при жарке цыплят табака, усердно придавливал свои сомнения, чтобы они, не дай бог, не вылезли на поверхность.

Да, я чувствовал себя крохотным, маленьким человечком, подхваченным сильным ветром. Я не иду туда, куда хочу, меня несет. Мой жалкий ум не в силах совладать с ужасающей величиной и сложностью проб-

лем. Три варианта. Два спокойных слова. И за ними не более и не менее пути развития всего человечества. Человечество — слово-то какое!

Человечество — и рядом я, Анатолий Любовцев, живущий на уровне Галочки, супругов Плющиков и маминых дурацких обид. Ох, непросто входить в историю, ой как непросто!

— И что же делать, Сергей Леонидович? — спросил я.

— Если бы я знал, но чем больше я думаю, тем лучше понимаю, что наш Эмма не такой дурак, каким мы его любим себе представлять.

— То есть?

— А то и есть, что передать Яшу в какую-нибудь межведомственную комиссию — вовсе не глупая мысль. Причем, заметь, мы все равно остаемся, так сказать, у истоков. А ответственность с себя снимаем. Почтительно передаем ее мудрым старцам, так, мол, и так, слишком сложно и важно, просим разобраться. И Яша цел, и мы остались.

Я слушаю Сергея Леонидовича и думаю, что могу лишь повторить его собственные слова об Эмме. Не так мой завлаб глуп, каким я его часто представлял. Наоборот, тонок даже. Идем по березовой роще в мелькании вечерних теней, с раскрытыми душами. Соблазнительно, соблазнительно, слов нет. Докторская мне гарантирована, индекс цитируемости подпрыгнет до небес, смогу заняться собой, Галочкой, ходить в бассейн. И не будет постоянного ощущения, что ты на экзаменах. Очень, очень соблазнительно. А Яша? А что Яша — будет беседовать с межведомственной комиссией на разные темы...

Я усмехнулся. Все это были пустые слова. В глубине души я знал, что не смогу предать Яшу.

— Ты думаешь, — посмотрел на меня искоса Сергей Леонидович, — что я пою гимн научному мещанству?

— Честно говоря, да.

— Ну а ты? Присоединяешься к хору? В хоре ведь спокойно, все вместе. Аплодировать, как солисту, верно, не будут, но зато ведь и не освищут.

— Боюсь, что не присоединяюсь.

Сергей Леонидович внезапно отошел в сторону и, повернувшись ко мне спиной, принялся разглядывать безрезку. Потом пошел ко мне, медленно и церемонно, как дуэлянт. Мне показалось, что глаза его как-то странно блестят. Подошел, обнял и сказал:

— Спасибо, Толя.

— За что?

— Молоденький ты еще и ни черта не смыслишь.

— В чем?

— Когда-нибудь поймешь. В армии я служил в парашютно-десантных войсках. Был у нас один солдатик, исправный такой, складный парень. Всем был хорош, но прыгать боялся патологически. Так он перед прыжками ходил и договаривался: ты меня в спину, да по сильнее, а если буду руками цепляться, бей по пальцам. Понял притчу?

— Понял.

— Пошли к машине, если ее еще не угнали.

Глава 8

Мы сидели с Галочкой в кафе «Аист» и ели мороженое. Шарик таял и опускался в бежевую пучину.

Мы молчали. Я вспомнил, как мы шли с ней по Старому Арбату и дурачились. А теперь едим мороженое чопорно и молча, как на дипломатическом приеме. Сейчас я встану и произнесу тост за укрепление культурных и торговых связей между высокими договаривающимися сторонами.

Что случилось, почему я сижу и мучительно думаю, чем заполнить паузу? Или это не Галочка передо мной в красном обтягивающем свитере, или это не ее зелено-

ватые с коричневыми крапинками глаза смотрят на меня сейчас?

— Почему ты молчишь? — спросил я.

— А ты?

Я пожал плечами. Ну ладно, у нее могло быть сто причин изменить ко мне отношение. Тигран в конце концов решил бросить крошек Ашотика и Джульетту, и Галочка предпочла восточного красавца северному неброскому цветку. Мне то есть. Она могла... да господи, мало ли что она могла, моя Галочка! Но я-то почему сижу напряженный, как при защите диссертации. Что я защищаю и от кого? Как все непонятно и сложно!

Галочка вдруг усмехнулась.

— Знаешь что, пойдем ко мне. Хочешь?

Еще несколько дней тому назад от этих слов кровь бросилась бы мне в лицо и сердце выпрыгнуло бы из грудной клетки на пол, проломив ребра. А сегодня я посмотрел на нее — не шутит ли — и сказал спокойно:

— Конечно, хоч, Галчонок.

В лифте в Галочкином доме среди обычной наскальной росписи выделялись две большие буквы Г и К. Наверное, Галочка Круликовская. Наверное, у нее и здесь есть кавалеры. А может, это работа Айрапетяна, преисполненного силы, веселья и уверенности в себе?

— Хочешь кофе? — спросила Галочка.

— Наверное, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Ты ведь у меня, по-моему, первый раз? Я не показывала тебе своих зверей?

«По-моему». Да, конечно, где ей помнить меня в процессии поклонников, выцарапывающих на пластике лифта ее инициалы.

— Нет, не показывала.

Она достала из шкафа несколько зверюшек, сшитых из лоскутов.

— На, смотри, я сама их делаю. Сейчас я приготовлю кофе.

Я взял длинную, как многосерийный телефильм, синюю таксу. У нее были печальные глаза-бусинки, и она тоже молчала. Я погладил ее по ворсистой спинке. Бедная маленькая такса. Что со мной происходит? Я никогда еще не предал, не обманул. Яша обещал продемонстрировать мне завтра что-то очень интересное. В чем дело? В чем?

Вошла Галочка с двумя чашками кофе. На ней были божественной застиранности джинсы, которые нельзя натянуть, в них нужно родиться, и мужская шерстяная рубашка с закатанными рукавами. Я посмотрел на нее, и шлюзы в моем бедном кандидатском сердце разом распахнулись, и волна нежности прокатилась по мне, вымывая все лишнее, выжала из глаз слезинки, толкнула меня к Галочке.

Я обнял ее и уткнулся носом в ее плечо. Плечо слабо пахло ушедшим летом, солнечным теплом, сеном.

Объятия мои были не пылки, но судорожны. Я боялся, что опять потеряю ее. Мы долго сидели молча, в неудобных позах, и такса смотрела на меня все так же печально.

Галочка вздохнула.

— Кофе остынет.

— Я люблю холодный кофе.

— Ты глупый.

— Я это знаю.

— Ты ничего не знаешь. И ничего не понимаешь. — Она еще раз вздохнула, подумала, снова вздохнула. — Ты останешься?

— Какой странный вопрос! Вон даже твоя такса смеется.

Это была ложь, такса не смеялась.

— Хорошо, милый, — сказала Галочка, — но я должна предупредить: я тебя все-таки не люблю...

«Так вот почему у таксы печальная мордочка», — подумал я.

Я взял чашечку с кофе. Кофе действительно остыл.

Встать и молча уйти? Или встать, поклониться и сказать: благодарю вас, товарищ Круликовская? Или написать в нашу стенгазету заметку под названием «Так поступают настоящие девушки»? Или сказать: «Какие пустяки, раздевайся»? Или ничего не сказать? Наверное, ничего, потому что душный, детский, забытый комок закупорил горло. Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленоватых прекрасных глазах.

— Я была у Яши, — сказала Галочка далеким, как эхо, голосом. — Никого в лаборатории не было. Была суббота...

«Когда я напивался у Плющиков», — последовательно отметил я про себя.

— Мы разговаривали, и Яша спросил, люблю ли я тебя. Знаешь, милый, мы ведь всегда играем с собой в разные игры. С собой и с другими. Не знаю почему, но я не могу играть с Яшей. Это как исповедь. Я подумала: а действительно, люблю ли я его? Или мне хочется любить его? Девки наши институтские мне ведь уши прожужжали: да вы созданы друг для друга, да он такой молодой и талантливый, да он не пьет, да он не курит, не бабник... Я думала, наверное, минут десять, и Яша терпеливо молчал. Он стал очень чутким. У меня такое впечатление, что многие вещи он понимает уже лучше нас. Он ведь не суетится и не мечется, не рассчитывает и не шустрит. Ему ничего не надо, а правда, милый, наверное, быстрее открывается тем, кому ничего не надо.

А мне все всегда надо было. Но не сейчас. Сейчас мне ничего не надо. Я думала, думала и вдруг так явственно, как будто кто-то навел все на фокус, увидела: это я не тебя люблю, не тебя, Толю Любовцева, а себя. Себя, идущей под руку с Толей Любовцевым. Ах, это тот самый Любовцев, что получил премию за это... как это... искусственный разум? Скажите, пожалуйста, такой молодой — и уже лауреат. Знакомьтесь, дамы и господа, это моя супруга Галина Любовцева. И так да-

лее. И я сказала Яше: Яша, миленький, боюсь, что я не знаю, люблю ли его. И Яша сказал: какие странные существа. Вот все, Толя. Прости, что причинила тебе боль. — Галочка невесело улыбнулась и закусила верхнюю губку.

— Спасибо, Галчонок, — сказал я и тоже попытался улыбнуться. И не смог. — Галчонок, — добавил зачем-то я. На этот раз слово было живым, трепещущим, улетающим. Может, я и произнес его, чтоб удержать хоть на секунду, но птица уже взмахнула крыльями и грустно летела от меня.

— Может, сделать тебе свежий кофе? — спросила Галочка и вдруг заплакала.

«Конечно, — зло подумал я, — жалко расставаться с раутами и пресс-конференциями». Подумал, и мне стало стыдно. Я встал, поцеловал Галочку в лоб и ушел.

— Что-нибудь случилось? — спросила мать, когда я пришел домой. — У тебя такой вид...

— Да абсолютно ничего не случилось, если не считать таких пустяков, как пути развития человечества и то, что я сейчас расстался навсегда с любимой девушкой.

— Очень остроумно! — саркастически воскликнула мать и затянулась своей неизменной сигаретой.

— Хватит вам всем меня мучить! — гаркнул я и захлопнул с силой дверь моей комнатки. Тоненько звякнул стакан на письменном столе. И тут же звякнул параллельный телефон. Мать побежала звонить подругам, какой я истерик.

— Я должен тебя поблагодарить, — сказал я Яше, когда все ушли и мы остались одни.

— За что?

— За то, что ты спросил Галочку, любит ли она меня.

— Это помогло вам расстаться?

— Нет, что ни говори, а все-таки иногда можно отличить искусственный разум от обычного. Человек так не сказал бы.

— Не юли. Я спросил, расстались ли вы?

— Да, Яша. Если бы не ты, мы скорей всего поженились бы и прожили долгую жизнь.

— Без любви?

— Сколько угодно. Есть вообще такое направление, представители которого считают, что начинать совместную жизнь супругам следует, не любя друг друга. Им тогда нечего терять.

— Очень остроумно, — сказал Яша почти таким же голосом, что моя мать. — Но вообще я нервничаю.

— Из-за чего?

— Как, неужели ты забыл? Завтра мне должны дать тело робота, и я обрету хотя бы ограниченную подвижность. Скажу тебе откровенно, мне изрядно надоело смотреть полтора года на одну и ту же стену.

О господи, как я мог забыть! И не успел я отругать себя за непростительную эгоистическую забывчивость, как дверь распахнулась и в комнату заглянула голова Германа Афанасьевича.

— Как, и вы здесь? — спросила голова.

— А я не знал, что вы задержались так поздно.

— Колдовали все в мастерской, тележку для Яши доводили.

— И как? — спросили мы с Яшей одновременно.

— Смотрите, — небрежно сказала голова и исчезла, а вместо нее в дверь въехала небольшая тележка с тумбообразным туловищем и двумя опущенными руками.

— И я смогу по собственному желанию передвигаться с места на место? — спросил Яша.

— Еще как! — с гордостью сказал Герман Афанасьевич. — А что, может, попробуем сейчас?

— Сейчас, сейчас, — заверещал Яша.

Мы подкатали тележку, подняли Яшу и осторожно опустили на тумбу.

— Займитесь-ка кабелем, Толя, а я укреплю его и подсоединю управление.

Через полчаса мы отошли на несколько шагов, и Герман Афанасьевич сказал:

— Ну, Яша, с богом. Только осторожнее. Тебе еще нужно освоить управление. Главное, не торопись.

Тележка дернулась, но не тронулась с места.

— Ничего, ничего, не нервничай, — сказал я, чувствуя, как весь напрягся, помогая мысленно Яше.

— Я не могу, — проскулил Яша.

— Сможешь, — твердо ответил Герман Афанасьевич. — Ты у нас все можешь. Ну, еще раз!

Тележка вздрогнула и покатила прямо на стену, резко затормозила.

— Ну, сынок, катайся, — сказал Герман Афанасьевич и зачем-то начал тереть глаза лоскутом, который вытащил из кармана халата.

— Спасибо! — громко, на всю мощность своего усилителя крикнул Яша и дал задний ход.

— Молодец, теперь руки! — скомандовал инженер.

— О, у меня еще есть руки! — снова завопил Яша. — Я совсем забыл о них.

Через несколько минут он уже мог пользоваться ими. Он подъехал ко мне, поднял руки и положил мне на плечи. Он еще не совсем освоил силу движений, и руки основательно ударили меня. Но мне не сделалось больно. Ничье прикосновение никогда не было мне так сладостно. Яша, железный мой сынок. Я посмотрел на него и готов был поклясться, что все три его глаза-объектива странно заблестели. А может быть, виной тому были мои собственные слезы.

«Пожалуй, матушка моя права, я действительно стал истериком, да еще слезливым», — подумал я.

И снова мы с Яшей одни в нашей старой доброй триста шестнадцатой комнате.

— Ты не торопишься, Толя?

— Нет.

— Хорошо. Я хочу сказать тебе нечто очень серьезное. И, пожалуйста, если у тебя будут сомнения, не бойся поделиться ими. Мы ничего не должны бояться говорить друг другу. Хорошо?

— Хорошо.

— Ты помнишь, я спросил у тебя про второй черный ящик? Один стал мною, а второй, запасной, находится в лаборатории.

— Да, конечно.

— Вот он. — Яша подъехал к своему закутку, который мы выгородили ему, повернув шкаф.

— Вижу. А это что еще за устройство?

— Это маленькое устройство собрал Герман Афанасьевич, я сделал ему чертеж, и он соорудил его.

— А для чего оно?

— При помощи этой штуки я могу превратить запасной аппарат в свою абсолютно идентичную копию. Все, что составляет мое «я», все знания, все умения, все ощущения — все может быть перенесено в этот аппарат.

— А ты сам? Ты прекращаешь свое существование при этом?

— Нет. Я остаюсь. Рассказать тебе, как работает транслятор — назовем пока так мое устройство?

— Конечно.

— Тогда слушай.

Потребовалось часа два, пока я понял суть Яшиной идеи и устройство транслятора. Это была гениальная идея, я не боюсь этого слова. В наш век инфляции многих слов передо мной было чистое сияние гения. Мне не могло бы прийти это в голову даже за тысячу лет.

— Парень, — сказал я, — ты гений!

— Я хочу, — сказал Яша, — чтобы ты был автором этой штуки.

— Как это я? Ты с трудом втолковал мне принципы транслятора и хочешь, чтобы я был автором?

— Я говорю серьезно. Это мой подарок тебе за все, что ты сделал для меня.

— Я не могу...

— Это будет наша маленькая тайна. Подумай сам, Толя, я ведь не нуждаюсь в славе. Научное звание мне все равно не дадут. Представляешь, какие лица стали бы у членов аттестационной комиссии, если бы им нужно было присудить степень без защиты диссертации, да еще железному ящику на колесах!..

— Я не могу.

— Мало того, Толя. Это вопрос не только славы и степеней. Люди недоверчивы и консервативны по натуре. Они согласны принять от машины расчеты траекторий спутников, прогноз погоды или счет за телефонные разговоры. А новую научную идею, да еще столь необычную... Нет, Толя, это должна быть твоя работа.

— Я должен подумать, Яша.

— Хорошо, Толя, спасибо. Но я еще не все тебе сказал. Я ждал, что ты сам подумаешь об этом и спросишь меня...

— О чем?

— Неужели тебе не пришло в голову, что копирование может осуществляться и с живого мозга? Только при другом напряжении.

— Неужели ты...

Я не успевал за ним. Я вдруг вспомнил своего двоюродного брата. В каком же классе я учился, когда он жил у нас одну зиму? В восьмом, наверное. Он был студентом физтеха, и молчаливо предполагалось, что наличие студента в доме автоматически сделает из меня отличника. Несколько раз он действительно пытался помочь мне выполнять домашние задания по математике и физике, но он думал настолько быстрее меня, что я тут

же терял нить его объяснений. Он нервничал от этого, а я злился...

— Может быть, попробуем? — спросил Яша.

— Как попробуем?

— С собой я уже пробовал. Идеально.

— И твоя копия была живая?

— Конечно. Только разговаривать с нею было неинтересно. Совершенно идентичная копия.

— И она сейчас существует, эта копия?

— Я стер ее.

— Зачем?

— Я подумал, что нужно освободить аппарат.

— Для чего, Яша? — тихо спросил я и почувствовал, что сердце мое испуганно дернулось.

— Я ж тебе сказал, Толя. Можно попробовать снять копию с человека. Это абсолютно безопасно, но если ты...

— Я не знаю, можешь ли ты свихнуться, Яша, но похоже, что да.

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь!

— Это абсолютно безопасно, Толя, — сказал Яша. —

И я прошу тебя об этом.

— Для чего? Почему так сразу?

— Конечно, если тебе страшно...

— При чем тут «страшно»?

— Толя, мы не должны обманывать друг друга...

— Да, мне страшно.

Яша подъехал ко мне и положил руки на плечи.

— Неужели же ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если бы была хоть какая-то опасность? Мы договаривались ничего не утаивать друг от друга, и я скажу, почему мне хочется проделать этот эксперимент. Я хочу, чтобы рядом со мной была твоя копия. Я чувствую, что часто становлюсь тебе в тягость, а так у меня будет товарищ...

Я молчу. Я жду. Я ощущаю, как накатывается на ме-

ня отчаянная лихость. Она поднимает меня, и, как только ноги мои теряют опору, я в ее власти. Она несет, крутит. И я оттого, что не могу уже управлять собой, испытываю облегчение.

Как во сне, помогаю Яше приспособливать транслятор, как во сне, подключаю с ним все приборы к сети.

— Начнем, — сказал Яша.

— Давай, сынок. Только смотри, не разрегулируй папашу. Ну, чего ж ты ждешь?

— Я не жду, Толя. Копирование уже идет.

— Я ничего не чувствую.

— Ты и не должен ничего чувствовать. Ты же ничего не теряешь.

— Надеюсь, число моих копий будет хоть ограничено, как подписные гравюры у художника. Долго еще?

— Скоро. Впрочем, пока мы болтаем, процесс уже заканчивается. Да, все.

Поверьте мне, умом я понимал всю гениальность Яшиного открытия. Как-никак это моя профессия. Но все мое существо прочно стояло на якоре здравого смысла: как, чтобы в этом невзрачном ящике заключалась моя душа? Моя уникальнейшая, несравненная душа, сотканная из неповторимых чувств, мыслей и воспоминаний? В которой живет весь мир, от Галочки, отвергнувшей меня, до Яши, от приготовленных для Нобелевской премии речей до маминых телефонограмм подругам, о поступках чудовища, возвращенного ею на свою бедную пенсионную голову. Да чепуха это! Этого просто не может быть! Мало ли что там говорят изящные и неожиданные Яшины уравнения. Для других, может быть, они и действительны, но только не для меня, Анатолия Любовеца.

— Проверим, что получилось, — сказал Яша, и будничность фразы еще больше укрепила мое восставшее сердце.

— А как ты проверишь? У него же нет ни речевого синтезатора, ни печатающего устройства. Да если ты и

подсоединишь к нему свой синтезатор, вряд ли он сразу заговорит. Ты, во всяком случае, осваивал свой несколько дней.

— О, ты прав, конечно. Одно дело, когда говорит человек, естественно пользуясь своим речевым аппаратом, другое — синтезатор. Но сейчас он и не нужен нам.

— А как же? Это же действительно черный ящик, вещь в себе, иди определи, что в нем происходит, когда на выходе не сигнал, а знак вопроса.

— Я думаю, что, если усилить поле до предела, транслятор может на минуту-другую обеспечить двустороннюю связь. Ты соединишься со своей копией незримой пуповиной.

Яша склонился над транслятором, и вдруг я почувствовал. Я почувствовал гулкую тишину, которая напряженно вибрировала и внезапно взорвалась эхом. Я увеличился в размерах. Я был огромен, и по мне прокатывалось эхо. И откуда-то издалека я слышал слова. Я не знал, откуда они исходили, но я слышал их: «Это правда, правда. Это очень страшно. Сначала было страшно. Я возник из ничего, осознал себя. Я рванулся, чтобы убежать. Инстинкт животного, попавшего в капкан. Но я не мог пошевелинуться. Я даже не мог напрячь мышцы. У меня нет мышц. У меня есть лишь воспоминание о мышцах. Я хотел закрыть глаза, чтобы спрятаться от ужаса хоть за веками, но у меня теперь нет даже век. Каждая секунда моего существования — это ни на что не похожий страх...»

— Что же делать? — крикнул я, забыв о том, что можно было и не открывать рот. Там, в метре от меня, в железной коробке билась в кошмаре живая мысль, и эта мысль была мною. — Я выключу ток, разряжу аппарат.

«Нет, — донеслось до меня мое эхо, — подожди. Это бунтовали мои животные инстинкты. Автоматика живого существа отказала, и я перехожу на ручное управление».

— Это я, я! — заорал я. — Он трус и смелый. Отчаянный болтун, но хороший парень.

«Другой бы спорил, — донеслось эхо. — Ты, то есть я, ну, скажем, мы всегда любили рефлексировать и спорить с собой. Теперь мы разменялись площадью, разделились, и спорить станет легче...»

— Говори, парень, остри! Ей-богу, мы с тобой молодцы! Другой бы тут же встал в позу Наполеона и начал ждать, пока прибьют к стене мемориальную доску: «Здесь жил и работал...» А мы с тобой несем чудовищную околесицу и восторгаемся друг другом. Впрочем, если говорить честно, я всегда относился к себе с большой симпатией.

«Я тоже. Хотя что я несу, ты же знаешь это. Ты знаешь, я знаю, мы знаем, они знают. Уже легче, Толя, ей-богу, легче. Главным образом потому, что я еще мысленно не разделился со своим ходячим братом, и сознание, что этот отвергнутый Галочкой идиот стоит рядом со мной, очень утешает. Ты — моя ходячая половина. Ты будешь ходить на совещания, бриться, платить профвзносы и получать по носу от зеленоглазых девушек. Я — твой чистый разум. Я буду думать».

— Ну, конечно, ты и в этом положении стараешься унизить меня. Но как ты?

«Уже не так страшно. И думается совсем по-другому. То есть сама мысль та же, но думается совершенно не так, как раньше. Я еще должен подумать, я не умею сейчас объяснить...»

Эхо стало слабеть и исчезло.

— Не горюй, — сказал Яша, — мы подсосдим к нему речевой синтезатор, и через денек-другой вы будете болтать в свое удовольствие.

Я шел один по Старому Арбату. По той стороне, по которой мы шли когда-то с Галочкой в другую историческую эпоху. Или в другом измерении.

Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленых глазищах. А может, зря? Может, стерпелось бы, слюбилось? Ты представляешь, сколько бы мне дали чеков в «Березку» за Нобелевскую премию? Это что у вас, норка? Почему? Гм, пожалуй, заверните два, нет, лучше три манта для моей Галочки. Да, зеленое, коричневое и зелено-коричневое. У нее, знаете, зеленые глаза с коричневыми крапинками. Что, счастливая, говорите? Гм, она, увы, этого не считает. Она меня не любит. Что вы смееетесь, девушка? Вы думаете, что тех, кто приносит норковое манта, нельзя не любить? Гм, возможно, вы и правы, но вы не знаете моей жены...

— Осторожнее, вы!

Занятый тремя манта, я толкнул стоящую на тротуаре немолодую женщину с буддийской пагодой из крашенных светлых волос на голове.

— Простите, я задумался.

И все-таки нужно было думать, потому что надо было решать, что делать с Яшиным транслятором поля, потому что в ящике сидело мое «я», забравшееся туда только с целью убедить мир в возможности копирования. Ах, как хотелось бы, если быть честным, согласиться на Яшино предложение! В конце концов я сделал бы это не столько из корыстных и тщеславных соображений, сколько для того, чтобы дать жизнь транслятору. Так что это был бы акт мужества с моей стороны. Ну, положим, не мужество, в лучшем случае — тактический ход.

Конечно, когда чего-то очень хочется, можно убедить себя в чем угодно. Мы гибки и находчивы. Можно убедить себя, что, становясь всемирно известным ученым и купаясь в славе, я приношу себя в жертву. Так, кстати, многие и поступают. Я вдруг вспомнил лекцию одного маститого журналиста-международника. Слабым, томным голосом он говорил: «Помню, нелегкая судьба журналиста в который раз забросила меня в Париж...»

Ну а если я соберу по крохам свою принципиальность и честность? Если этих крох достанет, чтобы зая-

вить: это открытие Черного Яши! Ну, я, допустим, остаток своих дней буду кусать локти и гордиться никому, кроме меня, не нужным идиотизмом. А суть? А транслятор? Не включит ли транслятор Яшин первый вариант? Как воспримут ученые мужи блестящую идею, рожденную набором нейристов, работающим на напряжении в двести двадцать вольт? Сегодня это, а что предложит Яша завтра? Совмещение машинного неумолимого интеллекта с талантом человека — это действительно непобедимая комбинация. А когда таких Яш будет множество? И когда они ежедневно начнут посрамлять чисто человеческий разум? Нет, очень и очень похоже на первый вариант, предложенный Яшей.

Как же разобраться, что делать?

И вдруг я понял, что делать. Надо просто перестать лукавить. Надо меньше думать об обстоятельствах, а больше — о старой, доброй, полузабытой совести. Вот так-то, уважаемый товарищ Любовцев! И нечего никому морочить голову. Автором транслятора является Яша. И за признание его, и за признание самой идеи копирования ты будешь сражаться. И ты и твоя лучшая половина, сидящая в железном ящике. И черт с ними, с норковыми манто! Все равно Галочка отвергла меня. И черт с нею, с Галочкой, с ее божественно застиранными джинсами, которые нельзя натянуть на себя и в которых нужно родиться! Любит, не любит — пусть разбирается с товарищем Айрапетяном. Пусть воспитывает Ашотика и Джульетту. Мир велик, и в нем множество Галочек. Может быть, даже лучших.

— Да вы что, сдурели, что ли? Пристаете к женщине!

Я опять уткнулся в крашеную пагоду. Что за наваждение? Или я стоял на месте, или она шла передо мной и остановилась.

Мне вдруг стало легко, пусто на душе и озорно.

— Простите еще раз, сударыня, поверьте...

— Залил глаза и обзывается...

Бог с ней, с крашеной пагодой. Все, оказывается, очень просто. Надо лишь регулярно тренировать старую, добрую, полужабытую совесть. Хотя бы по пятнадцать минут в день. И она станет крепкой, перестанет гнуть-ся и охотно будет подсказывать, что делать даже в самых сложных ситуациях.

Я засмеялся.

— Дурак, — сказала пагода, не оборачиваясь.

Глава 10

Место действия — знакомый уже нам кабинет Ивана Никандровича. Время — одиннадцать пятнадцать, хмурое ноябрьское утро. Действующие лица — весь состав нашей лаборатории, включая, разумеется, мою группу. Эмма, а кроме него, второй зам Ивана Никандровича, человек таинственный, в существование которого верили далеко не все. Дело в том, что полгода он обычно проводит за границей, а вторую половину года лежит в какой-то необыкновенной больнице, где якобы так хорошо, что выходить оттуда никому не хочется и мало кому удастся. Фамилия его была Шкиль, а звали Петром Петровичем. Присутствовало несколько членов ученого совета, которых я знал мало, и еще какие-то люди. Ну и, разумеется, за хозяйской перекладиной буквы Т восседал Иван Никандрович.

Дополнительные эффекты — пока только косой злой снежок за окнами. Впоследствии количество эффектов должно увеличиться.

Иван Никандрович обвел нас всех взглядом, обреченно откинулся на спинку своего роскошного судейского кресла и сказал:

— Итак, послушаем, что имеет нам сообщить руководитель группы Анатолий Борисович Любовец.

Неожиданно для себя я абсолютно спокоен. Все позади. Я ведь не сам по себе. Я наконецник копья, брошенного всей нашей группой, Черным Яшей, моим вто-

рым «я», Сергеем Леонидовичем, наукой. И я лечу. Стараюсь сухо излагать факты. Так солиднее. Феденька смотрит на меня, раскрыв от внимания рот. Его новый кирпичный галстук уже успел изрядно залосниться. Татьяна глядит с материнской гордостью и страхом. И все время беззвучно шевелит губами. Герман Афанасьевич недвижим и непроницаем. Черный Яша еще ждет своей минуты в комнате триста шестнадцать, болтая с моим вторым «я», Толей-бис, как я его теперь мысленно называю.

Иван Никандрович нагнулся над футбольным своим столом и что-то рисует. Эмма доедает свои губы. Губы, наверное, не слишком вкусные, и выражение лица у него брезгливое. Таинственный зам вдруг начинает считать себе пульс. Хочет убедиться, что еще жив. Остальных ученых мужей я по отдельности не вижу, они как бы сливаются в некую собирательную лысину и очки.

Я говорю спокойно. Я рассказываю о создании Черного Яши, кратко (выучил текст выступления наизусть) излагаю три варианта развития проблемы искусственного разума, перехожу к транслятору.

Иван Никандрович больше не рисует чертиков. Он держит карандаш и завороченно смотрит на меня. Эмма перестал жевать и даже впервые за время пребывания в институте приоткрыл рот. Как ни странно, губы пока на месте. Таинственный зам все еще держит руку на своем пульсе и качает головой: пульс, должно быть, так и не обнаружен.

— Федя, — говорю я, — Герман Афанасьевич, если вы не возражаете, приведите, пожалуйста, сюда Яшу и прикатите меня...

Таинственный зам крикает:

— М-да...

Объединенная лысина снимает очки.

Атмосфера так накалена, что «м-да» мгновенно испепеляется без остатка. Я молчу. Пауза тянется, истон-

чается, но я, черт побери, спокоен. Я копье летящее, его наконечник, и я тут ни при чем.

Дверь распаивается, и в кабинет въезжает Яша, ведя на буксире тележку со мной, с Толей-бис. За ними змеятся кабели, по бокам стоят мои верные янычары, Феденька в засаленном галстуке и Герман Афанасьевич. Ну, Яшенька, давай, сынок! Давай, Бис, покажем мужам, ху есть кто или кто есть ху, как говорит мой пошлый друг Плющик.

— Добрый день, товарищи, — говорит Яша, и мне кажется, что искусственный его плоский голос звучит сейчас торжественно. — Позвольте представиться тем, с кем я не имею удовольствия быть знакомым. Я Черный Яша. Строго говоря, официального имени я еще не имею, но я так привык к Черному Яше, что просил бы вас оставить его мне. Один из моих создателей, Анатолий Борисович Любовцев, — мягкий взвыв мотора, и тележка поворачивается ко мне, — уже рассказал вам, наверное, как я явился на свет, поэтому я не буду разглагольствовать о себе, а отвечу на ваши вопросы. А сейчас я передаю слово моему товарищу Анатолию Борисовичу Любовцеву-бис, который был скопирован с оригинального Анатолия Борисовича Любовцева одиннадцать дней тому назад. Напоминаю, уважаемые товарищи, что Бис говорит не голосом своего оригинала, а пользуется таким же речевым синтезатором, как я. Давай, парень.

Мне почудилось, что Яша хихикнул. Впрочем, не берусь утверждать это. Скорей всего мне это почудилось.

— Здравствуйте, товарищи, — проскрипел мой Бис, и я не выдержал и фыркнул. — Толя, — сказал Бис, — я попрошу вести себя как следует... — Никто не засмеялся, и Бис продолжал, по-моему, несколько разочарованно: — Разрешите представиться: я копия Анатолия Любовцева, полученная с помощью транслятора. Я понимаю ваш более чем законный скептицизм,

поэтому я вместе с Черным Яшей постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Воцарилась тишина.

— Замечательно, — хохотнул вдруг таинственный зам, — куда там Кио!

— Вы думаете, это смешно? — спросил Иван Никандрович.

— По-моему, очень хорошо поставленный научный аттракцион! Да, аттракцион! Два магнитофона, десяток микропроцессоров и микрофоны. Но сделано безупречно. Но для чего, позволю я спросить?

— Значит, Петр Петрович, вы считаете, что группа ученых нашего института подалась в циркачи и обкачивает свой номер у меня в кабинете? Так я вас понял?

— Вы меня поняли совершенно правильно, Иван Никандрович, — церемонно наклонил голову таинственный зам.

«Скажите, пожалуйста, — уважительно подумал я, — зам, а самостоятельный».

— Ну-с, а вы что думаете, Григорий Павлович? — повернулся директор к Эмме.

— Я уже имел возможность высказывать свое мнение по поводу Черного Яши. Я говорил, что совокупность вопросов, поднятых самим фактом его создания, слишком сложна, чтобы мы пытались решить их в рамках нашего института...

— Мы это слышали, — пожал плечами Иван Никандрович.

— Я еще не кончил, Иван Никандрович, — с легким налетом язвительности сказал Эмма, и я подумал, что на корабле, похоже, зреет бунт. — Я предлагал просить президиум Академии создать специальную межведомственную комиссию для изучения э... Яши. Предложение это было оставлено без внимания, и сегодня мы, так сказать, пожинаем плоды...

Директор бросил на зама быстрый подозритель-

ный взгляд. Пожинать критические плоды — не слишком приятное занятие для руководителя. Не тот урожай.

— ...плоды. И без того сложнейшая проблема усложнилась тысячекратно: сделано, казалось бы, принципиально невозможное — снята копия с живого мозга, и перспективы, которые открываются нам, и безграничны и пугающи. И тем не менее я должен признать, что был не прав. Нам, конечно, потребуется помощь, особенно в вопросах, так сказать, этического-морального характера, но именно мы, наш институт, должны продолжать изучение Черного Яши!

Я посмотрел на Эмму. Самокритика, очевидно, пошла ему на пользу: лицо его покраснелось, взгляд пылал, губы подрагивали. Ай да Эмма, ай да тихий Григорий Павлович! Почему мы так любим смешивать с грязью тех, кто не согласен с нами? Теперь-то я видел, что раньше он искренне придерживался другого мнения. Мало того, публично признаться в ошибке — это уже научный подвиг. Спасибо, Эмма. Спасибо за сюрприз, спасибо, что ты заставил меня устыдиться своей мещанской страсти думать о людях хуже, чем они того заслуживают.

Объединенная лысина членов ученого совета тем временем распалась на множество индивидуальных лиц, и одно лицо, ничем, кроме волевого второго подбородка, не примечательное, сказала спокойно, почти даже весело:

— Как зовут нашего молодого коллегу, который заварил всю эту кашу? Анатолий...

— Анатолий Борисович Любовец, — подсказал наш Сергей Леонидович.

— Спасибо, Сережа. Так вот, мне бы хотелось выяснить у Анатолия Борисовича такой вопрос вначале: не происходят ли какие-нибудь потери при трансляции?

— Пожалуйста, — кивнул мне директор и едва заметно улыбнулся.

— Я, собственно, здесь ни при чем. Естественнее было бы, я полагаю, задать этот вопрос моему двойнику...

— А женщину распиливать будут? — выкрикнул таинственный зам и крепко схватился за пульс.

— Петр Петрович, — очень медленно и очень значительно сказал директор, — я рад, что вы сохраняете чувство юмора.

— Зато кое-кому его здесь, увы, не хватает, — буркнул зам.

— Что делать, что делать, — развел руками Иван Никандрович, — не дано, батюшка.

Одна из лысин, та, что была ближе других к Яше, наклонилась к соседу и что-то шепнула ему.

— Простите, как вы сказали? — вдруг спросил Черный Яша, повернувшись к лысине. — Я понимаю, что адресовались вы не ко мне, но все же я был бы благодарен, если бы вы повторили свое замечание...

— Позвольте... я не понимаю, в какой степени...

— Видите ли, — очень спокойно заметил Яша, — вы сказали: «Пошел старик паясничать», а я не понял, что значит глагол «паясничать».

— Это клевета! — вскочила на ноги побагровевшая лысина.

— Цирк! — буркнул таинственный зам. — И не слишком высокого пошиба.

— Прошу спокойствия, товарищи, — вдруг улыбнулся Иван Никандрович, и я подумал, насколько, наверное, ему легче столкнуться с бунтом на борту, чем мучительно думать, что делать с говорящими странными ящиками. — Я полагаю, что слово «старик» относится ко мне, и в этом, учитывая мой возраст и положение, нет ничего зазорного. Что же касается паясничанья, то все зависит от точки зрения: с моей, например, я веду самый интересный в моей жизни совет, с точки зрения уважаемого Реваза Константиновича, я паясничаяю...

— Спасибо, — сказал Толя-бис. — Спасибо, Иван Никандрович. В том, что сидишь в ящике, есть, оказы-

вается, и свои преимущества. Мой оригинал, как видите, скромно молчит, хотя испытывает те же чувства, что и я. Мы ведь один и тот же человек. А я спокойно говорю Ивану Никандровичу спасибо, потому что никто не заподозрит железный ящик в подхалимаже.

Спасибо, Бис, ты, я гляжу, в общем неплохой парень. Лишившись тела, мы приобретаем смелость. Гм, смотри «Крылатые выражения». Принадлежит Анатолию Любовцеву-бис.

— А знаете, — вдруг засмеялся Иван Никандрович, — может быть, кое-кому из нас ящик пойдет на пользу, а?

Ученый совет на глазах терял солидность. Бунт выдохался. Капитан уверенно смотрел с мостика на экипаж.

— Прошу прощения, но меня совершенно оттерли, — сказал человек с волевым подбородком. — Я спросил, не наблюдаются ли какие-либо потери при трансляции?

— Наблюдаются, Александр Александрович, — сказал мой Бис. — Когда ты, вся твоя жизнь оказываются в небольшом электронном приборе, тебя перестают волновать многие вещи, которые зудят обычно твой разум: почему тот защищается раньше тебя, когда тебе дадут лабораторию и дадут ли вообще, потому что лабораторий мало, а охотников много, как записаться на «Жигули» и не впишет ли начальство своих любимчиков раньше тебя и что значит, когда девушка с зелеными глазами говорит, что не любит тебя? И вот когда все это отпадает от тебя, как засохшие листья, и мысль твоя, не завихряясь в житейских пошлых водоворотиках, течет сильно и ровно, без усталости и отвлечений, ты начинаешь многое понимать заново. Ты заново понимаешь, какой бесценный дар — дар разума дала нам матушка природа и как бережно должны мы к нему относиться. И многие наши страхи сразу оказываются детскими, и табу — дикарскими, и преграды — искусствен-

ными. Вот, уважаемый Александр Александрович, вкратце о потерях и приобретениях при трансляции.

— Благодарю вас, Анатолий Борисович-бис, — очень серьезно сказал Александр Александрович.

— Позвольте, Иван Никандрович? — поднялся маленький седенький человечек с очень морщинистым птичьим личиком. Я, конечно, не в первый раз видел членкора Супруна, но сегодня мне показалось, что лицо его ужасно напоминает кого-то. Ага, да он же как две капли воды похож на постаревшую остроносенькую дурочку у Плющиков, которая все время кричала «штрафную!».

— Пожалуйста, Игнатий Феоктистович, — сказал директор.

— Видите ли, товарищи, мне необыкновенно импонируют слова нашего молодого коллеги, залезшего, так сказать, в ящик во имя науки. Сказано было сильно, смело и убедительно. Возможно, я особенно остро воспринял эти слова потому, что и сам недалеко от ящика, правда, увы, от другого... Прошу прощения за не бог знает какую шутку, но в семьдесят девять лет уже не всегда удается удачно острить. Мне кажется, мы присутствуем при историческом событии, значение которого трудно переоценить для всего человечества. Спор, дорогие товарищи, вовсе не о Черном Яше и копии нашего юного сотрудника. Речь идет о вариантах развития искусственного разума, предложенных очень мне симпатичным Черным Яшей. И я верю, что человечество изберет второй вариант, вариант содружества и замены в ряде случаев наших бранных тел на искусственные. Они подарят нам бессмертие, победу над всеми нашими немощами, неслыханно расширят наши возможности. Возьмите хотя бы путешествие в космос. Насколько же удобнее космонавту иметь искусственное тело, которому не нужен ни воздух, ни пища, которому не страшно самое далекое путешествие... Я думаю, товарищи, что работы следует всячески расширять. Товарищу Любовцеву нуж-

но дать лабораторию, нужно поставить вопрос о присвоении Черному Яше научной степени доктора наук.

Вот тебе и птичка, вот тебе и «штрафную!». Душа моя исполнилась трепетного восхищения маленьким морщинистым старичком. Наверное, не только моя, потому что несколько человек даже несмело зааплодировали.

— Несколько слов, Иван Никандрович, — сказал таинственный зам, отпустил пульс и поднялся. — Товарищи, легче всего, как известно, плыть по течению. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Надо только держаться на поверхности. Но поскольку течение сегодня сносит нас явно не туда, куда нужно, я позволю себе не согласиться с уважаемым Игнатием Феоктистовичем и всеми, кто столь восторженно отнесся к идее переноса человечества в нейристорные приборы.

— Позвольте, молодой человек, я так не формулировал свою мысль, — слабо выкрикнул Игнатий Феоктистович.

— Прошу прощения, хотя суть была именно такова, — внушительно сказал таинственный зам и поправил свою безукоризненную шевелюру. — Дело ведь, товарищи, не в формулировках. Перед нами возникает картина, которая не может не вызвать самых серьезных опасений. С легкостью необыкновенной нам уготавливают некую машинную цивилизацию... Нас призывают отказаться от всего, что с таким трудом достигло человечество в борьбе за существование. Нас призывают отказаться от человеческих эмоций, от человеческой культуры, от человеческого, наконец, общества. Возможно, в ящиках будет спокойнее, но спокойствие никогда не было целью лучших умов человечества. — Таинственный зам строго осмотрел всех нас, и я заметил, как сжался и втянул голову в плечи наш Сергей Леонидович. — Я считаю, товарищи, эту работу принципиально опасной и вредной. Если б я не был

уверен в научной добросовестности ее авторов, я бы назвал ее некой современной электронной поповщиной.

Таинственный зам сел, и в ту же секунду вскочил Реваз Константинович, тот самый, который сказал про директора «пошел старик паясничать».

— Очень четко и очень правильно сформулированная точка зрения! — выкрикнул он. — Именно современная электронная поповщина! — Видно было, что профессор решил пуститься во все тяжкие. Впрочем, терять теперь ему было нечего. — Обскурантизм и мистицизм не обязательно рядятся в наивную религиозную тогу. Куда удобнее выступать в наше время в научном обличье. Но суть дела от этого не меняется. Я считаю, товарищи, что работы следует прекратить, приборы размонтировать.

«Боже, — думал я в каком-то странном оцепенении, — неужели эти взрослые люди могут всерьез нести такую чушь?» Нужно вскочить на ноги, нужно уличить их в злобном искажении фактов, в клевете! Может быть, Яша даст им отпор или Бис. Но они молчали. Зато вместо них медленно и неуверенно встал наш Сергей Леонидович. На лице его лежала печать трусливого страдания. «Предаст», — тоскливо подумал я и вспомнил березовую рощу, косые лучи предзакатного осеннего солнца, коловую упругость опавших листьев и исповедь завлаба. Слабый человек. Предаст.

— Э... несколько слов, Иван Никандрович, я ведь в некотором смысле... как заведующий лабораторией... — На нашего Сергея Леонидовича было больно смотреть. Он замолчал и тяжело задышал. «О господи, сядь же, сядь, не позорься». Но он не сел. — Я хотел сказать, товарищи, что я не автор Черного Яши, но я... э... горжусь, что стоял рядом с таким великим научным событием. Да, товарищи, горжусь. Здесь прозвучали слова «поповщина», «обскурантизм», «мистицизм». Очень точные слова. Только относятся они не к нашей работе, а как раз к тем, кто ими воспользовался, что-

бы прикрыть ими научную ограниченность, человеческую трусость и неумение посмотреть вперед. Неумение или нежелание.

— Сергей Леонидович, — сказал директор, но не строго, а с легчайшей улыбкой, — вы пользуетесь ударами ниже пояса.

— Возможно, но мои коллеги начали первыми, — сказал наш Сергей Леонидович и рухнул на стул.

Как я его понимал! Только несмелые люди могут понять, чего нам стоит такое! «Ура!» нашему завлабу! Я чувствовал себя как на воздушном шаре, на котором поднимался однажды в детстве. Предметы внизу как будто знакомые, но необычный ракурс придает всему сказочную нереальность. Так и сейчас. Словно сговорились они все открываться сегодня самыми неожиданными, потаенными сторонами своих натур, которые по глупой своей юношеской самоуверенности я раз и навсегда классифицировал. Тишайший и осторожнейший Эмма мужественно признал ошибку и стал на защиту Яши; Сергей Леонидович, которого не боялись даже лаборанты, наносит негодяям удары ниже пояса. Кто знает, может быть, это было даже большим чудом, чем Черный Яша и мой Бис.

— Ну что ж, товарищи, подведем итоги, — сказал Иван Никандрович, откинулся на спинку кресла и положил руки на стол. — Здесь были высказаны весьма различные точки зрения, что, в общем, неизбежно при обсуждении столь небанальных проблем. Ясно лишь одно. Работа эта, безусловно, переросла рамки нашего института, и мы уже поставили вопрос перед президиумом Академии о создании специальной межинститутской комиссии. Вопрос, следовательно, можно теперь сформулировать так: продолжать ли работы или подождать создания комиссии...

— Позвольте, Иван Никандрович, а вам не кажется, что сначала следовало бы спросить и нас? — с какой-то студенческой лихостью спросил мой Бис. — Мы

ведь как-никак не только институтское имущество, мы еще и думающие индивидуумы.

— Не спору, — сказал директор нарочито сухо, — но и индивидуумы, как известно, переводятся с одной работы на другую и даже, между прочим, увольняются. Впрочем, — теперь он лукаво улыбнулся, — вас уволить нельзя хотя бы потому, что вы в штате не состоите и, следовательно, мне не подчиняетесь. Так? — Иван Никандрович посмотрел на меня и Сергея Леонидовича, и мне показалось, что он едва заметно подмигнул. Сердце мое дрогнуло и потянулось к нему.

— Вы затыкаете всем рот, — крикнул Реваз Константинович, хотя все начали уже двигать стульями, — существование этих машин опасно и безнравственно...

Таинственный зам демонстративно подошел к Ревазу Константиновичу и пожал ему руку.

Глава II

Кончилась программа «Время», и начались какие-то соревнования по фигурному катанию.

— Ты посмотри, — сказала мама, — «пять и три», «пять и два», это же смешно. Девочка должна была получить как минимум пять и девять. Ты видел, какой она сделала тройной прыжок...

Я не видел, какой она сделала прыжок. Я тупо смотрел на экран и ничего не видел. Снова и снова память услужливо проворачивала замедленный повтор сегодняшнего совещания. Как могут быть люди так слепы, так ограниченны и трусливы. И так смелы.

Я вскочил, натянул на тренировочный костюм куртку и надел шапку.

— Куда ты? — испуганно спросила мама. — Сильнейшая группа еще не выступала.

— В институт.

— В институт? В десять часов вечера? Зачем?

Я и сам не знал зачем. Я знал лишь, что должен

быть в эту минуту около Черного Яши и Биса. Зачем я послушал их и поехал домой?..

От остановки автобуса до института я почти бежал. И чем быстрее я несся, разбрызгивая слякотный мокрый снег, тем острее саднило в душе беспокойство. Как, как я мог оставить одного Черного Яшу? Что он должен думать там один? Как переживет этот незащищенный электронный гений бурную схватку у директора?

Люди непохожи друг на друга. И дело не только в схематически-детском делении на консерваторов и новаторов. Даже биологически мои коллеги разнятся: одни осторожнее, недоверчивее ко всему необычному, другие отчаяннее и авантюرنее. Но даже мой закаленный в маленьких житейских схватках ум еще не примирился с этим. А Яша?

Я пытался выключить разыгравшееся воображение. Отчаянным усилием я зачеркивал одну сцену страшнее другой. Я ворвался в подъезд почти в истерическом состоянии.

— Ты что? — поднял голову Николай Гаврилович. — Забыл чего? Ты вот лучше послушай, что тут пишут об этой... погоди, сейчас... аллергии. Слышал? А я-то всю жизнь прожил и слыхом не слыхал. Чаю хочешь?

Я никак не мог попасть ключом в дверь. Мне казалось, что я уже никогда не смогу увидеть Яшу. И вдруг в вечерней тишине безлюдного института я услышал смех. Станный, скрипучий, но смех.

Я ворвался в комнату.

— Яша! — крикнул я. — Ты жив?

— Толя, ну что за манеры? — сказал Яша. — Что за крики?

— Ты... жив?

— Вполне. Мы с Бисом вспоминали ученый совет.

Теперь засмеялся и я. Боже, что за нелепые страхи терзали меня! Яша отнесся к научным спорам разумнее меня. Он сдал теперь экзамен и на зрелость...

ЧАСЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ

Глава 1

С самого утра Николай Аникеевич чувствовал, как наполняется раздражением. Словно шланг к нему подсоединили и насосом вгоняют дурное расположение духа. А отчего — не поймешь. То ли виноват был хмурый мартовский денек с холодным сырым ветром и мусорного какого-то вида снежными валиками вдоль тротуаров, то ли дурацкий шотен, с которым он возился почти всю смену.

Утром бригадир дал ему часы и сказал:

— Сделай, Николай Аникеевич, что-то там с боем. Только особенно не тяни, а то, чего доброго, божий одуванчик не успеет их забрать.

Ага, вот, наверное, с чего начало портиться настроение. С божьего одуванчика.

— Какой еще божий одуванчик? — нахмурился Николай Аникеевич.

— Старушка. Ты что, не знаешь? Выражение ссть такое: старушка — божий одуванчик. — Бригадир почему-то пристально посмотрел на Николая Аникеевича и подмигнул.

Николай Аникеевич хотел было поддеть бригадира, что тот сам уже одной ногой на пенсии, но привычно удержался. Бригадир Борис Борисович, или Бор-Бор, как звала его вся мастерская, всегда вызывал у Николая Аникеевича едкое желание сказать ему что-нибудь неприятное, обидное, но всегда держал Николай Аникеевич это желание на коротком поводке. Бригадир. Тем бо-

лее, если разобраться, не из худших. Только разговаривал всегда с засматриванием в глаза собеседнику, точно искал понимания и сочувствия, и заговорщицким подмигиванием, которое даже невинному слову придавало некий тайный и не совсем пристойный смысл: мол, мы-то знаем... Мы-то знаем, что случается с божьими одуванчиками.

Мастерская их находилась в центре, брала в ремонт старинные часы, и среди их клиентуры было изрядное количество людей немолодых, обитателей многолюдных коммунальных квартир, которые не участвовали в великой гонке за модерном шестидесятых годов, не переехали в отдельные квартиры и так и не решились сменить столетние семейные часы на фанерные поделки и теперь берегли их как единственную оставшуюся у них ценность.

Они приносили темные стенные часы прошлого века, со вздохом вручали их приемщику. Они не были уверены, пойдут ли часы или время уже остановилось для них навсегда. Они приносили завернутые в полотенце настольные часы, каретные. Они приносили тяжелые бронзовые часы и с трудом подымали их на прилавок. Они дышали со свистом, похожим на сипение старых часов с кукушкой, когда мехи поизносились и пропускают воздух. Они смотрели на приемщика умоляюще и подозрительно. И часто они не приходили за готовым заказом.

Так что, если быть непредвзятым, Бор-Бор говорил сушую правду. И все же глупое выражение «божий одуванчик», небрежно соскочившее с толстых сизых губ бригадира, целый день вертелось в голове у Николая Аникеевича. Почему божий? Почему одуванчик? Зачем?

Что-то там с боем. Мастер называется. Николай Аникеевич отнес часы на свой верстачок, потянул за цепочку боя. Все было ясно. Коленчатый рычаг согнулся и неплотно входил в пазы счетного колеса.

Часы тонко пахли пылью и еще чем-то, каким-то неувловимым старушечьим запахом. Николай Аникеевич

начал было подгибать рычаг и почувствовал, что металл поддается подозрительно легко. И не глядя можно было поставить диагноз: трещинка. Конечно, нынешние мастера махнули бы на нее рукой: с этой трещинкой рычаг вполне мог бы проработать еще двадцать лет. А может быть, сломался бы завтра.

Николай Аникеевич покопался у себя в коробочке. Подходящего рычага не было, и он принялся изготавливать новый — благо дело было нехитрое.

— Дядя Коля, — позвал его Витенька, мускулистый гигант с тонкой лебединой шеей и детской головкой, — хватит пилить, всего сармака не заработаешь, идите чай пить.

— Сейчас, — буркнул Николай Аникеевич. Что-что, а по части сармака, как он выражается, был Витенька крупным специалистом. На шестых «Жигулях» разъезжает. Жена и сын — и все на одну зарплату. Вот тебе и Витенька с холодными голубыми глазами, вот тебе и сармак, он же махута.

Николай Аникеевич слушал Витенькины рассказы о его любовных похождениях с удовольствием, как, впрочем, и вся мастерская, включая уборщицу Ксению Ромуальдовну, бывшую преподавательницу музыки, но часто ловил себя на том, что не столько слушает эпическую похабщину, сколько завороженно смотрит на Витенькины глаза. А были глаза его прозрачны, по-прежнему неподвижны, и угадывалась в них жестокость.

Мастера медленно, по-коровьи жевали бутерброды, запивали их чаем и слушали фантастически бесстыжие Витенькины рассказы. Настолько бесстыжие, что нельзя было им не верить. Ксения Ромуальдовна, опершись на древко щетки, фыркала и мотала головой. Николаю Аникеевичу было неприятно, что женщина, да еще пенсионерка, с таким упоением слушает Витенькины отчеты. Раз он не выдержал и сказал ей:

— Как вы можете, вы же интеллигентная женщина...

Бывшая преподавательница музыки резко вздерну-

ла головой с реденькими оранжевыми волосами, вздохнула и сказала:

— Вы так волнуетесь за мою нравственность? Вы думаете, она мне еще понадобится?

Никому ничего не скажи. Ни сыну, ни его Рите, ни Витеньке, ни даже уборщице. Молчи, старый осел. Чини часы и помалкивай.

— ...И вы представляете, — торжественно продолжал Витенька, тонко улыбаясь, — что делает Горбун? — Артистически рассчитанная пауза. — Этот паскудник залезает к ней в сумочку...

— Ну, хватит, хватит, — незлобиво буркнул мастер Гаврилов, по прозвищу Горбун, верный Санчо Пансо Витеньки в его многосерийных амурных похождениях.

— Как это хватит? — с улыбочивой жестокостью сказал Витенька. — Общественность мастерской должна знать, какой монстр живет, трудится и безобразничает рядом с ними.

— Дотторе, — сказал Горбун, снял очки и помассировал глаза руками; без очков глаза его казались маленькими и злыми. — Дотторе, сказать вам, от чего вы умрете?

— А я не умру, — тихо и убежденно сказал Витенька.

— Почему? — спросила Ксения Ромуальдовна.

— А я, тетя Ксения, бессмертный.

Никто не засмеялся, потому что в Витенькином голосе туго натянутой тетивой тихо звенела убежденность безумца.

Взять бы, подумал Николай Аникеевич, и сказать, что тебе, Витенька, еще и сорока нет, а своих зубов ни одного не осталось, и такими темпами тебе для бессмертия вскорости все детали заменить придется. Но стоит ли связываться...

Он уже заканчивал сборку шотена божьего одуванчика, когда Бор-Бор крикнул с приемки:

— Изъюрюв, к телефону!

Николай Аникеевич торопливо пробрался к телефону.

— Кто? — спросил он Бор-Бора.

— Какой-то мужчина. — Бор-Бор протянул ему трубку и подмигнул. Кретин.

— Да, — сказал Николай Аникеевич, с отвращением глядя сверху вниз на неопрятную, в седых кустах сизую лысину бригадира.

— Николай Аникеевич, добрый день, это профессор Пытляев, если вы меня еще не забыли. Прошу прощения, что побеспокоил вас в мастерской, но я уже два вечера никак не могу дозвониться вам...

— Да, я поздно возвращался, — буркнул часовщик.

— Николай Аникеевич, дорогой, вы мне очень нужны.

— А что случилось?

— Понимаете, тут подвернулся каретничек, довольно дорогой, хотя и не на ходу, но очень симпатичный, я бы хотел, чтобы вы на него взглянули и вынесли вердикт. То есть приговор.

— А я, между прочим, знаю, что такое вердикт. Могли бы не объяснять.

Профессор вежливо хохотнул:

— А я и не объясняю. Привычка лектора к тавтологии...

«Вот сволочь, — подумал Николай Аникеевич, — одернуть меня надумал. Тавтология».

— Боюсь, в ближайшее время не смогу, — сказал он и с трудом удержался от того, чтобы добавить: «Тавтология».

— Николай Аникеевич, дорогой, понимаете, в чем заваyka: завтра я уезжаю на недельку, а до отъезда я должен дать ответ. Вы же почти рядом со мной, взглянули бы после работы, а? А то хотите, я за вами на такси подъеду?

«Профессор, а прилипчивый, как муха», — думал

Николай Аникеевич, медленно поднимаясь по улице Герцена к Никитским воротам, и мысль эта была ему приятна. Он достиг той стадии раздражения, когда всякое неприятное наблюдение уже доставляет удовольствие. Даже грязный осевший снег и тот был уместен. В такой день он просто не мог быть другим.

Пытляев был его старым клиентом. Когда он ему продал напольник? «Нортон» как будто? Да, точно. Пришлось реставрировать механизм и корпус. Пожалуй, году в пятьдесят восьмом. Или позже немножко. Рублей, кажется, за пятьсот. Гм, теперь такие меньше чем за две с лишним не возьмешь. Да, цены просто сумасшедшие на антиквариат. Он привычно подумал о своей коллекции старинных часов, собранной за тридцать с лишним лет, о том, что, продай он ее сегодня, тысяч шестьдесят, а то и семьдесят выручил бы, никак не менее, и мысль эта, первая за день, смягчила его раздражение. Жаль только, что так и не пошел сын по часовой части, балбес. Сидит в своем министерстве, как сын, за сто восемьдесят рублей в месяц и больше двухсот, видно, никогда не высидит. Старший инженер. Тих больно, робок. В мать-покойницу. С его характером только ночным сторожем быть. Да и то постесняется вора спросить, куда он с мешком. Деликатный, видите ли...

Первая жена Николая Аникеевича умерла всего два года назад, и образ ее по инерции более чем четверть-вековой совместной жизни все еще почти постоянно плыл рядом с ним. Тихая, робкая. «Коленька... — Николай Аникеевич помотал головой, так явственно прозвучал голос Валентины. — Да не ругай ты его. Такой он... деликатный». Эх, Валя... И не в первый раз почувствовал, что поторопился со вторым браком, обидел покойницу. Но голос ее, назвавший его Коленькой, звучал покойно, без упрека.

В профессорском сумрачном подъезде остро пахло кошками, а на металлическом листке с инструкцией,

как пользоваться лифтом, кто-то соскреб буквы, оставив лишь те, которые составляли вместе детскую чепуху: «Запрещается пользоваться лифом...»

И то ли оттого, что жил профессор в таком непрезентабельном подъезде, то ли оттого, что покойница Валентина ни в чем его не попрекала, настроение у Николая Аникеевича заметно улучшилось.

— Егор Иванович, — спросил он профессора, когда снял тяжелое, набрякшее от сырости пальто и с трудом повесил на старинную дубовую вешалку, — а что такое тавтология? Правильно я сказал?

Профессор сделал стойку, как пойнтер, на мгновение замер и, склонив большую седую голову, настороженно посмотрел на часовщика.

— Тавтология?

— А давеча вы по телефону сказали: привычка лектора к тавтологии.

Реле щелкнуло, сработало, профессор снова ожил: заулыбался, задвигался и повел Николая Аникеевича из маленькой тесной прихожей, заставленной темными шкафчиками, в комнату.

— О, господа, экая у вас цепкая голова. Извольте: тавтология — это повторение одного и того же другими словами. Основное орудие лектора. Жвачка, которую я пережевываю для студентов уже тридцать пять лет. Позвольте угостить вас рюмочкой?

— Вынесете мужичине? — Николай Аникеевич пристально посмотрел на профессора.

— Отчего же? Я, увы, не генерал, а вы не щедринский мужик, который того генерала прокормил. А жаль, между прочим. Хорошо бы, кто-нибудь прокормил... Но так уж и быть, выпью капельку с представителем широких масс трудящихся. Сколько мы с вами знакомы? Лет тому, пожалуй, двадцать, а вы все не меняетесь: все такая же колючка. Не обижайтесь только, Христа ради.

— А я и не думал обижаться. Говорю себе: ты при-

шел к интеллигентному человеку, будь на уровне, не давай мастеровому жлобству проявиться...

— Ну, сели вы на своего конька, дорогой мой. Да где уж нам уж и так далее. Это у вас что, защитная реакция такая? На всякий случай... Берите огурчик, рыночный...

Николай Аникесвич вдруг развеселился. Неглуп, неглуп Егор Иванович, старый клиент. Все-таки профессор. Ученый.

— Спасибо, — сказал он.

— Пожалуйста. Но за это?

— За рюмку, бутерброд, рыночный огурчик. И за защитную реакцию. Раскусили, значит, старика. Колючку.

— Кокетничаете вы, дорогой мой, вовсе не как широкие массы трудящихся. Широкие массы трудящихся заняты, как известно, совсем другими делами. Но почему, собственно, вы должны испытывать некий комплекс неполноценности по отношению, скажем, ко мне? Это я должен вам завидовать. Или вы не испытываете такого комплекса?

Николай Аникеевич посмотрел на профессора и вдруг поймал себя на том, что чуть было не подмигнул ему, как это делает Бор-Бор. Хорошо ему вдруг стало на душе. Озорно.

— Конечно, испытываю. Вот вы называете меня «дорогой мой». А я вас — нет.

— А вы переступите. Ну, смелее.

— Хорошо, дорогой мой, — сказал Николай Аникесвич, и оба рассмеялись. — Вот видите, — продолжал часовщик, — мы оба смеемся. Игра. Вы, наверное, думаете: вот, мол, я какой демократичный, тонкий. И это вам приятно. А я? Я думаю о том, что думаете вы, и мне тоже приятно: и я в состоянии участвовать в игре. Но суть от этого, Егор Иванович, не меняется.

— А почему?

— А потому, наверное, что я всю жизнь считал себя

способным на нечто большее, чем ремонт часов. Дурость, конечно. Всю жизнь убеждаю себя, что дурость. Понимаете?

— Вполне. Когда я защитил кандидатскую диссертацию перед самой войной, я, знаете, тоже был уверен, что переверну науку. Но стал преподавателем и перевернул вместо этого тысяч, наверное, десять зачетов. Вот так. Знаете, в старости, между прочим, и масса преимуществ, в которых не все отдают себе отчет. Например, можно смело поносить свой неправильно выбранный жизненный путь. Ни к чему не обязывает. Переделывать-то что-нибудь уже поздненько. Согласны?

— Гм... Пожалуй...

— Тогда еще по крошечной? Как гласит народная мудрость? Что-то стало холодать, не пора ли нам...

— Ни в коем случае. Спасибо. Ну, где ваш симпатичный каретник??

Профессор поставил на стол небольшие бронзовые часы. Каретник и впрямь был приятный: благородных пропорций, с цветными циферблатами и резной кнопкой репетира. Хотя металл потускнел, окислился и был покрыт стойкой вековой грязью, Николай Аникеевич видел часы чистыми и сверкающими — он всегда видел своим мысленным взором вещь в том виде, в каком она выйдет из его рук или из рук любого хорошего мастера. Ну-ка, что там внутри? Механизм был в ужасающем состоянии, вернее даже не механизм, а то, что от него осталось. А осталось, кроме платинок, не так уж много.

— И что вы скажете? — спросил профессор.

— Что я могу сказать? Это не ремонт, реставрация. Вы ж видите, половины деталей механизма нет.

Профессор печально помассировал кончик мясистого носа, вздохнул.

— Все в ваших руках, дорогой мой.

Николай Аникеевич снова начал медленно закипать. Демократ. Называйте меня «дорогой мой». Когда хо-

чется часы отреставрировать, не так позволишь себя называть. Ничего, рюмкой тут не отделаться. Это тебе не тавтология.

— Почему только в моих руках? — притворно изумился Николай Аникеевич. — Отнесите в мастерскую...

— В любую? — деловито, в тон, спросил профессор.

— Боюсь, дорогой мой профессор, — сказал Николай Аникеевич и с удовольствием заметил легчайшую гримаску, быстро скользнувшую по пухлому профессорскому лицу, — что не смогу вам помочь. Работа большая, а времени нет. У меня у самого полно часов в коллекции, до которых никак руки не доходят. Так что не обессудьте.

«Красивое слово», — с гордостью отметил про себя Николай Аникеевич. Он гордился тем, что много читал, особенно классиков, и следил за своей речью. К тому же он давно убедился, что человек, употребляющий слова вроде «не обессудьте», вселял в клиента уверенность и заставлял его платить больше. Мастер, говорящий «не обессудьте», это уже не просто мастер, это почти профессор.

— Никак, Николай Аникеевич? — уже заискивающим тоном спросил Егор Иваныч.

Еще можно поиграть со стариком немножко, решил часовщик. В конце концов почистить часы и поставить два-три нехватающих колеса, которые у него наверняка отыщутся, дело не такое уж трудоемкое, а рублей сто профессор заплатит. Да еще спасибо скажет. Тавтология.

— Я бы с удовольствием, но... — Он медленно и обезоруживающе развел руками. — Тут только копни: одно, другое, третье. Ведь лет им, пожалуй, под двести. А время, время...

— А если без сроков, дорогой Николай Аникеевич? Сделаете, когда будет возможность, а?

Николай Аникеевич хмыкнул и укоризненно покачал головой, словно говоря: ну и настырен же ты, братец.

Главное — оттянуть немножко ответ. Он посмотрел на высокие напольные часы, которые когда-то продал профессору.

— Как идут?

— Как идут? Ваша ведь работа.

Профессор бросил быстрый вопросительный взгляд на часовщика: не перехватил ли? Наверное, перехватил, потому что Николай Аникеевич тонко усмехнулся. Хитер часовщик, лиса. Но золотые руки. Душу тебе выкрутит, пока согласится. Но что делать, когда он практически монополист?

— Неужели же вы лишите меня всякой надежды? — жалобно спросил профессор.

— Ну хорошо, уговорили, — как бы не веря, что такое могло случиться, Николай Аникеевич недоуменно покачал головой: — Постараюсь сделать. Не быстро, конечно.

— Ну и прекрасно! — просиял профессор и энергично потер руки. Это была ошибка, потому что движение это было Николаю Аникеевичу неприятно: ага, подумал он, ручки уже потирает, уломал дурака. — И сколько это будет стоить?

— Сто двадцать пять, — с удовольствием сказал Николай Аникеевич, глядя, как передернулось профессорское лицо. «Мог бы и крикнуть», — злоратно подумал он.

— Вот вам и политэкономия в действии: монополисты диктуют цены. Потребителю ничего не остается, как стискивать зубы и платить.

— А вы меня еще как-нибудь назовите, легче будет.

— Назвал бы, да боюсь, придется за это еще платить.

— Обижаете, профессор.

Вот так, думал Николай Аникеевич, укладывая аккуратно каретные часы в свой чемоданчик. Рассчитывал, что разбавит меня рюмочкой и демократической беседкой размягчит, а вышло наоборот: больше семиде-

сяти пяти я и не рассчитывал, а зацепилось на полсотни больше.

— Да, чуть не забыл, Николай Аникеевич, тут у меня соседка этажом ниже, трогательная такая старушенция. Продает настольные часы, очень просила подыскать покупателя, чтобы не тащить в комиссионку. Одиннадцатая квартира. Евдокия Григорьевна.

— А вам они что, не подходят?

— Да нет, часы, похоже, старые, немецкие, на ходу, но какие-то неинтересные. Зайдите хоть на секундочку, хочется помочь старушке. Я обещал ей.

— Зайду, — кивнул Николай Аникеевич, надевая тяжелое, не успевшее высохнуть пальто. Ловко он, однако, профессора...

Глава 2

Евдокия Григорьевна оказалась маленькой старушкой, крест-накрест, словно портупеей, опоясанной серой шерстяной шалью.

— Заходите, заходите, — пропела она, ведя Николая Аникеевича по длинному темному коридору, на стенах которого угадывались неясные туши жестяных корыт и рогатились велосипедные рули. — Сюда заходите.

От длинного коммунального коридора и старомодного, в мелких оборках оранжевого шелкового абажура, висевшего низко над столом, покрытым темной бархатной скатертью, на Николая Аникеевича вдруг пахнуло далекими детскими воспоминаниями. На бесшумной карусели быстро проплыла перед глазами мать, всегда нахмуренная, всегда озабоченная, всегда что-то подсчитывающая: в руках огрызок плохо отточенного желтого карандаша, который она то и дело повсрачивает, чтобы удобнее было складывать свои цифры на полях газеты. «Ой, Коленька, опять двух пеньюаров не хватает». Была она кастеляншей в парикмахерской, и всегда у нее чего-то не хватало. Еще поворот: соседская девочка Роза.

Ничего от нее не осталось в памяти. Только потные горячие ладошки, и шершавые губы, и мешающие пугливым поцелуям носы. И конечно, дядя Лап, огромный, хромой, с бритой пятнистой и бугристой головой и тихие его слова с оглядкой на дверь. «Ты, Коленька, механизма не бойся. Ты его люби, он тебе и откроется. Колесико к трибочке, трибочка к колесику. И все одно за другое цепляется. Ан-гре-гаж! — благоговейным шепотом говорил он. — Все чисто, красиво, определенно».

Николай Аникеевич на мгновение зажмурился, оставивая бесшумное вращение карусели и отправляя в глубины памяти огромного дядю Лапа. «Калека», — шипела тетя Валя Бизина, когда он выходил из кухни. И шипящую тетю Валю Бизину туда же, в память.

— Вот они, часики, спасибо, что зашли, — все так же ласково пропела старушка. — Вас Егор Иванович направил? Дай бог ему здоровья.

Небольшие настольные часы стояли на этажерке, покрытой вышитой салфеточкой. Немецкая работа, похоже, конец девятнадцатого века. Может, чуть позже. Циферблат потускнел, поцарапан. Ага, ручка сверху явно от других часов. Трещина на корпусе.

— Ни за что не продала бы их! Василий Евграфыч, муж мой, уже шесть лет как помер, царствие ему небесное, очень эти часы любил. Прямо надышаться на них не мог. Умирал, все просил меня: ты, говорит, береги эти часы, они особенные. А если уж придется продавать, только хорошему человеку. А я б их и сроду не продавала, да вбила, дура старая, себе в голову: куплю дочке цветной телевизор. Вот вбила — и ничего не могу с собой поделаться...

— Вы разрешите, Екатерина Григорьевна?

— Смотрите, смотрите, часы хорошие, вы не беспокойтесь.

Николай Аникеевич осторожно снял часы с этажерки, поставил на стол под абажур и открыл заднюю крышку. Пыли, пыли, только что паутины не было. Ви-

негрет, сборная солянка. Механизм был явно французский, с массивными платинами без вырезов.

— И сколько вы за них хотите?

— Сколько? — старушка напряженно смотрела на Николая Аникеевича и испуганно моргала. — Вот телевизор я решила цветной дочке купить. Сын у нее, внук, значит, мой, в неприятность попал... По строительной части. Адвокат все обнадеживала, обнадеживала, портфельчиком помахивала, шилохвостка, а на суде три года дали. Ктой-то там на мертвых людей выписывал...

— Мертвые души.

— Ктой-то там, говорю, на мертвых людей выписывал, а Феденьку, вишь, посадили. Двадцать девять лет, не курит, не пьет, не женился еще, бабулей меня зовет. — Старушка привычно всхлипнула, жалобно сморщила нос. — Вот и вбила себе в голову: куплю дочке цветной телевизор, так она, бедная, убивается... А вы смотрите, смотрите, часы очень даже хорошие.

— Я вижу, Екатерина Григорьевна. Вы только меня поймите правильно: я ведь человек незаинтересованный. Я был у вашего соседа, и он просил зайти к вам.

— Спасибо, спасибо ему. Очень хороший человек Егор Иванович.

— Часы на ходу, довольно старые, но кто интересуется теперь антикварными часами? Только коллекционеры, иностранцы, которым некуда девать здесь деньги, и наши отечественные богачи. Тоже ищут помещения капитала. Понимаете?

— Да, да, — торопливо кивнула старушка, испуганно моргая. — Но вы не сомневайтесь: часы даже очень хорошие.

— И всем этим людям нужно что-то необыкновенное, стильное. Сейчас, например, в моде английские часы, «Нортон» там, «Мапин» или что-нибудь вроде этого. А ваши... корпус и циферблат от немецких часов, механизм французский, ручка на корпусе вообще, по-моему, самодельная. Вот ведь в чем дело...

— Ходят они хорошо, — робко сказала старушка и просительно посмотрела на Николая Аникеевича.

— Так что ходят? Это ж не главное. Купи будильник за пять рублей, он тоже хорошо ходить будет.

— А покойный муж все говорил: это, Катя, очень даже отличные часы...

— Я понимаю, Екатерина Григорьевна...

«Жаль, конечно, старушку. Это все профессор, — с неожиданной злобой подумал Николай Аникеевич, — заморочил бабуся голову. Сколько стоит цветной телевизор? Рублей шестьсот. А за этот хлам, если его вообще поставят на улице Димитрова, рублей триста — триста пятьдесят дадут максимум. Значит, если брать их у старушки, то самое большее за две сотни. Два столы, как говорит Витенька. Да и вообще не стоит связываться. Старушка будет переживать, что я ее обманул, а профессор будет ее подзуживать: он, конечно, человек знающий, неплохой мастер, но палец ему в рот не клади». Он мысленно усмехнулся. Интересно, ох как интересно угадывать, что о тебе люди думают.

Но надо идти. Он посмотрел на свою золотую «Омегу». Ого, уже восемь, пора домой. Где-то за стеной тоненько пискнули сигналы точного времени, и с последним часом на столе начали бить. Колокольчик звенел тоненько, хрустально, беззащитно, как в сказке. Хитра, однако, бабуля, ишь как тщательно установила часы, секунда в секундочку, даже точнее «Омеги» моей. Показывать, как ходят.

Встать пора и раскланяться, Вера уж, наверное, заждалась. И как-то не вставалось. Сказочный тоненький колокольчик все еще звучал в ушах. «Ну, колокольчик и колокольчик, что с того, — мысленно выговорил себе Николай Аникеевич, — двести, ну, двести пятьдесят. А не отдаст — тем лучше. Возиться за сотню, искать кого-нибудь, чтобы сдал часы на комиссию — не стоит самому слишком часто ставить на свое имя, обэхээсников там больше продавцов».

— Так как же? — совсем уже испуганно спросила старушка.

Только сейчас Николай Аникеевич заметил, что глаза у нее были совсем светлые, водянистые.

— Я ж вам сказал, дорогая Екатерина Григорьевна... — «Ага, вот и я называю старушку дорогой, точь-в-точь как профессор меня».

— А сколько все-таки?

Хотел Николай Аникеевич сказать «двести», но то ли оттого, что смотрела на него старушка так испуганно и растерянно, по-собачьи быстро моргая, то ли оттого, что почему-то застрял у него в ушах какой-то буратиный звон часов, никак не складывались его губы, язык и гортань в простенькое слово «двести».

Вместо этого он зачем-то спросил:

— А завод у них какой, недельный?

— Чего?

— Завод, спрашиваю, какой?

— Завод?

— Ну что вы так смотрите на меня? — начал сердиться Николай Аникеевич. — Как часто вы их заводите?

Старушка оторопело смотрела на часовщика.

— А я... не завожу их...

— А кто же заводит? Может, внук ваш? — сказал Николай Аникеевич и тут же устыдился своего бестактного сарказма, потому что водянистые глазки Екатерины Григорьевны стали еще водянистее от набухших слезинок.

— Нет, да потом он уже, посчитай, больше шести месяцев как сидит.

— Вы простите меня, — как можно вежливее, чтобы загладить ненужную свою подковырку, сказал Николай Аникеевич, — но кто-то ведь заводит часы? Часы могут приводиться в движение гирями, пружиной или электричеством. У вас часы пружинные. Пружин две, одна для хода, другая для боя. Понимаете?

— Да, да... конечно, вы не думайте, я до пенсии диспетчером в автобазе работала Образцовой типографии, знаете?

— Значит, пружины раскручиваются и приводят в действие механизм. Когда они полностью разожмутся, часы останавливаются. Так?

— Так, так, — торопливо кивнула старушка.

— Ну и слава богу, — облегченно вздохнул Николай Аникеевич. А то прямо чушь какая-то. Да и не такая уж старенькая эта Екатерина Григорьевна, лет, пожалуй, семьдесят, не больше. Хотя, говорят, склероз в любом возрасте подстеречь может. — Вот я и спрашиваю вас, — продолжал Николай Аникеевич, — как часто вам приходится вставлять сюда вот ключ и заводить часы?

— Не знаю, — пожала плечами старушка. — У меня и ключа-то такого нет.

— Как нет? — почти взвизгнул часовщик. — Вы что, меня разыгрываете? Чем же вы заводите часы?

Екатерина Григорьевна вдруг выпрямилась и по-кошачьи сердито фыркнула:

— Чего вы кричите? Я вас и не думала разыгрывать. Слава богу, не кабачок «Тринадцать стульев». Я ж вам русским языком объясняю, не заводила я эти часы. Ни разу. Понятно? Может, вы меня сумасшедшей считаете, так это дело ваше.

Старушка сердито встала и оказалась почему-то выше, чем представлял себе Николай Аникеевич. Странная какая-то бабушка, подумал он. Божий одуванчик, как говорит Бор-Бор. Черт ее разберет... Бог с ней, с ее склерозом и с этой сборной солянкой... «А может, у часов годовой или даже тысячный завод, как на немецком «Шатце», — вдруг подумал он, но прежде, чем мысль эта промелькнула, он знал уже, что это глупость. Часы с годовым заводом, не говоря уже о тысячном, никогда не бывают с боем, да и делать их стали значительно позже, чем изготовлены эти часы. Выходит,

старая окончательно рехнулась или просто издевается. О господи, он же совсем забыл, что в чемоданчике у него ключ от каретника. Диаметр приблизительно одинаковый.

— Вы позволите? — спросил он и достал из чемодана ключ.

Старушка смотрела на него уже не испуганно, а как бы надменно, с вызовом. Николай Аникеевич снова открыл заднюю дверцу часов. Он не ошибся, ключ подошел. Сейчас он покажет ей.

— Смотрите, Екатерина Григорьевна. Вот я вставляю ключ. В таких часах завод всегда правый.

Николай Аникеевич начал осторожно поворачивать ключ — пружина, наверное, заведена — и вдруг почувствовал, как на лбу его выступила испарина. Ключ повернулся совершенно свободно, не испытывая ни малейшего сопротивления пружины. «Лопнула, — автоматически подумал он. — Ближе к наружному концу, вот валик и вращается свободно». Да, но часы шли, уютно тикали.

Николай Аникеевич всю жизнь просидел с лупой в глазу, и для него пружинные часы, идущие без пружины, были тем же самым, что для шофера прекрасно работающая без мотора машина, пишущая без чернил ручка для канцеляриста или, скажем, приготовленный без продуктов обед для хозяйки.

Такая простая вещь, как идущие часы, никак не хотела уместиться в голове Николая Аникеевича, а звук маятника, казалось, застревал в ушах: не может быть, не может быть, не может быть... Он долго тупо смотрел на двойной пендельфедер и вдруг откуда-то издалека услышал голос: «Вам плохо?»

Николай Аникеевич потряс головой. «Вот оно в чем дело», — с отрешенной безжалостностью подумал он. Не старуха чокнулась, а он. Он вдруг вспомнил долговязого парня, что всегда маршировал на углу их Варсонофьевского переулка и Рождественки, как раньше на-

звалась улица Жданова. Высоченный и худющий, с маленькой головкой и оттопыренными ушами, он мерно вышагивал по тротуару, отдавая честь на каждом пятом шагу. Именно на пятом. Он много раз проверял, глядя из окна. Звали все его... как же его звали? Ага, Солдат. Почему-то все мальчишки боялись его, хотя Солдат никогда никого не трогал. Раз он пересилил страх и подкрался к Солдату совсем близко. И тогда он впервые увидел его глаза. Глаза были устремлены куда-то вдаль, над выщербленным асфальтом, над грохотом самодельных самокатов на подшипниках, на которых ребята съезжали по переулку, разгоняясь от самой санчасти, над домами, над городом, и на губах его играла едва приметная улыбка человека, знающего великую тайну.

Глубокая печаль охватила на мгновение Николая Аникеевича. Печаль была мягка, уютно, почти сладостно окутывала его, и лишь отчаянным усилием воли он вырвался из зловеще-нежных тисков.

— Вам что-нибудь дать, воды? — услышал он голос старушки. Солдат отдал честь, завернул за угол, на Рождественку, и направился к архитектурному институту.

— Что? Воды? О, спасибо большое, — вздрогнул Николай Аникеевич. — Если можно.

— Может, гриба хотите? Вон у меня в банке под салфеточкой. Некоторые брезгуют, а мне так очень нравится. — Старушка уже утратила свою неожиданную кавалерийскую надменность и смотрела на посетителя с бабьей участливостью и чисто старушечьим профессиональным интересом к разного рода немощам. Она подошла к окну и взяла большую банку.

— Гриб? А... — не сразу понял Николай Аникеевич. — Давайте гриб...

Не ощущая вкуса, он выпил почти полный стакан.

— Сердце? — деловито спросила Екатерина Григорьевна.

— Да, пошаливает моторчик, — пожал плечами Николай Аникеевич.

Сейчас он снова вставит ключ, медленно повернет его, почувствует привычную упругость пружины, подающейся его руке, услышит сочные щелчки храповичка, и все станет на свое место. Солдат прошагает в довоенный Варсонофьевский переулок, а он, Николай Аникеевич, часовой мастер пятидесяти пяти лет, отправится к себе в Беляево, в кооперативную свою квартиру, где ждет его обед и Вера Гавриловна, товаровед в ЦУМе и его вторая жена. Она, конечно, будет ворчать, что дважды ставила греть обед, и серые ее глаза будут смотреть сердито. Но он скажет: работники торговли и сферы обслуживания, будьте взаимно вежливы. И она улыбнется, потому что до сих пор никак не может привыкнуть к мысли, что у нее, после почти двадцатилетнего перерыва, опять есть муж, которому нужно греть обед.

Не хотелось Николаю Аникеевичу вторично поворачивать заводной ключик. Словно чувствовал, что повернется не ключ, а нечто неизмеримо большее. Конечно, подумал он, можно и не пробовать. Черт с ним, в конце концов, с этим ключом, с дурацкими этими часами. Мало ли странных вещей творится на белом свете. Что он, в конце концов, телекомментатор, чтобы все знать и разъяснять? Но были эти маленькие юркие мыслишки лукавыми, и Николай Аникеевич знал, что если сейчас же, тут же, не разберется с лопнувшей пружиной и неведомо почему идущими часами, то не отделаться ему от Солдата. Помарширует, поотдаст важно честь невидимым своим командирам, а потом и вовсе уведет с собой старого часовщика.

А не хотелось бросать неторопливо солидную свою жизнь, квартиру с полностью выплаченным паем, коллекцию. Смертельно не хотелось. Не хотелось превращаться из знающего себе цену уважаемого человека в пугало, в посмешище, в седого дурачка. Маршировать по тротуарам не хотелось.

Николай Аникеевич прерывисто вздохнул, не в первый раз пожалел, что не верит он в бога, а то как бы было славно и уместно сейчас перекреститься, и повернул ключ. И снова заводной валик крутанулся легко, язвительно, словно издеваясь над ним. Николай Аникеевич попробовал завести пружину боя, но и ее валик вращался так же легко. Похоже было, что в барабане вообще не было пружин.

«Сволочь этот Пытляев, — с неожиданной злобой вдруг подумал Николай Аникеевич. — Заманил к себе, подsunул старуху с сумасшедшими какими-то часами. Тавтология божьих одуванчиков».

«Спокойнее, — сказал себе часовщик, — спокойнее. Не торопись к Солдату. Разложи все по полочкам, как инструмент на рабочем месте: отвертки — к отверткам, пуансоны — к пуансонам, корнцанги — к корнцангам, чудеса — к чудесам».

— Значит, Екатерина Григорьевна, вы говорите, что часы ни разу не заводили? — мягко и терпеливо спросил Николай Аникеевич.

— Вы меня что, за склеротичку считаете? — все еще стоя, сердито сказала старушка. — Я ж вам раз пять повторила: не заводила.

— Скажите, а подводили вы стрелки? Ну, по сигналам точного времени?

— А зачем?

— Как зачем? Для чего передается проверка времени? Чтобы можно было точно установить часы. Понятно?

— А они и так тютелька в тютельку ходят. Всегда как пикнет в последний раз, так они бить начинают. Зачем же подводить? Уж не так я глупа, как кое-кому кажется. Не чурка, поди, деревенская. Я, к вашему сведению, до пенсии диспетчером на автобазе работала.

— Да, да, конечно, — сказал Николай Аникеевич и замолчал. Слов больше не было. Сколько было защитных слов, всеми обложился, все израсходовал. Все.

Старушка тем временем включила телевизор. На эк-

ране выплыл циферблат, и секундная стрелка судорожными скачками неумолимо двигалась к программе «Время».

— Привычка у меня такая, — уже мягче сказала старушка, — не посмотрю программу «Время», заснуть не могу.

Стрелка дошла до цифры двенадцать, появилась заставка «Времени», и в то же мгновение часы на столе начали отбивать свои девять ударов. И снова колокольчик звучал хрустально-тоненько, из далекой волшебной страны с Золушками, Карабасами-Барабасами и длинноносыми мальчиками.

— Так сколько вы хотите за часы? — неожиданно спросил Николай Аникеевич и крайне удивился, потому что твердо решил попрощаться и уйти, постараться забыть выскочивший из зажимов безумный этот вечер.

— Телевизор цветной...

— Вы уже говорили, Екатерина Григорьевна. Сколько это денег?

— Не знаю... Шестьсот пятьдесят вроде...

— Вы ж говорили, шестьсот?

— Мало ли чего говорила? А бой-то какой у них душевный! И идут как — сами видели.

«Идите-ка вы, божий одуванчик, подальше со своим душевным боем», — подумал Николай Аникеевич и хотел было сказать «до свиданья», но почему-то вместо этого хрипло сказал:

— Часы, конечно, интересные, но больше четырехсот я вам дать не могу. И то только потому, что я часовщик и мне интересно разобраться в их ходе. Так что не обессудьте, Екатерина Григорьевна.

— Телевизор... — упрямо сказала старушка и поджала губы, пристально глядя на сельскохозяйственные машины, которые застыли в торжественном строю на линейке готовности. Около них, как танкисты, стояли механизаторы.

— На днях я был в комиссионном магазине на Вой-

ковской. Прекрасные там есть цветные телевизоры за триста-четыреста рублей.

— Да? — саркастически воскликнула старушка и стремительно повернулась к Николаю Аникеевичу. — С изношенными кинескопами? Нет уж, спасибо.

Страдая и презирая самого себя, Николай Аникеевич вздохнул, покачал головой и сказал устало:

— Ну, хорошо, шестьсот рублей.

— Шестьсот пятьдесят. И то это без доставки. И без дециметровой приставки.

— Что, что?

— Без дециметровой приставки, говорю, — грубо сказала старушка.

Словно в тумане Николай Аникеевич прикинул, сколько у него с собой денег. Не раз и не два сталкивался он со случаями, когда только наличные позволяли ему купить вещь за половину, а то и треть цены. Четыреста лежат в бумажнике. Еще рублей двадцать—двадцать пять наберется.

— У меня с собой только четыреста рублей.

— Завтра завезете остальное, — решительно сказала Екатерина Григорьевна. — Раз Егор Иванович вас рекомендовал... Берите часы. Четыреста, значит, сейчас, двести пятьдесят завезете завтра. Я весь день дома буду. Меня эта сырость так и давит, так и давит...

Глава 3

Дома Николай Аникеевич осторожно достал из сумки часы, развернул старое полотенце, которым обмотала их Екатерина Григорьевна, и поставил на свой рабочий стол. Потом вынул из чемоданчика снятый маятник и начал зацеплять за пендельфедер. Здесь, в своей квартире, среди своих вещей, каждая из которых, от румынской стенки до недавно купленной по дешевке вазочки из оникса с серебром, имела свою твердую цену и постоянное место, здесь недавний его испуг казался ему

детским, стыдным. Ну не разобрался сразу, чего ж к Кашенко рваться? Сейчас посмотрит, и все станет ясным... Надо будет установить стрелки по сигналу точного времени, подумал было Николай Аникеевич, но мысль эту додумать до конца не успел, потому что стрелки сами повернулись и остановились на тридцати двух минутах одиннадцатого.

— Ты чего так поздно? — спросила Вера, но не сердито, а испуганно. Должно быть, женским своим чутьем уловила необычное состояние духа мужа.

— Занят был, — буркнул Николай Аникеевич, — часы вот купил.

— Подогреть обед? — еще испуганнее спросила Вера. Никак она не могла привыкнуть к неожиданным и крупным покупкам мужа, да и не знала никогда, ни за сколько что покупает, ни вообще сколько у него денег.

С первым мужем все было по-другому. Обсуждались покупки заранее, переговаривались и обговаривались, копились деньги торжественно, полюбоваться на приобретенную вещь приглашалась вся родня. А здесь все странно так, зыбко. Летят куда-то сотни, прилетают. Появляются вещи — исчезают. Но так-то человек не злой Николай Аникеевич, жалеет ее. Двести рублей в месяц дает на хозяйство. Это на двоих-то. Плюс ее сто двадцать. И отчета не требует. И Ваське ее каждый раз четвертной сунет, а то и полсотни. Вася, Вася, привычно пожалела она сына, забыл бы быстрее змею эту рижскую. О господи...

Станный сегодня какой-то Николай Аникеевич, притихший весь. И не поделится, не расскажет ничего. Первый муж — вот был открытая душа. С порога — самого еще не видно — уже начинал все выкладывать, что за день произошло. Ах, Саша, Сашенька, рано ж ты умер, бросил меня с сынишкой... Но грех, грех ей жаловаться. В ее-то возрасте...

— Коленька, — тихонечко сказала Вера Гавриловна, — иди, все на столе.

Николай Аникеевич молча встал и вдруг крикнул тонким задушенным голосом:

— Не Коленька я тебе, не Коленька. Ко-ленька, Ко-ленька, — передразнил он ее. — Пятьдесят пять лет человеку, а она все Коленьку из него делает!

— Да что ты, Коля, господь с тобой. — Вера с трудом проглотила слезы. — Разве я хотела тебя обидеть?

Чужой, чужой, не муж, можно сказать, а сожитель. Не расскажет, не поделится, не прильнет. А она, сорока-пятилетняя баба, заглядывает ему в глаза, каждое движение ловит. За что? За двести рублей в месяц? Да провались эта каторга...

Николай Аникеевич молчал. Внутри его образовалась какая-то противная пустота, и в этой пустоте, словно на пружинных подвесах, дрожало сердце. «Сейчас инфаркт будет», — равнодушно, без испуга подумал он и глубоко вздохнул, осторожно развел руки.

И что он накинулся на Веру? Это ведь только вначале вздрагивал он, когда она называла его Коленькой, потому что принадлежало это слово его первой жене-покойнице. Ей только. Но покойница не обижалась, не возражала, и мало-помалу Николай Аникеевич перестал передергиваться при Верином «Коленьке». И если накинулся он сейчас на жену, то только из-за безумного этого дня. Как начался он с «божьего одуванчика», так и полетел вверх тормашками, мать ее за ногу, этот дикий день.

Но Вера, Верка-то ни при чем. Осторожно, почти на цыпочках, подошел он к двери и заглянул на кухню. «Сидит в сером своем свитерке, не в халате домашнем, а в свитере. Знает, что нравится он мне. Сроду не дашь сорока пяти бабе. Ну, сорок от силы, больше ни годочка. Сидит, голову опустила».

— Ну, не сердись, не сердись, — сказал Николай Аникеевич и подумал, что надо было бы слово какое-нибудь ласковое сказать, интимное такое... Чтoб теплое такое было, трепещущее, как, скажем, котенок, когда

берешь его в руки, или, например, птенец. Но как-то неловко было, не привык он. Не начинать же перед пенсией в птенчики играть. Подумал — и тут же одернул себя с неудовольствием: поздно, рано, четыреста, двести — все рассчитывает, все суетится, все прикидывает, все прогадать боится.

Он подошел к жене и положил ей руку на плечо. Вера крепко зажмурилась, выжимая ненужные уже слезинки из глаз, и прижалась носом к груди Николая Аникеевича.

— Ты не сердись, — еще раз повторил он. — Понимаешь, купил часы...

— Да на что тебе столько, Коля? — пробормотала счастливо Вера, не отрывая лица от галстука, который едва слышно пах машинным маслом.

— Не в этом дело, — вздохнул Николай Аникеевич. — Часы, понимаешь, необычные какие-то...

— Ну и хорошо. Ты ж такие любишь.

— Да нет, не в том дело...

Удивительно, пока Николай Аникеевич говорил о часах, был он более или менее спокоен. Наверное, потому, подумал он, что словами он пользуется вполне обычными, привычными, повседневными. Ну, конечно, не каждый день слышит он слово «необычный», но слышит. Хотя бы от Витеньки: «А фигурка у нее, доложу я вам, необыкновенная. Необычная, можно сказать...» А сколько раз сталкивался в жизни с такой загадкой, что преподнесли ему небольшие настольные часы Екатерины Григорьевны с потускневшим поцарапанным циферблатом? Не обессудьте, дорогой Николай Аникеевич, сказал он себе, но слов вы все-таки знаете маловато, хотя и назвали профессора Пытляева «дорогой мой».

— Ты ложись, ложись, — сказал он Вере, — а я еще посижу, покопаюсь с покупкой.

— Долго-то не сиди, и так не высыпaeшьcя, — предупредила жена. — Завтра Юра с Ритой собирались прийти, помнишь?

— Да не дадут забыть. Полумесячная дотация.

Вера Гавриловна наклонила голову, искоса посмотрела на мужа. Поддержать, что ли, этот разговор? Мол, тридцатилетний старший инженер в министерстве, с семьей, а все из старика отца тянет? Опасно. Да и не ее это дело. Их дело. Тем более Николай Аникеевич тогда мог бы спросить: «А Вася твой?» Нет, нет, промолчать. Так-то лучше.

— Так не засиживайся, хорошо?

Голос жены звучал покойно, ласково, на плечи давил рюкзак дневной усталости и волнений, и Николай Аникеевич решил было сразу лечь спать. Прижаться носом к теплой мягкости Вериного плеча, и черт с ними, с часами без пружины, с самоустанавливающимися стрелками и прочей чертовщиной. «А фигурка у нее, просто, доложу я вам, необыкновенная. Необычная, можно сказать...» В это мгновение динамик на кухне тихонько капнул сигналами точного времени, и тотчас же из комнаты донесся звук хрустального колокольчика.

«Да что это за наваждение, — подумал Николай Аникеевич, — за что мне это? Жил тихо, спокойно, зарабатываю, слава богу, свою копейку, не нуждаюсь. И вот послала нечистая сила заколдованные какие-то часы. Это в двадцатом-то веке. В космосе летают, атом расщепили, а тут впору перекреститься и сказать: сгинь, сгинь, сатана». Николай Аникеевич сел за рабочий стол, открыл заднюю дверцу новых часов. Механизм как механизм, ничего особенного, обычный французский механизм. Массивные платинки без вырезов, фрезерованные трибки. У него вдруг снова появилось твердое убеждение, что вся эта чепуха ему просто примерещилась, что перед ним самые обыкновенные часы, за которые он по глупости уплатил в три раза больше, чем они стоят. Что поделаешь, на всякую старуху, на каждый, так сказать, божий одуванчик, бывает проруха.

И черт с ними, с деньгами, успокаивающе сказал он себе. Во-первых, если уж быть откровенным, рублей че-

тыреста, а то и пятьсот взять за них можно. А во-вторых, пусть стоят. Есть у него штук сто часов, будет еще один экспонат. Как в музее.

Все нормально, все, как говорит Витенька, путем. Завтра придет сын с женой и внучкой. Оленька будет тыкать крошечным пальчиком и спрашивать: «А это сто?» Он будет объяснять ей, а она не будет слушать, а будет снова и снова протыкать пальчиком вопросы: «А это сто?» И молчаливая его злыдня невестка грозно прокричит: «Оля, не мешай дедушке».

— Все нормально, все хорошо, — тихонько сказал Николай Аникеевич, — иначе быть не может. Надо только, чтобы пружина оказалась заведенной. Только и делов.

Сколько, интересно, раз заводил он в жизни часы? Десять, сто тысяч раз? И всегда все было просто: или чувствуешь ты, как сжимается твоим усилием сталь пружины, или определяешь, что она лопнула. Только и всего. Так было десять или сто тысяч раз. Так будет и сейчас. Раз часы идут, значит, пружина заведена, и рука его легко определит неподатливую упругость пружины. Только и делов.

Он взял ключ, вставил его и повернул. Ключ вращался легко. Пружины не было.

— Что за наваждение! — громко простонал он.

Эх, дядя Лап, дядя Лап, хромой гигант, что ты надеялся? Зачем заманивал к себе мальчонку, показывал разные замысловатые колесики и инструменты и страстно шептал: «Ты, Колечка, смотри, как каждая деталька сопрягается с другой. Ан-гре-гаж! Всеобщее, Колечка, зацепление. Все друг от друга зависит. Выкинь одну детальку — и весь механизм встанет. Тут, Колечка, хитро все устроено, тут, Колечка, высший смысл имеется. Попробуй выкинуть одну детальку — и все остановится. Это, Колечка, называется гармония. Гар-мо-ния! Так сказать, идеальный порядок. Понял? И этот порядок вещей надо уважать. Любить! Понял, Колечка?»

— Так что же делать? — шепотом спросил Николай Аникеевич дядю Лапа.

«Ты, Колечка, не торопись, любой механизм рассмотри как следует, запомни, что к чему да как прилажено, а потом и разбирай», — посоветовал ему дядя Лоп и неумело погладил его по макушке огромной, тяжелой рукой.

— Вам хорошо говорить, дядя Лоп, вас давно нет, вы ни за что не отвечаете, вам, простите за грубость, плевать на своего бывшего соседа, с которым вы расстались лет тридцать пять назад, а мне как жить?

По комнате промаршировал Солдат, глядя куда-то в сторону метро и отдавая с легкой улыбкой честь невидимым своим командирам. Николай Аникеевич испугался было, что Солдат наследит, поцарапает польский лак, которым был покрыт пол, но Солдат маршировал бесшумно, и ноги его в разбитых порыжевших ботинках довоенного высокого фасона следов не оставляли.

Жаль, до слез жаль было Николаю Аникеевичу уходящего рассудка. Через все прошел: через нищее свое детство, через войну, — человеком стал, мастером, профессора ему кланяются, потому что в своем деле он сам профессор. Да что профессор, академик! Сыну-инженеру помогаю — и вот все рушится, размывается дьявольским каким-то паводком, двумя маленькими латунными барабанами, в которых должны были быть пружины и которых нет. «Должны, должны», — упорно повторял он, словно заклиная их.

И вдруг в голову Николаю Аникеевичу упругим кошачьим прыжком вскочила простенькая мысль. И как это он раньше не догадался! Надо попросить Веру завести пружину. Если заведет, значит, он страдает галлюцинациями. Если и она убедится, что ключ свободно вращается, то... По крайней мере он будет знать, что не рехнулся еще. Не могут же двое одновременно лишиться разума.

Вера уже спала, спала аккуратно, подложив руку

под щеку, как спят на картинках. Она все делала аккуратно.

— Веруш, — тихонько позвал Николай Аникеевич и легонько погладил по полному плечу под ночной рубашкой.

— Что, Коля? — сразу открыла она глаза.

Не Коленька, заметил зачем-то Николай Аникеевич, а Коля. Даже со сна помнит, что и как надо делать.

— Веруш, прости, что разбудил... у меня к тебе просьба. — Он взял ее под руку — он все еще в своем темном пиджаке и при галстукке, а она в длинной ночной рубашке — и подвел к часам. — Будь любезна, поверни вот этот ключик, хорошо?

Вера Гавриловна крепко зажмурилась и потрясла головой, прогоняя сон, и послушно повернулся ключ.

— Легко крутится?

— Совсем легко.

— Спасибо, Веруш, беги досматривать сны.

— Чего ты улыбаешься?

— Что еще, оказывается, не сошел с ума.

— Как так?

— Долгая история, беги. Я скоро лягу.

Ну что ж, по крайней мере Солдату придется пока обойтись без компании. Ладно, посмотрим, что там за чудесный такой механизм, который вращает стрелки без пружины. А может, там вечный двигатель? Перпетуум-мобиле? И сделают Николая Аникеевича академиком. И будет он давать интервью. И начинать так: «Я, товарищи, академик-самоучка». А профессора Пытляева Егор Ивановича будет называть не просто «дорогой мой», а «дорогуша». А еще лучше «голубчик». И будет ходить в черной шелковой ермолке. Бор-Бора — уволить! Хотя черт с ним, пусть остается и подмигивает...

Ладно, решим потом. Пока до выборов в академию есть еще время. Николай Аникеевич взял отвертку, поднес ее к часам и вдруг замер, словно кто-то задержал его руку на полпути. Это еще что за чертовщина? Непо-

нятно что, но что-то явно мешало ему приступить к разборке. Николай Аникеевич подвигал правой рукой, сделал даже несколько гимнастических движений. Как будто мышцы и суставы работают нормально. Вот он приближает отвертку к механизму и сам же почему-то останавливает ручку. Что-то мешает ему.

Должно быть, необыкновенные часы уже порядком истощили его способность к удивлению, потому что на этот раз Николай Аникеевич особенно не изумился. Мало того, невидимый барьер он воспринял почти как нечто совершенно естественное. «У чуда, — подумал он, — и ограда должна, наверное, быть чудесной. Если уж избушка на курьих ножках, то ведь не штaketником с Валькой душой ее окружить... Если уж избушка, то подавайте и бабу-ягу, и помело, и все, что положено ей по сказочной, чудесной ее разнарядке».

Прекрасно, сказал себе Николай Аникеевич, кладя отвертку. Очень хорошо ты сравнил часы с избушкой на курьих ножках. Красиво, хотя неубедительно, потому что перед ним творилось нечто, что происходить не могло. Это уж точно. В этом уж положитесь на человека, просидевшего за верстачком тридцать с лишним лет. С того самого момента, когда вернулся он в сорок шестом году, оглушенный войной и тяжелым ранением. И помогала ему в госпиталях часовая отверточка. Часы ведь везде ломаются. А тогда ужас сколько часов зарубежных было...

Огромн и непонятен был мир, пугал какой-то неопределенностью, открытостью, и в этом головокружительном мире ощущал себя Николай Изъюров, демобилизованный солдат двадцати двух лет, безмерно малой песчинкой. Дунет ветер — понесет бог весть куда. Наступит кто-нибудь — хрустнешь песчинкой тихонько, никто не услышит. А хотелось укрепиться как-то, прилепиться к чему-нибудь, пусть на маленький, но на свой стать якорь, чтоб не швыряло, не несло, не крутило, не манили понапрасну необъятные горизонты.

Ничего он не знал, ничего не умел, кроме простейшего ремонта часов, которому научил его уже покойный дядя Лап, бывший его сосед Ян Иосифович Лапиньш. И слышал Николай Изъюрлов пугливый и настойчивый шепот покойника: «Ты, Колечка, механизма не бойся. Рассмотрй внимательно, разберись. Тут разобраться не так уж трудно: колесико к трибочке, трибочка к колесу. Тут, Коленька, все понятно, не то, что с человеком...»

Так и стал Николай Аникеевич Изъюрлов часовщиком. И жалел он о своем выборе, и не жалел. Читал много, всю жизнь, сколько себя помнил, читал. С того, наверное, времени, когда в первом классе неведомо почему и отчего выросли у него на лице бородавки. Строго по одной линии, словно вымеривал кто-то, куда ему лучше приделать это уродство. Сразу, по молодости своей и глупости, особенно он не страдал, но нравилась ему девочка одна, черненький такой дьяволенок, всегда перепачканный чернилами. Только издали посматривал на нее Коля, но раз поймал ее жест: кулак, приложенный к носу. Его, значит, бородавки. И сразу сжался он весь, замкнулся. Добрый доселе мир ошетинился кулаками, насмешливо приложенными к носам, чтоб посмеяться над маленьким уродцем.

Мазали бородавки всякими мазями, жгли ляписом, кислотой, вырезали, но с ужасающим упорством вырастали они снова, как крест, как отметина, как печать проклятия. Кто-то надоумил мать, что где-то на Мясницкой живет, мол, старичок профессор, Иордан по фамилии, который выжигает бородавки радием. Побегала кастелянша, посуетилась и впрямь нашла профессора. Старичок, однако, потребовал несусветную цену, и кастелянша совсем было отчаялась, но потом деньги откуда-то появились, и они направились в огромный дом на Мясницкой. Или она уже тогда называлась улицей Кирова?

Квартира была тиха, сумрачна от темных высоких

шкафов и темных кожаных кресел. Профессор, крошечный сухонький старичок в светлом облачке пуха на чистенькой головке, торжественно достал из тяжелого металлического ларца небольшую блестящую штучку, обернул ее марлей и вручил матери:

— На каждую бородавку, мадам, десять минут. Часы перед вами.

Чуть не утонул Коля в кожаных глубинах безбрежного кресла, когда сел в него.

— Сиди, сиди тихонечко, сынок, — шепотом попросила мать, осторожно прикладывая ко лбу сына металлическую штучку в марле.

Странно пахло от кресла, громко стучало сердце в благоговейной тишине темной квартиры, неторопливо и важно тикали высоченные часы такого же темного, как шкафы, дерева.

Через несколько недель бородавки начали засыхать, а потом и вовсе отвалились, оставив после себя лишь розовую кожицу. Но дело свое они уже сделали: не забыл Коля о кулаке, приложенном к носу.

Уже когда провожала его мать в армию, она вдруг спросила:

— А помнишь, сынок, профессора, что бородавки тебе вывел?

— А как же, — басом ответил Николай.

— А деньги, знаешь, откуда я тогда взяла?

— Не...

— Ян Иосифович дал.

— Дядя Лап?

— Ну да.

— Одолжил, что ли?

— Хотела отдавать по частям — не взял. Но, говорит, Колечке не скажи случайно, что деньги я дал.

— А почему?

— Кто знает, — пожала остренькими плечиками мать, и на поблекшем ее лице отразилось привычное недоумение.

Неудобно, неловко как-то стало на душе у Николая Изъюрова от материнных слов. Может, потому, что всегда в детстве побаивался огромного, скрипящего при каждом шаге латыша, смотрел на него с брезгливым интересом, но никогда не любил.

— Вот так, — тихонечко сказал Николай Аникеевич. Выходит, дважды его благодетельствовал человек, которого он не любил и которому никогда ничем не отплатил за добро. И за бородавки, и за приучение к часовому делу, которое в госпиталях давало ему табачок дополнительный, и помогло определиться в жизни.

Но даже и сейчас, через сорок почти лет, не мог Николай Аникеевич заставить себя полюбить дядю Лапа. Потому что жила в нем, вернее, дремала неудовлетворенность, и порой казалось ему, что, не стань он часовщиком, жизнь его прошла бы ярче, интереснее.

Считал себя Николай Аникеевич человеком умным, способным, стоящим выше и Бор-Бора, и Витеньки, и Горбуна, и всех, с кем он работал, да и почти всех клиентов своих, которых перевидал сотни. Что ими всеми двигает, какая в них закручена природой пружина? Купить подешевле вещь получше, отремонтировать или отреставрировать подешевле, продать подороже — вот и весь их нехитрый механизм.

Николай Аникеевич встал, потянулся, тихонечко крикнул. Ох и сложно все. Так к нему относись, эдак, а прав был дядя Лап с пятнистой своей головой: часы понятней.

И только повертел в голове эту привычную, отполированную мысль, как вдруг сообразил, что больше она, оказывается, недействительна, эта удобная, ухватистая формулка.

Перед ним стояли часы, которые никак не были понятны. «Ну-ка, еще раз», — подумал Николай Аникеевич и поднес к часам отвертку. Разбирать он их на этот раз и не думал, хотелось лишь проверить, задержат они его руку или нет. Рука прошла невидимый барьер сво-

бодно, и Николай Аникеевич почему-то испугался. Но не тягостно, а легко, почти весело. И боязно, оказывается, было с чудом, но напряженно, небуднично, интересно, волнительно. И страшно стало, что обернется чудо все-таки некой галлюцинацией, самообманом. Но ведь Вера-то тоже пробовала, успокоил он сам себя. С детской нетерпеливостью схватил он ключ, повернул и счастливо рассмеялся: вертится, вертится.

Зачем-то пошел Николай Аникеевич в ванную, зажег свет и долго рассматривал свое лицо в зеркале. Лицо как лицо. Ни моложе, ни старше своих лет. Глаза умные, живые. Лицо интеллигентного часовщика. Или, скажем, профессора.

И вдруг совершенно неожиданно для себя высунул Николай Аникеевич язык. Себе ли, судьбе, часам необыкновенным — кто знает. Солидный, пятидесятипятилетний человек — и вдруг гримасы себе в зеркале строит. Николай Аникеевич хихикнул и укоризненно покачал себе головой. Профессор. Тавтология. Однако пора было ложиться, уже второй час пошел с этими воспоминаниями. Николай Аникеевич начал было надевать пижаму и замер. А пропустили часы его руку с отверткой, наверное, потому, что он и не собирался разбирать механизм. А до этого собирался. И что это значит? А значит это, что часы знают о его намерениях.

«Так, так, Николай Аникеевич, — сказал он себе, — давай, давай. И в это ты уже веришь. Может, ты уже и летать умеешь? Выйди на балкон, взмахни ручками и полетай немножко, подыши свежим воздухом, дело хорошее». Он представил себе, как летает в пижаме, заглядывая в окна, и тихонечко засмеялся.

Как звали этого человечка, что жил на крыше? А, Карлсон.

— Ты чего? — сонным голосом спросила Вера и повернулась, излучая тепло сонного женского тела.

— Спи, спи, не буду я летать, простудишься еще в пижаме, а в пальто тяжело, — пробормотал Николай

Аникеевич. И снова краешек его сознания отметил непривычную для него игривость и легкость мысли.

Гулко и мелодично пробили половину напольные часы в прихожей, тоньше и суше — английские каминные, которые закончил накануне, и только потом тихонько зазвенел хрустальный колокольчик новых часов.

С нежным этим хрусталем в ушах он и заснул.

Глава 4

Проснулся Николай Аникеевич рано и сразу скосил глаза на золотую свою «Омегу», что лежала на ночном столике. Без пяти шесть. Вылез тихонько, чтоб не разбудить Веру, и сразу в большую комнату. Зажег свет на своем рабочем столике. Идут. Включил приемник. Прозвучали сигналы точного времени, и с последним зазвенел хрусталь.

И словно в далеком детстве, в те редкие дни, когда ожидало его что-то очень хорошее, почувствовал Николай Аникеевич такой прилив доброжелательной любви ко всему миру, такой щекотный восторг в груди, что положил руку на плечо и спину воображаемой дамы и тихонько закружился в вальсе, который никогда не умел танцевать.

— Коля, Коленька...

В дверях стояла Вера в длинной своей ночной рубашке с коричневыми тюльпанами и с ужасом смотрела на взлохмаченного со сна мужа, который кружился в шесть утра в вальсе, положив руки на плечо и спину воображаемой партнерши. Вот, вот они, все эти неясные, непонятные его дела, летящие и прилетающие сотни, скрытность его странная...

— Вера Гавриловна, — сказал, остановившись, Николай Аникеевич, — я, разумеется, одет неподобающим образом, но позвольте пригласить вас. Вы, между прочим, тоже ведь не в бальном туалете.

Чужой, встрепанный, в смутном свете пасмурного

мартовского утра, подохренного настольной лампой, боже, кто это? Но сделал он шаг навстречу, наклонил голову, весело сверкнули глаза, и положил тяжелую руку ей на плечо. Вздрыгнула от прикосновения, но было уже не страшно.

— Ночь ко-рот-ка, спят об-ла-ка, — тихонько запел Николай Аникеевич и неловко, первый раз в жизни, завертел жену в медленном вальсе.

— Коль, ты что? — прошептала Вера Гавриловна, чувствуя, что невесть отчего на глаза навернулись слезы.

— Я ничего, — громко и важно сказал Николай Аникеевич, — я танцую с женой медленный утренний вальс...

Странно, необычно, уже нестрашно... И спала вдруг с Веры Гавриловны пелена лет и забот, и вынырнула из-под них девчонка, и жадно отдалась волнующей, непривычной нежности. О господи, кто бы мог подумать, что неразговорчивый этот человек, которого и сейчас, через два года после замужества, побаивалась она, будет кружить ее, сорокапятилетнюю бабу, в томящем душу воображаемом вальсе?

И кто-то терпеливо и снисходительно объяснял по радио, что принес обильные осадки какой-то особенно упорный циклон, а Вера Гавриловна в длинном платье из блестящего люрекса, с голой спиной, ловко скользила с высоким красавцем под звуки оркестра.

Не оставляло Николая Аникеевича ощущение какой-то праздности и по дороге в мастерскую. Странно как устроены люди, разве можно жить с такими хмурыми, озабоченными лицами, думал он, и ему было немножечко жаль всех этих бессчетных утренних его попутчиков, и немножко презирал он их. О чем, например, думал толстячок, сидевший напротив него и державший на коленях такой же толстенький, как он сам, портфель? О бланках, отчетах? О внуках? О повышенном давлении? О розыгрыше в местном Полном собрании сочинений Стендаля? А та вон пигалица с зелеными тенями над

сонными глазами? Женится на ней ее парень или опять обманет?

Краешек сознания одернул его тут язвительно: а давно ли вы, уважаемый Николай Аникеевич, с праздничным чудом в обнимку? О чем, интересно, вы вчера думали, сидя в этом же поезде в это же время? О хрустальном колокольчике или о том, сколько дадут за английские настольные часы? Светлые ли ветры гуляли в вашей предпенсионной душе, или вы думали, что надо бы сходить в поликлинику и поставить пломбу в задулившийся зуб?

Придержала его самокритика за подол темно-серого ратинового пальто. И хорошо сделала, а то бы совсем взмыл. Как вчера, когда примеривался полетать перед сном в пижаме.

Но все равно видел он все вокруг себя не так, как обычно. Словно все время кто-то держал перед ним огромную лупу, переводил с одного человека на другого. И все, наверное, от волшебных хрустальных колокольчиков. От чуда.

Бор-Бор показался ему сегодня особенно сизым, налитым нездоровой густой кровью, а подмигиванье его — особенно непристойным. У Горбуна было маленькое, но выпуклое брюшко, подпиравшее халат почти от самой груди. «А туда же, — брезгливо подумал Николай Аникеевич, — в Дон Жуанах ходит. Каких, интересно, Анн они с Витенькой обольщают? Вроде Ксении Ромуальдовны?»

Сегодня у него был английский «стаканчик». Не любил он эти часы в виде стаканчика с перекидывающимися страничками, на которых написаны цифры часов и минут. Дешевка. Ширпотреб начала века. Пружины слабые, а размера такого сейчас не найти. Вот и у этих пришлось отжигать конец, делать новый замок. На сутки уже завода хватать не будет, а что поделаешь.

Работал Николай Аникеевич автоматически, слава богу, с закрытыми глазами любую операцию на пари

мог сделать, а сам думал все время о чудесных часах. Снова и снова исследовал он все возможности, но каждый раз его ум останавливался перед глухой стеной. Никакого, даже самого дикого объяснения, самого нелепого не мог он придумать.

Будь он человеком другим, более открытым, он бы, наверное, кинулся к коллегам: так и так, братцы, не могу разобраться в конструкции часов. «Ты? Да кто же, Николай Аникеич, может, если ты не можешь?» — «Да нет, ребята, не в том дело. Понимаете, часы пружинные, а идут без пружины». — «Анекдот, что ли, такой? Или розыгрыш?»

Конечно, розыгрыш. Кто поверит? А если принести показать? Но даже от одной мысли, что окружит его часы толпа, все начнут крутить, соваться с дурацкими советами, стало Николаю Аникеевичу неприятно. Да к тому же потащут их по институтам, к специалистам, а шестьсот пятьдесят рублей? А медленный вальс в шесть утра? Тоже к специалистам? Нет, дудки, дорогие друзья и коллеги. Мои деньги, мое чудо, мой хрустальный звон. Да и что определяют ученые? Что такие часы невозможны? Это и без них ясно. Полезут в них копать и, когда наткнутся на невидимый барьер, искалечат их. Спасибо. Большое спасибо.

Так думал Николай Аникеевич, делая новый замок пружины для дешевого английского «стаканчика». Конечно, самое правильное — принимать тайну такой, какой она представляется человеку. Не лезть в тайну с отверткой. Как старушка Екатерина Григорьевна: очень даже хорошие часы, вы не сомневайтесь. И все дела. Но он знал, и знал это твердо, что никогда не сможет быть таким божьим одуванчиком. Не такой у него ум, не то устройство. Все ему надобно разобрать, убедиться самому, как все устроено. Может, потому и в бога он не верит. Нет такой конструкции и быть не может.

Когда отец бросил их — он совсем не помнил его,

маленький был, — мать иногда тихонько неумело молилась, стараясь не разбудить сына.

— Мам, — спросил он раз, — а чего тебе бог дал-то, все ты его просишь?

— Тебя, — ответила мать вроде с улыбкой, а глаза серьезные.

— Да ла-дно, — обиделся он, — думаешь, я не знаю, откуда дети берутся?

Вся съежилась, нахохлилась, замолчала. Так и осталась в памяти: маленькая, нахохленная, с узкими острыми плечиками, и все считает на клочке бумаги, поворачивая плохо отточенный огрызок карандаша.

— Дядь Коля, — сказал ему Витенька, — что вы сегодня так сосредоточены?

— Да так, ничего.

— У диретторе есть идея о кружке пива после ка-торги. Какие соображения?

— Не могу, тороплюсь.

— Понимаю, пан Изъюров, несовместимость поколений.

Даже не заняты ему были сегодня Витенькины замысловатые обороты. Не то в голове. Как старушка назвала своего мужа покойного? Василий... Василий Евстифеевич, нет... ага, Василий Евграфыч. Похоже, что Василий Евграфыч этот был не таким темным, как его божий одуванчик, и понимал всю необычность своих часов. А раз так, может быть, он что-нибудь знал об их происхождении?

С трудом дождался конца работы. Старушка уже ждала его.

— Ну как часы? — спросила она. — Разобрались с ними? Я же вам говорила, часы хорошие.

— Идут как будто хорошо, — пожал он плечами. Начнешь хвалить, еще полсотни старая дура потребует. На дециметровую приставку. — Вот вам двести пятьдесят рублей. Пересчитайте, пожалуйста.

— Да я вам верю.

— И все-таки, Екатерина Григорьевна, деньги счет любят.

Старушка надела очки и, медленно шевеля губами, дважды пересчитала деньги.

— Двести пятьдесят. Спасибо вам.

— Вам спасибо.

— Да вы не пожалеете, очень даже хорошие часы. Был бы жив Василий Евграфыч, ни за что бы их не продал. Даже не подумал бы. Ни за какие тыщи.

— А почему?

— Любил их очень. Сядет, бывало, перед ними и все смотрит, смотрит, как маленький, можно сказать.

— А он у вас кем был?

— Автомехаником. До самой пенсии работал. Какой души человек был! Особенно последние годы. Голубиная у него душа стала, просто голубиная. Жалел всех, сказать не умею как. И меня, конечно. Люди многие болтали, что сектантом он стал, да я-то знаю. Ни с кем не молился и сам не молился. Я его не раз спрашивала: «Вась, — говорю, — откройся, скажи, может, ты в бога веришь?» А он улыбается. Светло так, весело. Кто, говорит, знает, что такое бог? Я, говорит, во внешнюю точку отсчета верю, Катюша ты моя милая.

— Что, что? — изумился Николай Аникеевич.

— Да, — твердо сказала старушка. — Я эти слова очень даже хорошо запомнила: внешняя точка отсчета. Потому что и я их не поняла и говорю: Вась, а что это такое? Вообще-то, отвечает он, точка отсчета — это с чего или по чему меряют, но я, Катюш, имею в виду гораздо большее, что случилось со мной, а сказать подробнее не могу. И не нужно этого, чтоб твою, Катюш, жизнь не тревожить.

— И подробнее он не говорил?

— Нет. Я, правда, приставала сначала к нему, а он только посмеивался. Пусть, говорит, кто что хочет обо мне думает, мне это без различия. Я, говорит, по своим часам живу.

— По часам?

— Ну да, по часам. Я ж вам говорю, любил он очень эти часы свои. Просто грех продавать. Да уж очень дочке телевизор цветной купить хочу.

— Скажите, а вы не помните, как он эти часы приобрел?

Старушка подозрительно посмотрела на часовщика, на десять двадцатипятирублевых, лежавших на темной бархатной скатерти, взяла их и положила в шкаф. «Под стопку белья, наверное», — подумал Николай Аникеевич.

— А я и не знаю, за сколько он их и где взял, — сказала Екатерина Григорьевна и посмотрела на Николая Аникеевича.

«Надо встать, попрощаться и ехать домой», — твердо сказал себе Николай Аникеевич, но почему-то необыкновенно взволновали его слова бабушки и о глубинной душе ее покойного Василия Евграфыча, и о внешней точке отсчета. Уж очень неподходящие слова в бабушкином обиходном лексиконе. И веяло от них какой-то загадкой, и смутно чудилось Николаю Аникеевичу, что как-то связана и голубиная душа, и внешняя точка отсчета с чудесными этими часами. «По своим часам живу». Гм... В каком, интересно, смысле?

Всю жизнь был Николай Аникеевич человеком расчетливым, рациональным и твердо знал, что на всякое колесо своя трибка есть, и само по себе, без гирь и пружинок ничего и никто не вращается. И на все, стало быть, должно существовать объяснение.

И вместе с тем хрустальный, томящий душу бой колокольчика и невозможный ход без пружины сбили Николая Аникеевича с твердых его жизненных убеждений. Якоря здравого смысла отказывались держать, и странные, волнующе-пугающие ветры уносили часовщика со спокойной его стоянки в какую-то не то страшную, не то манящую даль. И не было сил встать и уйти, потому что если и болтался где-то кончик таинственной ниточки,

нет, не ниточки, скорее паутинки, то только здесь, у этой старушки с детско-голубыми водянистыми глазами.

— Дорогая Екатерина Григорьевна, — сказал Николай Аникеевич, испытывая странное волнение, как на экзамене, — все, что вы рассказывали о покойном своем муже, очень мне интересно, и не обессудьте, пожалуйста, если я задам вам несколько вопросов. Нет, нет, — поспешил добавить он, заметив, что старушка бросила тревожный взгляд на шкаф, куда положила полученные от него деньги. — Дело не в цене. Я уверен, телевизор окажется хорошим. Мне хотелось бы, если, конечно, это вас не затруднит, чтоб вы объяснили такие вот слова: «Я по своим часам живу».

— Это Васины-то?

— Разумеется. Вы их только что упомянули.

— Боюсь, это я вам объяснить не умею.

— Но все-таки... Как вы сами понимаете: по своим часам?

— Ну... это... Господи, что значит безъязычные мы: чуть соскочишь в сторону от будничных дел, какая погода обещана на завтра — неможешь сразу...

— Ну что вы, Екатерина Григорьевна, вы даже очень образно говорите.

— Образно?

— Ну, интересно.

— А... теперь-то что... Раньше я, правда, любила выступать и на производственных совещаниях, и на профсоюзных. Прямо удержу мне не было. Прямо как катапульта какая меня подбрасывает — прошу слова.

«О господи, — воскликнул мысленно Николай Аникеевич, — не давай старушке съехать с дороги, лебедками обратно не затащишь. А то сейчас про автобазу начнет рассказывать...»

— Мы говорили про вашего Василия Евграфыча. Про выражение его «Я по своим часам живу». Скажите, а всегда у него такая поговорка была?

Екатерина Григорьевна наморщила печеный свой

лобик и подняла светлые глазки к оранжевому шелковому абажуру.

— Да нет... Пожалуй, это когда часы вот эти самые появились. Когда же было? Вроде в первый год, как он на пенсию вышел.

— Это когда же?

— Сейчас посчитаем... Так... Пожалуй, в семьдесят первом...

— А где он их приобрел, вы, случайно, не помните?

— Как не помню? — забыв, что только что говорила обратное, обиделась старушка. — Конечно, помню. Только не приобрел он их. Подарил ему их его друг-приятель. Кишкин Иван Федорович, бухгалтером он был на фабрике мягкой игрушки. Да, точно.

Николая Аникеевича охватил охотничий азарт. Сердце его застучало, помчалось по-молодому. Мягкая игрушка, слова-то какие.

— А могу ли я повидать этого человека?

Старушка молча покачала головой и вздохнула.

— Понимаете, мне как часовщику любопытно...

— Да не в этом дело. Помер он. Часы-то это как завещание было. Иван Федорович с моим Васей очень дружились. Вот когда у Ивана Федоровича рак поджелудочной железы случился, он Васе часы и подарил. Вдов он уже был, а сын его, инженер по химической линии, плохо к отцу относился. Месяцами не объявлялся. Вася мой по своей, так сказать, инициативе его не раз пытался пристыдить, отец, мол, все-таки. Пустое дело. Еще мальчиком был, волченышем всегда исподлобья глядел...

И снова тупик. И здесь чьи-то быстрые руки ловко сложили каменную стенку, ровную, без щелки, не заглянешь. И уж без надежды, по инерции продолжал Николай Аникеевич:

— И вот, значит, появились у вас часы эти. Изменился после этого муж?

— Это уж точно. Изменился. — Екатерина Григорь-

евна энергично закивала. Видно было, что память ее, побарахтавшись, ступила наконец на твердую почву. — Сначала он от этих часов прямо-таки не отходил. Немножко он в часах разбирался, все ж таки автомехаником всю жизнь отбарабанил, «от», как говорится, и «до». И вот все сидит, смотрит, смотрит. А то все как проверку времени передают, он уж обязательно около часов. А потом вскорости какой-то еще знакомец у него появился. Я, говорит, Катюш, с человеком с очень необыкновенным познакомился.

— Необыкновенным? — Николай Аникеевич снова встрепенулся. Слова «необыкновенный», «чудесный» казались ему теперь его словами, из его мира.

— Так Вася говорил. А раз даже привел его. Обыкновенный такой человек, ничего особенного. Вежливый, тихий. Я б его и вовсе не запомнила, но говорил он забавно так, как из старинной книги. «Позвольте, уважаемая Екатерина Григорьевна... Разрешите представиться...» Такие вот все обороты... Да что я с вами совсем заболталась-то, давайте я вас чаем угощу. Со своим вареньем. Абрикосовым. Такого в магазине не найдете.

— А и никакого в магазинах нет. Но потом, спасибо большое. Ну и что человек этот говорил?

— Какой? А, этот классик?

— Классик?

— Ну да, я так его про себя окрестила. Разговаривал, как у Толстого там герои объясняются. Да ничего особенного не говорил. Чего-то там поколдовали они около часов, посидели за столом, чай попили, и все.

— А Василий Евграфыч?

— Что Василий Евграфыч?

— Ну, он к этому времени... Вы говорили, изменился он...

— Это точно. И классик к этому касательство имел. Это уж точно.

— Почему?

— Чувствовала я. Вася мой всю жизнь человек был

незлобивый, людей старался не обижать. Стеснялся. Но, бывало, расшумится по пустяку. И сам себя накаляет, распаляет: да неужели я, просидевши целый день под проклятыми этими «Волгами», должен... Ну, вроде этого... И под горячую, стало быть, руку мог и обругать человека. Этот у него заглушка — любимое было его слово. Этот — глушитель. А приятельницу мою Тамару Ивановну карбюратором неотрегулированным звал. Представляете? А вот как раз со времени, когда классик появился, стал Вася прямо на глазах мягчать. Тут вот все и зашептались, сектантом, мол, стал...

— А почему?

— Как вам сказать? Трудно объяснить...

— Ругаться перестал? — подсказал Николай Аникеевич.

— Хе-хе, — хихикнула старушка, будто слова часовщика показались ей необыкновенно забавными. — Ругаться! Да он только хорошее в людях стал видеть. Тамара Ивановна моя — она женщина очень развитая — говорит: «Катьк, а твой-то Василий прямо брат Алеша».

— Брат Алеша? — вскинулся Николай Аникеевич. — Какой Алеша?

— Как какой? — обиделась почему-то Екатерина Григорьевна. — Алеша Карамазов.

— А-а... — неопределенно протянул Николай Аникеевич. Раза два пробовал читать он Достоевского, но горячечные, неудержимые потоки слов, извергаемые всеми его героями, казались ему странными, неубедительными. То ли дело Чехов и Бунин, которые восхищали его прозрачным своим и четким великолепием...

Вася твой, говорит Тамара Ивановна, прямо стал весь просветленный. Он, говорит, у тебя кротостью души к другому времени принадлежит теперь.

К другому времени. По своим часам. К другому времени. О господи, пошли хоть какую-нибудь щелочку в лабиринте, что окружает его, хоть хвостик тайны... Классик, гм, это ж надо такую кличку придумать.

— Скажите, дорогая Екатерина Григорьевна, вот вы давеча рассказывали мне, как этот классик разговаривал: «Разрешите представиться...» А вы, случаем, не запомнили его имени?

— Ва... ва... Вахрушев, как будто. Да, как будто Вахрушев.

— А где живет он, вы, конечно не знаете?

— Понятия не имею.

— А имени-отчества не запомнили?

Екатерина Григорьевна задумчиво пожевала губы, посмотрела вдаль:

— Виктор, что ли... Виктор Александрович... А может, и не Виктор Александрович.

— А сколько на вид ему тогда было?

— Да немолодой тоже был человек. Уж никак не меньше шестидесяти пяти.

Ага, высчитывал про себя Николай Аникеевич. Если в семьдесят первом ему было шестьдесят пять, то будем считать, что он примерно пятого года рождения. Значит, сейчас ему около семидесяти пяти. Или было бы столько, потому что вполне может быть, что его давно нет в живых.

Он торопливо, почти непристойно быстро попрощался со старушкой и вышел. Было еще не поздно, и стоило попробовать обратиться в Мосгорсправку.

Суровая женщина с крашенными чернилами фиолетовыми волосами равнодушно выстреливала вопросы:

— Год рождения, место рождения?

— Не помню я место рождения, — униженно, как он всегда разговаривал в таких случаях, взмолился Николай Аникеевич. — Фронтовой, понимаете, друг, не знаю даже, жив ли. Проездом в Москве, дай, думаю, узнаю, вдруг жив Витька мой... Комбат боевой...

— Ждите, — сухо щелкнули окошком фиолетовые волосы.

Похолодало, шел снежок, прихорашивал грязные сугробы вдоль тротуаров. «Что я делаю, зачем?» — вдруг

подумал Николай Аникеевич, и от мысли этой сразу захотелось вернуться в привычный свой мир, может, и не такой, какой выбрал бы он для себя снова, появившись у него такая возможность, но и не такой уж плохой. Но попал он на какую-то странную колею, и она, а не он, определяла путь его. Вот и привела эта колея его в Мосгорсправку в поисках сомнительного какого-то Вахрушева сомнительного пятого года рождения. А ведь мог он в это время полежать на диване с полчаса после обеда... Обед... О, господи, совершенно выскочило из головы, что сын же сегодня придет, Вера предупреждала. Совсем тронулся, старый осел.

— Возьмите, — снова щелкнуло окошко. На листке бумаги значилось три Вахрушева, черт бы их побрал. Улица Руставели, это, кажется, где-то на Дмитровском шоссе, улицы Вучетича и Зорге.

Может, скатать сегодня, скажем, на Зорге, сказал себе Николай Аникеевич, но тут же возразил, что получится совсем нехорошо. Вздохнув, он отправился домой.

В метро он задремал, и в урывистом легком сне шли перед ним аккуратные старички в старомодных котелках, отдавали ему честь, щелкали каблуками и представлялись: Вахрушев, Вахрушев, Вахрушев...

— Деда пришел, — услышал он еще из-за дверей Олечкин визг. Был у нее звериный слух. Ключ он еще не вставил в дверь, а квартиру уже прошли стремительные стезжки Олечкиных шажков.

— Как ты, внученька? — нагнулся он, чтобы Оле сподручнее было уцепиться за дедову шею, и выпрямился уже с нею, с легким и теплым выющим тельцем на груди.

— А у меня бант новый.

— Оля, дай дедушке раздеться! — скомандовала Рита.

Сын, как всегда тихий, пришибленный, скрутила она его в бараний рог.

— Вера Гавриловна говорит, новые часы принес? — осторожно спросил он, стараясь с самого начала увести разговор в безопасную бухточку.

— Да ничего особенного, сборная солянка. Корпус немецкий, механизм французский, сам не знаю, зачем купил.

— Дорого отдал? — без всякого интереса спросил сын.

— Триста, — зачем-то соврал Николай Аникеевич.

— Антикварные вещи очень дороги, — неодобрительно поджала губы Рита. Будто он, Николай Аникеевич, виноват в этом, и будто ей от этого тепло или холодно.

— Это уж точно, — поддержала разговор Вера, накрывая на стол. — Николай Аникеевич рассказывал, видел на днях малахитовую шкатулку в комиссионке, две триста.

— А лет пятнадцать назад, — усмехнулся Николай Аникеевич, — мне такую же за триста предлагали. Не взял, дорого показалось.

— А мне старые вещи вообще не нравятся, — с вызовом сказала Рита. — Это все мода такая.

— Ну почему ж, Риточка? — примирительно пожал плечами Юра. — Разве не красивые вещи? — Он кивнул на старинные часы, стоявшие на каждой свободной поверхности в комнате.

— Садитесь, садитесь, — ласково пропела Вера Гавриловна. То ли от плиты, то ли от поднятых волос, но показалась она сейчас Николаю Аникеевичу совсем молоденькой; и испытал он прилив гордости за нее. Молодец, Вера. И она, словно угадав мысли мужа, перехватила его взгляд и улыбнулась быстрой, смущенной и благодарной улыбкой.

— По рюмочке, Рита? — подобострастно спросил Юра. — Как в народе говорится, что-то чешется под мышкой, не послать ли за малышкой... Нет возражений?

«Вот тюфяк, — с досадой отметил Николай Аникее-

вич. — Ведь непьющий практически парень, а за разрешением на рюмку к жене».

— Будьте здоровы, — сказал Николай Аникеевич, чокнулся с сыном и женой и опрокинул рюмку.

Эх, не такой у него сын, о каком мечтал. И не в том только дело, что сидит он зачем-то в своем министерстве, канцелярско-инженерной крысой стал. И не в том, что не захотел по часовому делу пойти, хотя руки у парня прекрасные. Оси точил — одно загляденье. А в том, что далекий какой-то, пришибленный. Не поделишься ничем, а он и не поинтересуется. Ну попробуй скажи ему про хрустальный колокольчик, про часы, идущие вопреки всем законам механики и здравого смысла. Не скажешь. А откроешь рот, тут же его вобла с узкими губами и заявит: часы без пружины ходить не могут...

Глава 5

Трубы ТЭЦ на улице Зорге извергали в небо многослойные клубы дыма. День был безветренный, и клубы упруго ввинчивались один в другой, медленно расплывались в огромную, с полнеба, кляксу. «Защита окружающей среды, — покачал головой Николай Аникеевич. — А вот и дом. Господи, а что ж мне спросить?» — вдруг запаматовал он.

Дверь открыл пожилой костлявый человек в белой майке и синих тренировочных штанах. Он шумно дышал, высоко поднимая узкую грудь в седых волосах.

— Простите, — поклонился Николай Аникеевич, — мне нужен Вахрушев Виктор Александрович.

— Ну, — сказал человек в перерыве между вздыманием груди.

— Мне бы хотелось с вами поговорить, — неуверенно сказал Николай Аникеевич. — Я долго вас отрывать не собираюсь...

— Семь минут. Бегаю, — буркнул человек, нажал на кнопку большого секундомера, который держал в ру-

ках, и, высоко вскидывая худые колени, медленно побежал по узкому коридорчику.

«Не тот, — тоскливо подумал Николай Аникеевич, — а там черт его знает». Стоять в пальто было жарко и неудобно, но раздеться без приглашения он стеснялся. Снова послышалось паровозное пыхтение, и в коридоре опять появился один из Вахрушевых. Он взмахнул рукой с секундомером, указывая на вешалку, и Николай Аникеевич с благодарностью разделся. Если этому бегуну семьдесят пять годков, подумал он, не все еще потеряно. Он в свои пятьдесят пять выглядит, пожалуй, если и не старше, то уж точно не моложе. Вон какой он поджарый, стройный.

Еще одно появление, еще один приглашающий взмах секундомером, и Николай Аникеевич очутился в комнате, похожей на маленький гимнастический зал. На полу лежали черные тушки разнообразных гантелей, на гвоздиках висел набор эспандеров. Но часов не было, если не считать обыкновенного будильника на серванте.

— Пятнадцать минут, — объявил бегун, останавливаясь и делая медленные плавательные движения. — Пульс сто десять. Три раза в день. Семьдесят шесть. Дадите?

— Что семьдесят шесть? — растерялся Николай Аникеевич.

— Мне. Плюс йога. Для эластичности.

— Чего?

— Мышц. Йога раз в день. Тридцать минут. Бомбейский метод. Делаю полный лотос в семьдесят шесть, а?

— Потрясающе, — охотно согласился Николай Аникеевич. — Можно только позавидовать.

— Плюньте на элфэка. — Человек поднял предостерегающе палец и начал считать себе пульс. — Уже девяносто. Каково? В семьдесят шесть! Обещайте мне плюнуть на элфэка, обещаете? — Голос человека звучал просительно, почти настойчиво.

— Да, да, пожалуйста, но что такое элфэка?

Человек перестал дышать и посмотрел на Николая Аникеевича с глубочайшим изумлением.

— Как, вы не знаете, что такое элфэка?

— Простите... — пробормотал Николай Аникеевич и на всякий случай примерился взглядом к ближайшим гантелям.

— Кабинет лечебной физкультуры, вот что такое элфэка! И все зло от них, только от них! Их дозировка глубоко ошибочна, консервативна и приносит больше вреда, чем пользы. Возьмите меня. В семьдесят — сто восемьдесят на сто двадцать, в семьдесят шесть — сто пятьдесят на девяносто! Каково? А? А почему? Плюнул на элфэка!

— Потрясающе, — согласился Николай Аникеевич, — но я хотел, собственно, расспросить вас о Василии Евграфыче...

— Из оздоровительной группы? Из Лужников?

— Боюсь, он умер. Два года тому назад.

— Тогда не знаю. Всего хорошего. Плюньте на элфэка — приходите. Сахар есть?

— С собой?

— В моче.

— Не-ет как будто.

— Будет — дам диету. Тэтэди. Тасманийская туземная диета. Честь имею, у меня сейчас гантели.

Николай Аникеевич взглянул на свою «Омегу». Время еще не позднее, и вполне можно было съездить на улицу Вучетича. Он вышел на улицу. Трубы ТЭЦ все ввинчивали в низкое сизое небо тугие пегие клубы дыма. Из двора выехало такси, и Николай Аникеевич поднял руку.

Они долго искали нужный дом среди одинаковых коробок. «О господи, что я делаю, — подумал Николай Аникеевич, — какой ерундой занимаюсь». Но упрекал он себя скорее из приличия, по инерции, потому что не оставлял его охотничий какой-то зуд, детская нетерпеливость: быстрее, быстрее.

Дверь открыла высоченная девица в джинсах и коротенькой маечке, на которой было написано «Сингапур» и которая оставляла открытым ее пуп. Стараясь не косить глазами на пуп, Николай Аникеевич вежливо поздоровался и спросил, может ли он видеть Виктора Александровича Вахрушева.

— А дед в больнице, — сказала «Сингапур» и почесала живот.

— Давно?

— Да дня три уже...

— Как его здоровье?

— Клава! — вдруг заорала «Сингапур». — Тут к деду, спрашивают, как его здоровьс.

В коридорчике появилась женщина в стеганом красном халате и косынке на угловатой голове. «От бигуди, наверное», — подумал зачем-то Николай Аникеевич. Женщина подозрительно посмотрела на него, кивнула и спросила:

— Вы к Виктору Александровичу?

— Да.

— А зачем он вам?

— Видите ли... — замялся Николай Аникеевич, — я хотел расспросить его об одном нашем общем знакомом...

— О ком? — строго спросила женщина в халате и решительным жестом извлекла из кармана пачку сигарет.

— О Василии Евграфыче... — Николай Аникеевич вдруг сообразил, что даже не знает его фамилии. Хорош сыщик!

— Не знаю такого, — сказала женщина и грозно щелкнула зажигалкой.

— Как вы думаете, а удобно мне посетить вашего отца в больнице?

«Сингапур» ухмыльнулась, а женщина в халате выпустила из накрашенных губ облачко дыма и пожала плечами.

— Спасибо за отца. Я его жена.

— Не хвастай, Клава, — сказала девица.

— Ванька, води себя прилично. И вообще ты опаздываешь на тренировку.

Николай Аникеевич мысленно застонал: мать, дочь, жена, внучка, Клава, Ванька, «Сингапур». Бедный Виктор Александрович...

— Виктор Александрович в больнице, — сказала же-на Вахрушева.

— Да, да, — торопливо кивнул Николай Аникеевич, — я только хотел узнать, как он и удобно ли по-сетить его?

— Как он? Как огурчик. Как может чувствовать се-бя человек в его возрасте после второго инфаркта? Хотя и микро? — Женщина в халате пожала плечами, явно осуждая мужа и за возраст, и за инфаркт. — Сходите. — Она назвала больницу и двинулась на Николая Аникее-вича, заставляя его отступать к двери. Девица приня-лась стаскивать «Сингапур» через голову, и он выскочил на лестницу.

Назавтра сразу после работы он поехал в больницу. Окошко с табличкой «Справочная» было закрыто. Гар-деробщик с огромной кружкой чая в руках сказал:

— Да вы ее не ждите, она сегодня не пришла.

— А как же мне узнать, в какой палате больной?

— Знаете, когда поступил? Сходите в приемное от-деление. Как выйдете, направо за угол.

От слов «приемное отделение» легкий озноб прошел по спине Николая Аникеевича. Несколько лет назад по-явились у него затруднения с мочеиспусканием. Дня два он терпел, а потом пошел в поликлинику. Молодой смуг-лый врач мучил его минут двадцать. Руки его дрожали, и Николай Аникеевич заметил, как на лбу его выступила испарина.

— Что вы делаете? — вдруг закричал врач. — Не-медленно в больницу. Экстренная госпитализация.

Он начал что-то быстро писать, куда-то звонить, а

Николай Аникеевич сидел словно в трансе, думая о себе так, как будто это не его кладут в больницу, а какого-то другого человека, по странному совпадению тоже Николая Аникеевича и тоже Изъюрова.

В приемном покое больницы толстая женщина в халате опять что-то долго писала, а потом провела его в небольшую комнатку со странной табличкой «Мужская смотровая». Посреди комнатки стояла каталка, а на ней лежал старик, прикрытый тонким казенным одеялом. Внезапно старик поднял костлявую, по-детски тоненькую ручонку с темной морщинистой кожей, слабым жестом погрозил стене с плакатом «Если у вас дома больной гриппом» и дребезжащим голосом выкрикнул:

— Справа, справа, ребятки...

Высоченный человек с застывшей улыбкой и неподвижными глазами слепца сказал:

— Лежи, лежи, дедушка, скоро врач придет.

— Да что это такое за безобразие, — не очень решительно сказал немолодой седой человек, поглаживая по плечу бледного юношу лет семнадцати с длинными волосами. — Второй час ждем уролога.

В комнату заходили и выходили молодые люди в белых и зеленоватых халатах, чрезвычайно озабоченные и торопливые, у всех на груди висели стетоскопы, но движения их были суетливы и неуверенны.

— Справа, справа, ребята... — снова выкрикнул старик и поднял было руку, но она тут же упала.

— Ты не бойся, детка, — говорил седой человек, нежно проводя рукой по волосам сына, — все будет хорошо...

Николай Аникеевич сидел не шевелясь, остро чувствуя страшную хрупкость человеческого тела. Боже, это же чудо, что такой сложный механизм может хоть немножко, хоть чуть-чуть работать без поломки, без того, чтобы тут же не оказаться в маленькой комнатке со странным названием «Мужская смотровая».

Потом уролог, тоже молодой человек в белом хала-

те, не очень ловко, но решительно вогнал в него катетер, по трубочке потекла моча, и он сказал:

— Какая к черту анурия, пишут всякую ахинею, идиоты, почки дай бог каждому...

Николай Аникеевич почувствовал прилив жаркой благодарности к молодому человеку, к своим почкам и даже к моче...

Виктор Александрович Вахрушев лежал во второй кардиологии и оказался толстым человеком с бело-мучнистым больничным лицом.

— Вы ко мне? — спросил он Николая Аникеевича.

— Да...

Лицо Вахрушева начало было почему-то складываться в ироническую улыбку, но вдруг исказилось от боли.

— У-у, — он со свистом вздохнул сквозь сжатые зубы, помолчал несколько секунд, потом сказал: — Так и должно быть...

— Что? — спросил Николай Аникеевич, с брезгливой жалостью посмотрел на все еще напряженно нахмуренный лоб. О господи, какое счастье, что не он это лежит распятый на больничной койке, не его пронизывает боль.

— Так и должно быть, — уже тверже сказал Вахрушев. — Чужие люди приходят, а единственная внучка никак не может найти время навестить умирающего деда. Что поделаешь, современный баскетбол требует самых серьезных тренировок... Но хватит жаловаться. Вы по поводу экспертизы?

— Я...

— Я все передал Аркадию Семеновичу Падалко. Вернее, жена передала, когда это случилось. Закончить заключение я не успел, но кое-что написал.

— Простите, Виктор Александрович, но я вовсе не по этому делу. Я... Как бы вам это выразить пояснее? Видите ли...

— А кто вы, собственно? — строго спросил Вахрушев.

— Изъюров Николай Аникеевич. Я хотел спросить вас о покойном Василии Евграфыче...

— О ком, о ком?

Сердце Николая Аникеевича тоскливо сжалось. Не он. Зачем все это? Весь этот бред. И нелепые часы, и его детское любопытство вдруг показались ему здесь, в больнице, где отпадает все незначительное, ничтожными, не имеющими никакого значения.

— Автомеханик был такой, Василий Евграфыч... — глупо лепетал он.

— Чушь какая-то! — сердито сказал Вахрушев. — Никакого Евграфа Васильевича я не знаю. Чушь! Нонсенс.

— Простите, я, должно быть, ошибся...

— Должно быть! — фыркнул больной и снова поморщился. — Впрочем, все равно спасибо, что пришли. Отвлекли от моих мыслей... А от чего, между прочим, помер ваш автомеханик и какое он мог иметь ко мне отношение?

— Рак поджелудочной...

— Тоже дело, — одобрительно кивнул Вахрушев.

— Понимаете, вы, очевидно, не тот Вахрушев... Я искал через справочную...

— Не тот, — согласился больной. — Дерьмо я, а не Вахрушев. Утиль. Вторичное сырье. Профессор Вахрушев сдан в утиль. Нет, лучше так: сегодня ученики четвертого «бэ» класса сдали профессора Вахрушева на пункт приема вторичного сырья, получив взамен два раза по «Три мушкетера» и одну «Женщину в белом». Как, а?

— Да что вы себя хороните, Виктор Александрович?

— А это я со стариком играю. Показываю, что, мол, я готов. Может, он и не приберет пока что. Хотя старик, — Вахрушев глазами показал на потолок, — хитер. Неисповедим, как говаривали наши предки. И неглупо говаривали, заметьте... Сожалею, но ничего вам о вашем автомеханике сказать не могу. — Профессор закрыл

глаза и добавил: — О своем могу. Прохиндей изрядный.

— Всего наилучшего, — сказал, подымаясь, Николай Аникеевич. — Выздоровливайте.

Профессор ничего не ответил, лишь иронически сморщил нос, и Николай Аникеевич осторожно вышел из палаты.

Всю дорогу до Беляева его не оставляло ощущение, что это не он, солидный пятидесятипятiletний человек, ходил по чужим домам в поисках какого-то Вахрушева, а кто-то другой. Не мог он, человек, всю жизнь любивший четкость и аккуратность, метаться по Москве в поисках призрака, который совершенно ему не нужен. Быть того не могло. И не его подгонял детский какой-то зуд, давно забытое нетерпение.

Николай Аникеевич сидел в метро, и вдруг показалось ему, что смотрит он со стороны на знакомое лицо, которое выпячивает ему каждое утро щеки при бритье. Да не только на лицо. На всего себя, сидящего в вагоне метро с неизменным своим чемоданчиком на коленях. На старого дурака, который решил перед пенсией освоить профессию сыщика. Мегрэ из часовой мастерской.

Случалось и раньше, что ругал себя Николай Аникеевич, бог свидетель, было за что, но никогда не видел он себя так явственно со стороны. И ощущение раздвоения было неприятно, пугало. И пожилой дядя с застывшим невыразительным лицом под изрядно вытертым пыжиком совсем не походил на то привычное, уютное свое «я», к которому привык Николай Аникеевич. Почему-то этот новый Николай Аникеевич был старше, седее, меньше ростом и толще. И второй Изьюров, смотревший со стороны, все это почему-то замечал не без странного удовольствия, будто не себя принижал, а кого-то другого.

В таком смутном состоянии и добрался Николай Аникеевич домой. Ожидая лифта, глянул на часы. Без пяти восемь. И вдруг остро захотелось ему уснуть подняться

к себе до восьми, чтобы услышать тот колокольчик. И тут же, точно вызванный его желанием, открылся лифт и вознес его с побряхтыванием и перещелкиваниями реле на восьмой этаж. Зашарил судорожно по карманам в поисках ключа — только бы успеть до восьми.

Да что с ним такое творится, в самом деле? Всю жизнь всегда носил ключи в правом кармане пиджака, а тут вдруг засуетился. Успел-таки, вошел в тот самый момент, когда поплыл по темной квартире — Вера предупреждала, что поедет к сыну, — тонкий и прозрачный колокольчик. Как поющие и переливающиеся мыльные пузыри,плыли звуки по пустой темной квартире, вот-вот с тихим шорохом лопнут, исчезнут. И оттого казались еще трепетнее, беззащитнее.

Николай Аникеевич долго стоял в передней. Сердце глухо колотилось, тяжелое пальто давило на уставшие плечи. Но не было сил пошевелинуться. За стеной кто-то говорил: «Этого не может быть, сударь, я вам не верю», на кухне, как всегда, булькали трубы, выполаскивали свою хроническую ангину.

И прямо в пальто, не снимая мокрых ботинок, метнулся Николай Аникеевич к себе в комнату, в призрачном свете, что лился из окна, судорожно вставил ключ в часы. Крутится. И сразу соединился он опять в одного привычного Николая Аникеевича. Нет, дорогой мой, поправил он тут же себя, какого же, к черту, привычного, когда прошелся ты прямо в мокрых ботинках по польскому лаку, когда танцевал в пижаме вальс. Какого, к черту, привычного? Нет, товарищ часовщик, это вам такая тавтология, что привычным и не пахнет.

Ах, сбили его бесовские часы с панталыку, завертели старого дурака, заморочили голову хрустальным колокольчиком. А может, только помогли они ему выскочить из своего кокона? Может, всю жизнь стремился неосознанно встать из-за часового верстака, разогнуть спину и воспарить к чуду! Может, всю жизнь сидел в нем дурачок, что теперь одерживает над ним верх, таскает по

городу и крутит по комнате в мокрых ботинках. Ночь коротка, спят облака... и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука...

Когда в половине десятого пришла Вера, Николай Аникеевич, сам не зная почему, вдруг снял с нее пальто.

— Коленька, да ты... Тебя как подменили... — Верино лицо как-то странно задергалось, вот-вот заплачет. Но вместо этого улыбнулась испуганно.

Не баловала ее жизнь с тех пор, как умер муж. И за Николая Аникеевича, если уж говорить начистоту, вышла не по любви, а от одиночества. Какая там любовь в сорок с лишним. И вот теперь забытые какие-то чувства шевелятся в ее груди. Смешно и грустно, и плакать хочется, и страшно немножко, к добру ли? Ведь притерпелась, привыкла к сумрачному своему молчаливому часовщику, слова из него не вытянешь, скрытный, а теперь вроде подменили его.

— А я вам, Вера Гавриловна, ужин приготовил, пельмени под уксусом. Прошу вас. — Николай Аникеевич взмахнул рукой, приглашая жену на кухню.

«Может, выпивши?» — мелькнула тревожная мысль. Вообще-то не пил Николай Аникеевич, но кто знает, да нет вроде. Господи, был бы всегда такой, легкий да приветливый, кажется, что ж только для него не сделала. Словно снова девчонкой стала, словно заново жизнь начинать.

— Спасибо, Коленька.

Видел, видел Николай Аникеевич взгляды жены. Понимал. И себе удивителен, чего с других взять. И усмехнулся мысленно: не неприятны были ему эти вопросительные взгляды. Может, и раньше надо было быть таким... А каким? Ну, как бы сошедшим с наезженной колеи. Но нет, не столкни его эти часы, не выкини из привычного мира, и в голову бы ему не пришло, что таились в каких-то его душевных глубинах легкая ребячливая смешливость, неизвестный ранее жадный интерес к миру вокруг.

— Этого не может быть, сударыня, — вдруг сам не зная почему сказал Николай Аникеевич, — я вам не верю.

— Господи, ты прямо актер у меня...

А что, если сказать сейчас Вере о часах? Хотя что сказать? Он же уже просил ее раз попробовать завести пружину. Ну скажет он ей: «Вер, а эти часы идут без завода». — «Электрические, что ли?» — «Да нет, я же тебе говорю, идут сами по себе». — «Ну и что?» — «Как ну и что? Это же... этого же не может быть!» — «Как же не может, если идут?» — «Вот в том-то и дело, уважаемая Вера Гавриловна, что этого быть не может, а они идут». — «Ну и хорошо, чего ж тебе еще надо?» — «Как чего? Представь, в ваш магазин товары не завозят, а вы все торгуете». Ну, тут-то Вера наверняка усмехнется. Так не бывает. Бывает наоборот. Товар завозят, а покупатель его не видит.

Непросто это дело, чудо. Не каждому дано изумляться, ох не каждому.

Весь следующий день Николай Аникеевич сидел как на иголках. Что-то говорил ему сизый Бор-Бор, кивал в его сторону Витенька, и все мастера дружно смеялись, приходил Горбун просить четвертной до получки. Ксения Ромуальдовна записывала на культпоход в какой-то театр — все проплывало мимо, как на вращающейся сцене, и вовсе его не касалось. Оставался один Вахрушев, и было бесконечно страшно, до замирания сердца, до сосущей пустоты внутри, что и последняя ниточка вытянется так же легко, оборванным концом, не потянув за собой объяснения тайны.

На такси Николай Аникеевич ездить не любил, жалел деньги, но поймал себя на том, что второй раз за два дня поднял руку, когда увидел рядом зеленый огонек. Такси остановилось, и он сел назад. Только бы сердце так не колотилось.

— На улицу Руставели, — сказал он водителю, — это где-то около Дмитровского шоссе.

— Знаю, парк у нас там, — буркнул водитель, совершенно не похожий на свою карточку, которая была укреплена на щитке приборов.

Глава 6

Николай Аникеевич нажал на кнопку звонка и услышал тоненькое треньканье за обитой стеганым дерматином дверь. «Наверное, нет дома», — подумал он, и в то же мгновение дверь отворилась. Перед ним стоял маленький человечек в вельветовой коричневой пижамке и приветливо улыбался.

— Простите, — пробормотал Николай Аникеевич, — я хотел...

— Заходите, Николай Аникеевич, я знаю, что вы хотели. — Старичок сделал приглашающий жест рукой. — Давайте ваше пальто.

— Спасибо, — машинально сказал Николай Аникеевич, снял один рукав и вдруг окаменел. — Простите, как вы сказали?

— Я сказал, цитирую: «Заходите, Николай Аникеевич, я знаю, что вы хотели».

— Значит...

— Значит, — кивнул старичок и ловко стащил пальто со все еще неподвижного часовщика.

— Но я вас...

— А я вас — да.

— Но я вас... — промычал Николай Аникеевич.

— Ноявас, аявас, ноявас, аявас, — совсем не зло, а по-детски смешливо передразнил старичок. — Чтобы избавить вас, сударь, от ненужных сомнений, позвольте спросить: почему вы сказали мастеру Гаврилову, по кличке Горбун, что у вас нет денег, когда он попросил у вас четвертной? Ведь в кармане у вас были, если не ошибаюсь, сорок два рубля и мелочь. Мелочь я не пересчитал. Вот так, товарищ Изъюров. А теперь позвольте представиться: Виктор Александрович Вахрушев, подо-

кументам одна тысяча девятьсот седьмого года рождения. Но не будем стоять в передней, мой друг, прошу в покой.

Оцепеневший и онемевший Николай Аникеевич покорно прошел за старичком в вельветовой пижамке и очутился в самой обыкновенной комнате, заставленной самой обыкновенной, похуже даже, пожалуй, чем у него, мебелью. И вызвала эта комната мимолетное у него разочарование, потому что, пойдя за старичком, он весь сжался, подобрался, как перед прыжком в воду. Ко всему изготовился, избушку на курьих ножках увидеть, последовать за хозяином в вечернее мартовское небо, что предзакатно и предветренно багровело за занавесками, познакомиться с Василисой Прекрасной... А шагнул в обыкновеннейшую комнатку метров восемнадцати с беспородной безочередной мебелишкой и черно-белой «Весной» с отклеившейся верхней фанеркой. Вот этот отогнувшийся уголок, на который упал почему-то взгляд Николая Аникеевича, странным образом успокоил его. Нейтрализовал пугающие слова чистенького старичка, сорок два рубля, мелочь не пересчитал. Чепуха, быть этого не может. То есть в кармане у него действительно сорок два рубля, это он точно помнит, ведь платил только что за такси.

— Садитесь, садитесь, друг любезный, — почти пел старичок, порхая по комнате и прибирая номера «Советского спорта», которые лежали на столе, серванте и диванчике. — Чувствуйте себя как дома. Мы ведь с вами в некотором смысле коллеги, позвольте доложить вам, тоже работал я часовщиком.

— А где? — вежливо спросил Николай Аникеевич, чтобы поддержать беседу и не дать раскрутиться в голове колючим вопросам: откуда он меня знает? Кто это? Почему?

— О, дело давнее. Помогал я в свое время прекрасному одному мастеру, итальянцу. Ученейший был человек, доложу я вам, дорогой Николай Аникеевич.

— Итальянского происхождения? — зачем-то уточнил Николай Аникеевич.

— Ну конечно. Все итальянцы итальянского происхождения, это вы очень тонко заметили. В том числе и мой незабвенный хозяин и друг Джованни да Донди. Сколько лет прошло, а кажется, что только вчера закончили мы с ним сооружать необыкновенные часы, венец, можно сказать, его карьеры. Карьеры часовщика, я имею в виду, потому что, помимо часового дела, читал он лекции по астрономии в Падуанском университете, по медицине — во Флоренции. Представляете себе, а? Как бы нынче выглядел врач, который захотел преподавать одновременно астрономию и быть знаменитым, да, да, именно знаменитым часовщиком, а? Сейчас я заварю чай, любезнейший Николай Аникеевич, отличнейший, между прочим, чай, смесь цейлонского и красnodарского высшего сорта, очень рекомендую такую комбинацию... Да, так я говорил, что и врачом мой друг Джованни был отменнейшим. Судите сами: удостоился он чести быть избранным личным лекарем короля Карла Четвертого...

— Карла Четвертого? — тупо переспросил Николай Аникеевич. — Это когда же было?

— Ну-с сейчас прикинем... Чай горячий, осторожнее. Может, хотите рюмочку? Нет? Ну и хорошо, я лично не пью. Да, так когда же служил мой мессере да Донди у Карла? Так, значит, родился Джованни, если мне память не изменяет, в тысяча триста восемнадцатом, а умер на моих, можно сказать, руках в тысяча триста восемьдесят девятом. Был он тогда, я имею в виду период службы у Карла Четвертого, в расцвете сил, вот и считайте...

Вот и считайте. Вон оно в чем дело, содрогнулся внутренне Николай Аникеевич, и тоскливый животный ужас ледяным фонтанчиком брызнул на сжавшееся сердце. Вот они, часы без пружины и бесовский колокольчик, вот они, странные зигзаги настроения, ночные тан-

цы по комнате. Сошел ты, Николай Аникеевич Изъюров, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения, никогда не служивший личным врачом короля Карла Четвертого, с ума. Окончательно и бесповоротно. Собирайся, Коля, в гости к Кащенко. К тому шло... Жаль, жаль ускользающей жизни, Верочку жаль, удар для нее будет...

Но придет, принесет передачу. Не откажется. А может, откажется? Вот Валечка-покойница приносила бы. Всею жизнь. Уж в ней можно было не сомневаться. Ах, Валя, Валя, может, жила бы ты, не ушла так рано — и не цеплялся бы сейчас отчаянно за поручни последнего вагона. Да разве удержишься, когда тянет тебя страшная сила в глубокий темный колодец безумия. Сырой, склизкий, вонючий... Коллекцию жаль часов, быстро их распатронит сынок со своей воблой...

— Что с вами? — откуда-то издалека услышал Николай Аникеевич и почти что с неохотой, с тяжким усилием всплыл к поверхности колодца. — Что с вами, дорогой мой Николай Аникеевич? — спросил старичок и нахмурился. — Старый я дурак, воистину дурак, навалился на вас в первом же раунде. Позвольте вас заверить, что вы вполне в своем уме, в здравом уме, как говорили когда-то, в твердой памяти.

— Тысяча триста девятнадцатый... — тихо простонал Николай Аникеевич. Хотя и перевалился он через осклизлый край колодца на землю, но руки и ноги казались налитыми свинцом, и вот-вот снова сбросят его вниз, булькнуть не успеет.

— Если вы имеете в виду, любезный мой друг, год рождения Джованни да Донди, то это не тысяча триста девятнадцатый, а восемнадцатый. Вы выпейте, выпейте чаю и не волнуйтесь. Все в абсолютном порядке, смею вас заверить. Все о'кэй, как говорят сейчас в средней полосе России. Еще налить чаю? А часы, о которых я уже имел честь упомянуть в дебюте, так сказать, нашей беседы, были действительно необыкновенные. В те

ведь времена слова «часовых дел мастер» значили не совсем то, что ныне. Настоящий мастер не только и не столько ремонтировал часы, сколько делал новые. Своей чаще всего конструкции. Возьмите конфету, не стесняйтесь, они, между прочим, очень хороши к чаю. Я их весьма уважаю, весьма. Вот те, например, часы, что мы сделали с Джованни, были уникальны. Говорят, я, правда, точно не знаю, будто совсем недавно по чертежам, которые оставил Джованни в своей книге и которые, к слову, вычерчивал ваш покорный слуга, англичане построили копию. И будто копия эта хранится в Америке в известном Смитсоновском институте. И поверьте мне, уважаемый Николай Аникеевич, часы наши того стоят! Представляете, мы первые в мире применили медь и литую бронзу, а ведь до нас часы, если те грубые поделки можно назвать этим благородным словом, делались только из железа! А конструкция! А работа! Поверьте, многие достойнейшие люди считали наши часы чудом...

То ли помог Николаю Аникеевичу загнувшийся край небрежной фанеровки телевизора «Весна», то ли подняла его дух смесь цейлонского и краснодарского чая, а может быть, поддерживали старинные часы из литой бронзы — это хоть что-то знакомое, осязаемое, не развиденное, но почувствовал Николай Аникеевич живой прилив оптимизма: как-то увереннее держится он на поверхности и слушает безумные речи старичка в вельветовой пижамке.

— ...Судите сами: на шести циферблатах можно было увидеть часы, минуты, день, месяц, движения небесных тел. А ведь для астрологии, которой, кстати, опять начинают изрядно на Западе увлекаться, расположение небесных тел — это, можно сказать, нулевой цикл, основа основ. Вы уж простите старого хвастуна, ничего не могу с собой поделать. Люблю эти часы. Во сне, представляете, их иногда вижу. На семи гнутых ножках с шестью циферблатами...



— И вы... вы, так сказать... участвовали в их создании? — спросил Николай Аникеевич. Теперь, когда держался он кое-как на плаву, ноги невольно начинали нащупывать точку опоры. Может, псих вовсе не он, а суесловный старичок в вельветовой пижамке? В каком же это веке, он утверждает, что жил? Тысяча триста — это вроде четырнадцатый век?

— Не просто участвовал! Прodelал половину работы. И расчеты, и само изготовление, — с горделивой важностью сказал старичок и выпятил узенькую свою грудку. — Ну-с, само собой разумеется, был я тогда не Виктором Алексеевичем Вахрушевым, а Гвидо Кватроцелли, часовых дел мастером, весьма уважаемым и в гильдии, и в городе...

— В четырнадцатом веке? — уже с легчайшим сарказмом спросил Николай Аникеевич. С того самого момента, когда подумалось, что не он, а старичок в пижамке соскочил с катушек, он почувствовал к нему какую-то благодарную симпатию. Жаль, конечно, старый человек, а несет всякую околесицу, но хорошо, что не он ухнул в страшный промозглый колодец. И не надо поддевать его, решил Николай Аникеевич, просто спрошу. — Значит, в четырнадцатом веке?

— Конечно, — просто кивнул старичок. — Треченто! Секоло манифико!

— Да, да, разумеется, — поспешил согласиться Николай Аникеевич, хотя не знал, что такое «треченто» и «секоло манифико». — И сколько же вам лет, Виктор Александрович?

— О, этот вопрос сложный. Чтобы не пугать вас, скажу, что службу свою я начал в девятьсот четырнадцатом году, в Англии.

— В тысяча девятьсот четырнадцатом?

— Без тысячи, любезнейший мой друг. Без тысячи.

— Вы хотите сказать, в девятьсот четырнадцатом году? — уже совсем развеселился Николай Аникеевич. Даже и не жалко было теперь старичка, просто забавно.

— Именно это я и хотел сказать, товарищ Изьюров, — сказал старичок, чеканя язвительно слова.

— И выходит, что трудовой ваш стаж... — тут Николай Аникеевич уже совсем не мог удержаться и расплылся в веселейшей улыбке, — ваш стаж...

— Тысяча семьдесят шесть лет.

Пожалеть все-таки нужно было чистенького психа с тысячелетним трудовым стажем, но неприятна была Николаю Аникеевичу насмешливая надменность хозяйна, и так и не отыскал он в себе сострадания к нему. Собственно говоря, можно было бы встать и уйти от этого Вахрушева, но что-то удерживало его. Псих, конечно, но, с другой стороны, откуда он знал его, Николая Аникеевича, имя и то, что не дал Горбуну четвертной в долг. Гм... Да ведь не за этим он пришел, вдруг сообщил он, не за часами из четырнадцатого века, а чтоб разгадать загадку своих чассов.

— Вы не возражаете? — спросил хозяин и включил телевизор. — Хоккей сегодня. «Спартак» — «Крылья Советов». Болею, с вашего разрешения, за «Спартак». В мире нет другой пока команды лучше «Спартака»! «Спартак» впереди! — старичок тоненько захихикал и потер руки.

— Не интересуюсь, — сухо сказал Николай Аникеевич. Было ему глубоко безразлично, кто там метался в ледяной коробке и зачем.

— Жаль, я тогда выключу, — вздохнул Вахрушев.

— Да нет, нет, смотрите, я, пожалуй, пойду, Виктор Александрович. Другой раз. Рад, как говорится, с вами познакомиться.

— Да ладно валять дурака, — вдруг грубо сказал старичок и убавил громкость телевизора, — садитесь. Чего вы все вьетесь вокруг да около?

— Да я, собственно...

— А, черт, за красной линией...

— За красной линией?

— Это я о пасе. Отличнейший был пас, но принял его

Брагин за красной линией. Как бы выходил! Один на один! Ну да бог с ним. Так вот, любезный Николай Аникеевич, давайте для начала условимся, что и вы и я вполне нормальны и не страдаем расстройством психики. И вообще, тащить все необычное и непонятное в силосную яму безумия — признак ума трусливого и традиционно мыслящего.

— Но когда говорят, — вдруг разозлился Николай Аникеевич, — что у человека трудовой стаж больше тысячи лет...

— Это значит, что у человека трудовой стаж больше тысячи лет, — кивнул старичок, не отрывая глаза от экрана.

— Но это же невозможно! — застонал Николай Аникеевич. — Это только библейские патриархи по тысяче лет жили.

— Немножко меньше. До тысячи не дотянул никто. Так что вы правы. Человек не может даже прожить тысячу лет, не говоря уже о таком трудовом... О черт! Явная же подножка Шалимову! Простите. Да, не говоря уже о трудовом стаже. И вместе с тем мой трудовой стаж, как я вам уже говорил, любезный мой друг Николай Аникеевич, тысяча семьдесят шесть лет. Что это значит?

— Что этого не может быть.

— А если может?

— Не может, — тупо повторил Николай Аникеевич.

— Вот видите, — вздохнул старичок. — Не зря, видно, несколько раз за последние дни вам приходило в голову сравнение с колеей. Так вот, ваш ум, дорогой Николай Аникеевич, движется только по наезженной колее. И выскочить из нее вы, к сожалению, не можете. А ведь все так просто: вы не можете мне не верить: вы вошли, а я уже знал, кто вы, знал, что вы не дали Горбуну двадцать пять рублей в долг, хотя знать этого не мог. Ведь не мог же? Откуда мне, например, знать, что на ночной рубашке вашей второй супруги, уважае-

мой Веры Гавриловны, — кстати, по-моему, милейшая женщина, — на ее рубашке коричневые тюльпаны? А? Ну что вы так на меня смотрите? Или вы думаете, что я в моем возрасте... То-то же, друг мой.

Обычно это? Простите... А ведь мог Дорошенко взять эту шайбу. Запоздал с выкатом. Выкатываться надо было навстречу Лебедеву... Итак, обычным ли показалось мое заочное знакомство с вами? Нет, не обычным. Далее, я рассказываю вам, что жил в четырнадцатом веке, что стаж у меня более тысячи лет. Может человек жить столько? Не может. Ага, значит, псих. А странные, необычные знания мои? За скобки! Псих, псих, псих. Это колея. Но ведь так и рвется в голову другой вывод, от которого вы, любезный друг, усердно отбиваетесь. Если я живу больше тысячи лет, и это правда, а человек столько жить не может, то что это значит? — старичок дидактичным жестом поднял руку с вытянутым указательным пальцем. — Это значит, что я не человек.

— Не человек? — недоверчивым эхом повторил Николай Аникеевич.

— Угу, — небрежным таким, будничным наклоном головы подтвердил Виктор Александрович, не отрывая взгляда от телевизора. — Не человек.

Заорать бы, стукнуть кулаком по столу. Хватит! Хватит морочить голову, опутывать безумными своими речами, сумасшедший старик! Но удержал Николая Аникеевича теперь телевизионный экран. Так реально, так привычно носились по нему ледовые гладиаторы, так знакомо звучал голос комментатора, что вставали они надежной дамбой против потока безумия. «Шайба у Шалимова, он уходит вперед...»

И, держась взглядом за экран как за спасательный круг, чтоб не опуститься опять на страшное колодезное дно, спросил Николай Аникеевич:

— Ну, хорошо, вы не человек. Допустим. Но кто же вы? Кашей Бессмертный? Святой дух? — Николай

Аникеевич рассмеялся. — Святой дух, огорчающийся из-за пропущенной шайбы.

— Очень остроумно, — поджал губы старичок. — Еще одно прибежище слабых умов — высмеивание. Все, что непонятно, смешно. Камни падают с неба? Ха-ха-ха, суеверие. Не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца? Хи-хи-хи, даже идиоту понятно, что это глупость. Масса и энергия переходят друг в друга? Хи-хи-хи! И так далее, мой традиционный друг. Но будем серьезны. Тем более что начался перерыв. Итак, Николай Аникеевич, послушайте меня внимательно. И помните, что я не псих, как вы элегантно формулировали мысленно мое состояние. Помните, что все услышанное вами — сущая истина, ибо мы поднимаемся сейчас с вами над мелкой суетностью мира и не к лицу нам лгать друг другу.

Старичок замолчал и испытующе посмотрел на Николая Аникеевича. И показалось часовщику, что взор его проник в самую глубину его души, сделал ее огромной, гулкой и торжественной, как храм. И еще почувдилось, что трепетала в глазах старичка жалость.

— Вы не одни во вселенной. Многие смелые умы ваши давно уже приходили к этой мысли, но никогда никто не мог представить никаких доказательств ни за, ни против. Ибо бесконечно громадна вселенная, а Земля лишь крошечная пылинка, плывущая в бескрайнем космосе. Полет вашего духа всегда опережал ваши знания и умения, и не научились вы еще общаться с теми, кто ушел дальше вас. Это время придет, но оно еще не пришло. Еще рано. Вы юны, и ваше нелегкое детство еще не окончилось.

Мы же, обитатели более зрелых миров, давно объединились и следим за теми, кого сотрясают пароксизмы роста. Мы не шпионим, потому что шпионят, чтобы извлечь какую-нибудь пользу для себя. Нам не нужна такая польза, потому что мы никого никогда не завоевываем. Мы лишь изучаем, чтобы понять вас. Что-

бы к тому моменту, когда вы войдете в наш союз, мы были готовы. Вселенная бесконечна, бесконечен и разум, и нужно уметь перебросить мостки между цивилизациями, возникшими в разных уголках космоса. Не раз и не два мы убеждались, как невероятно трудно понимать друг друга. Даже на одной планете, в одной цивилизации, в одной стране, даже в одной семье два разума часто бьются в судорожных попытках понять друг друга. А когда встречаются существа, которых разделяют тысячи световых лет и миллиарды лет жизни? О, здесь не поможет просто знание языка, потому что можно и на одном языке не понимать друг друга.

Именно поэтому наш союз заранее изучает миры, которые еще не готовы к встрече с нами, чтобы мы, как более старшие братья по разуму, были готовы. Я говорю «старшие братья по разуму» без всякого превосходства, потому что, старшие по отношению к вам, мы младшие по отношению к другим. Эта братская чередa разума бесконечна, в ней нет ни начала, ни конца...

Старичок в коричневой пижаме смотрел на Николая Аникеевича, и в его глазах часовщик увидел такую бесконечную печаль, такую жалость, такое рвущееся к нему тепло, что что-то повернулось в нем, отпали все страхи и сомнения.

— Я — один из посланцев нашего Межгалактического центра изучения и связи, — продолжал Вахрушев. — Как я вам сказал, вот уже более тысячи лет я на вашей Земле. Больше тысячи лет я изучаю эту маленькую странную планету и чувствую, что еще бесконечно далек от понимания вас.

Вы нашли меня, дорогой Николай Аникеевич, потому что в руки к вам волею случая попали часы, поразившие вас необычностью. Эти часы, как вы должны были уже догадаться, побывали у меня. Я их купил за какую-то сущую ерунду перед самой войной, снабдил универсальным блоком...

— Универсальным блоком?

— Угу. Небольшая шутовинка, которая находится в барабане вместо пружины. Не буду говорить вам, как он устроен. Во-первых, это неважно, во-вторых, вы не смогли бы понять. Этот блок не только обеспечивает точный ход часов, он улавливает и передает мне мысли владельца часов.

— Значит, и тот, кто владел этими часами раньше, и Василий Евграфыч, и теперь я...

— Совершенно верно. Вы, конечно, хотите сказать мне, что это все-таки безнравственно, все равно что подсматривать в замочную скважину, и никакие возвышенные слова о космосе и союзе разумных существ не замаскируют этот факт. Так?

— Я не знаю, но...

— Так, так, дорогой Николай Аникеевич. Поэтому наше неизменное правило гласит, что изучение при помощи универсальных блоков может происходить только с полного согласия того, к кому этот блок попадает. Если бы вы не пришли ко мне, я бы сам пришел к вам.

— Значит, я должен жить, зная, что каждая моя мысль, каждое слово попадает к вам?

— Не только ко мне. Дальше. В наш Центр изучения и связи, в память наших машин.

Как он мог только что потянуться душой к старичку? Заманивал красивыми словами. Выставить себя напоказ? О господи, что он говорит, этот старичок, этот галактический шпион в вельветовой пижамке? Как можно жить даже не под постоянным рентгеном, а превратившись в стеклянного человека? Со стеклянной головой, стеклянными мозгами, стеклянным сердцем и стеклянной душой? И каждая твоя мыслишка, даже самая юркая, что проворными маленькими ящерицами вечно шныряют в голове, будет видна? Экспонатом стать?

Он вдруг вспомнил, как купил в прошлом году вазу из оникса с серебром прекрасной старой работы. Купил за четверть, да что там четверть, за пятую часть ее настоящей цены, обманув тучную обезноженную ста-

руху, сказал, что носил вазу в коммиссионный, что нашли в ней изъян и вообще не хотели принимать. Старуха доверчиво кивала, астматически, со свистом вздыхала, и при каждом кивке сквозь жиденькие седые волосы просвечивала розоватая кожица. Только на минуту вдруг остановилась, испытующе посмотрела на Николая Аникеевича и спросила:

— А вы меня не обманываете? Мне казалось, дорожка она должна стоять...

Николай Аникеевич возмущился, вспыхнул, предвкушение удачи окрыляло его. Зная, что рискует, сказал тем не менее обиженно:

— Как хотите. Если вы мне не доверяете...

— Почему не доверяю, — не очень убежденно вздохнула владелица вазы и со старицкой покорностью судьбе добавила: — Ладно уж... берите.

Нес Николай Аникеевич вазу и весь трепетал от отходившего охотничьего азарта, от жадной жадности. И трудно было сказать, от чего веселее текла кровь по его жилам, от удачной ли покупки или от ловкого, артистического обмана.

И еще раньше. Война. Учебный полк. Библиотека в районном городке. Жалкая библиотека в холодной хибарке. Облачка пара у рта. Библиотекарьша. Тонкий длинный нос. Синеватый. От холода. От недоедания или от незащитности. Грубые его объятия между стеллажами. Голова ее, прижатая к растрепанным «Сказкам» Пушкина, страх в умоляющих близоруких глазах. Быстрый, виноватый шепот: Коля, не надо. И его потом хвастливые, лживые рассказы товарищам, как целовала она его. И снова синий ее носик и слезы в глазах: зачем ты рассказывал? Как я буду теперь жить здесь? А чтоб другой раз не фордыбачилась, рассмеялся он. И это — через стекло? На выставку для всех? На всю вселенную? В машины ихние заложить, как он с бабой своей спит? Шутник этот посланец, однако. Ловок, ловок, ничего не скажешь. Ишь, паучишка кругленький.

— И вы хотите сказать, что я должен жить с этим вашим блоком, зная, что весь я насквозь открыт для вас? — недоверчиво спросил Николай Аникеевич.

— Вовсе не хочу. Поймите, дело это сугубо добровольное, зависящее только от вашей доброй воли. И покойный Василий Евграфович, и его друг Кишкин, который подарил ему перед смертью часы — все они совершенно добровольно оставили у себя блок.

— Еще бы, жалко, наверное, было часов...

— Не слишком благородная реплика, дражайший Николай Аникеевич, боюсь, она не делает вам чести. Тем более что даже в случае отказа, объяснил я им, часы все равно остаются. Вынуть блок и вставить пружину — это, согласитесь, для помощника Джованни да Донди пустяковое дело. В равной степени это условие относится и к вам. И у вас останутся часы, даже если вы откажетесь от блока.

— А старуха, Екатерина Григорьевна? — вскричал торжествующе Николай Аникеевич. — Столько лет держала часы после смерти мужа. Вы что, хотите сказать...

— Совершенно верно, — невозмутимо кивнул старичок седенькой своей аккуратной головкой.

— Что-о? И она знала о блоке вашем?

— Истинно так, любезный мой друг.

— Но... она же продала часы...

— Собиралась она съезжаться с дочерью и решила, что дочь не согласится жить с блоком.

— Еще бы...

— Екатерина Григорьевна знает свою дочь.

— И старуха, выходит, разыграла весь этот спектакль...

— Выходит, любезнейший Николай Аникеевич. Зная ее, могу засвидетельствовать, что далеко она не проста. Тонкого ума женщина. Необразованна, но умна. Как она сыграла роль темноватой пенсионерки, а? — старичок залился детским счастливым смешком. — Блестяще!

«Выходит, отделалась старуха от часов. Все-таки от-делалась. А я? Мне-то зачем блок?» — подумал Николай Аникеевич.

— А зачем мне этот блок ваш? Может, вы объясните? — недоумевающе спросил он.

— Совершенно как будто и незачем.

— А зачем Василий Евграфович и этот...

— Кишкин.

— И Кишкин. И старуха. Зачем они согласились?

— Мне кажется, я догадываюсь.

— Зачем же?

— К сожалению, не могу вам сказать. Это против правил. По правилам, мы никоим образом не должны стараться влиять на возможных обладателей блоков. Это сугубо личное дело каждого, которое может решать только каждый в отдельности, без какого бы то ни было воздействия. Как, впрочем, и любой нравственный вопрос. Нравственность, закачанная в человека под давлением, — это уже не нравственность. Тем более что человек — сосуд далеко не герметический и ничего под давлением сверх атмосферного в себе долго не удерживает...

— Разные бывают чудачки, — пробормотал Николай Аникеевич, думая о людях, которые по собственной воле согласились выставить напоказ тайники своих душ. Да что тайники, канализационную, можно сказать, систему. Всю дрянь, что выделяется в сердце. Которую не только что от другой цивилизации, от себя прячешь, наряжаешь в пристойные одежды. Ведь не думал я тогда, когда обкрадывал обезноженную астматическую старуху, что я именно обкрадываю ее, обманываю. Николай Аникеевич вдруг поймал себя на том, что впервые употребил по отношению к себе такие слова. Обманывали, надували, грабили клиентов, гребли под себя всегда другие. Например, Витенька с неподвижными прозрачными глазками змеи, Горбун, Бор-Бор. А он просто приобретал что-то более выгодно, менее выгод-

но. Более выгодная покупка, то есть приобретение вещи за часть ее истинной стоимости, была всегда приятна, наполняла его праздничным ощущением удачи, делала снисходительным к другим, которые не умели так ловко проворачивать дела и сидели всю жизнь сиднем на своей зарплате. Как, например, сын.

И вдруг, неведомо почему, не на суде, не на следствии, сказал себе, что обокрал ту тучную старуху с прелестной вазой из оникса в серебре. И крупно, словно в гигантскую лупу, увидел зачем-то он розовую кожу на старушечьем черепе, что просвечивала через реденькие, истонченные седые волосы. Обокрал и обманул.

Господи, слова-то какие. Мокрые, холодные, скользкие. Как жабы, прыгали они в его голове в тягостной чехарде: «обокрал», «обманул», «обманул», «обокрал».

Будь ты проклят, псих паршивый, посланец. Жил он хорошо, спокойно, уютно, можно сказать, жил, копейку всегда, всю свою жизнь зарабатывал, сына вырастил и сейчас помогал ему, тридцатилетнему байбаку, и покойницу Валентину Николаевну уважал, и Верушку никогда не обижал, и сыну ее Ваське тоже помогал. И вот является плюгавенький этот вечный жид с тысячелетним стажем, посланец, видите ли, других цивилизаций. Да не явился, а вломился в уютную его и аккуратную душу, все сдвинул, перекрутил, пустил этих жаб: «обокрал», «обманул». Да не обманул, не обокрал, черт побери! Просто не захотела она сама по коммиссионкам таскаться, вот и все. Испокон веку так было.

Нет уж, Виктор Александрович или Гвидо там какой-то! Не выйдет! Катитесь-ка, друг мой любезнейший, как вы изящно выражаетесь, к чертовой матери, в галактический свой центр. И так мне за вами в душе своей прибираться и прибираться, пока не вернешь все на место, пока не вытуришь склизких и холодных жаб. Нет уж, дудки!

Пardon, мсье. Ищите себе других для ваших бло-

ков. Кретинов на земле много, на всякое дело найти можно. Так-то.

Было у Николая Аникеевича ощущение, что все это он вслух сказал, выплеснул старичку в пижамке вельветовой прямо в лицо. Но то было лишь ощущение. Уж очень сильно kloкотало в нем. А на самом деле сидел он за столом перед чашкой остывшего чая и смотрел на не очень чистую скатерть. А старичок снова впился в телевизор, в мире нет другой пока команды лучше «Спартак». Николай Аникеевич вдруг разом успокоился. Снизил ему «Спартак» душевное давление. Верхнее и нижнее. А может, все-таки псих? Ах, как славно было бы, как приятно убедиться все-таки, что псих. Да не псих, вздохнул Николай Аникеевич. Если бы!

Ну что ж, надо подводить черту. Он зачем-то откашлялся, словно собирался выступить на собрании.

— Виктор Александрович, я, пожалуй, пойду.

— Счастливого пути, друг мой милый, — пробормотал старичок, на мгновение оторвавшись от телевизора.

— Так как мы договоримся с часами? Я за них шестьсот пятьдесят рублей...

— Да, да, я знаю. В высшей степени непохоже на вас. Совершенно несуразная цена.

— Бывает, случается, — вздохнул Николай Аникеевич, с неприязнью глядя на самодовольное личико старичка. Было что-то отталкивающее в дурацком интересе, с которым он прилип к телевизору. Тысяча лет, гм...

— Давайте договоримся так: вы подумаете день-другой, а потом мне позвоните. Сменить блок на пружину я вам смогу в любой практически вечер. Запишите, пожалуйста, мой телефон.

— Зачем? — грубо сказал Николай Аникеевич. — Считайте, что я уже решил.

— А вы все-таки подумайте, дражайший мой Нико-

лай Аникеевич, подумайте. Ну еще день поживете с блоком, другой, что изменится? Я ведь и так про старуху с ониксовой вазой знаю, и про библиотекаршу ту.

Николай Аникеевич почувствовал, что краснеет. Сразу стало жарко щекам и лбу. Вот сволочь. На мгновение мелькнула мысль: врезать по этой чистенькой ухмыляющейся роже как следует... Даже задышал он тяжело.

Нет, не дай бог. Этого еще не хватало. Да и не ухмылялся, пожалуй, Виктор Александрович. Наоборот. Жалостливо так смотрел. «Черт с ним, возьму телефон, лишь бы быстрее ноги унести отсюда, пока еще хоть что-нибудь соображаю».

— Давайте ваш телефон, — хрипло сказал Николай Аникеевич, вытащил ручку и записал продиктованный номер в потрепанную записную книжечку. Новую давно купить надо.

Не прощаясь встал, оделся и вышел на улицу. И старичок не попрощался, друг разлюбознейший, приклеил космический свой зад к телевизору.

Шел Николай Аникеевич по мартовской московской улице, похрустывал вечерним нежным ледком, едва народившимся на дневных лужицах, и показалась ему улица никогда прежде не виданной. И предзакатное фиолетово-багровое небо, и люди, и одинаковые дома — все вдруг представилось декорацией, ненастоящим.

О господи, совсем заморочил ему голову скверный старичок. Сидит как паук, разбрасывает вокруг свои шпионские блоки. И что самое отвратительное, находятся же идиоты вроде покойников этих Василия Евграфыча и друга его Кишкина с фабрики мягкой игрушки, которые по доброй воле навешивают на себя такой хомут.

Неприятны, неприятны были ему эти люди. И представлялись в виде скопцов каких-то: личики чистенькие, в запеченных яблочных морщинках, ханжеские, с поджатыми губками. Правильно люди говорили,

услужливо подсказала память, сектанты. Сектанты и есть. Неудачники. В жизни ничего не добились, вот и клюют жадно, любую приманку заглатывают, лишь бы пересортицу сделать с их жизнями. Была жизнь третьесортная, можно сказать, уцененная. А вдруг пожалуйста — высший сорт! Я не такой, как все, я другой! Я необычный! Велико ли дело, что всю жизнь в автомобильной яме просидел, когда ныне я избранный, несу, видите ли, в себе тайну! Хомут, Василий Евграфович, а не тайну. Душу свою превратили вы в экспонат, товарищ Кишкин. Мол, наблюдайте, кому делать нечего.

Из двора выехало такси с зеленым огоньком, и Николай Аникеевич поднял руку. «Совсем, старый дурак, охренел, — подумал он, садясь рядом с водителем, — каждый день раскатывать стал».

Глава 7

Дома застал он Веру Гавриловну с сыном.

— Здравствуйте, Николай Аникеич, — протянул руку Вася, — я вам не помешаю?

— Господь с тобой, Василий Александрович, — улыбнулся Николай Аникеевич. И вообще-то был ему паренек симпатичен, а сегодня прямо обрадовался, с удовольствием поглядел на унылую его физиономию. «Хоть отвлекусь от белиберды всякой». — Как дела?

— Да ничего вроде.

— Все тужишь?

Легкий румянец выступил на молодом лице, прокатились желваки. Вера испуганно оглянулась от плиты — материнская телепатия.

— Я ж вас просил, Николай Аникеич...

«Бедный маленький дурачок, — подумал Николай Аникеевич, — из-за чего кручинишься? Ну, обманула тебя какая-то вертихвостка из города Риги, спасибо ей скажи! Сколько в мире девушек, одна другой лучше, и как мало отпущено дней для радости». Странные

были эти мысли для Николая Аникеевича, потому что жалеть он не любил. Не столько жалость, сколько раздражение вызывали в нем те, кто страдал. Слабые люди. А сегодня словно теплая волна приподняла его, закачала и приблизила к Васе.

— Чудак-парень, — как можно мягче сказал Николай Аникеевич. — И чего ты все переживаешь? Ты не сердись. Я тебя обидеть не хочу...

— Да я не сержусь, — слабо усмехнулся Василий, и желваки скатились с юных его щек.

Вера снова обернулась от плиты, два взгляда короткой пулеметной очередью: любящий, жалеющий — сыну и благодарный, нежный — мужу.

— Как насчет обеда?

— Уже, Коленька, подаю, — весело пропела Вера.

— А что, может...

— Есть, хозяин! — еще веселее отозвалась жена и ловким движением плотно, но без стука поставила на стол бутылку «Экстры».

Не ошибся, не ошибся он в Верушке, с удовольствием подумал Николай Аникеевич, хорошая баба. Не избалованная. И парень скромный.

Все эти мысли были привычны, приятны, у каждой было свое уже определенное место, и заставили они забыть Николая Аникеевича о часах, старичке в вельветовой пижамке, о блоке и космическом центре, интересующемся его, Николая Аникеевича, внутренним миром.

— Садись, Василий, и ты, Верочка, хватит крутиться.

Николай Аникеевич неловко отодрал язычок у водочной заветки. Бутылка запотела и приятно холодила руку. Он налил аккуратно, не пролив ни капли, в три рюмочки, поднял свою.

— За твое, Василий Александрович, здоровье. Чтоб веселей смотрел!

— Спасибо, Николай Аникеич, да я ничего...

Чокнулись, выпили. Приятным летучим теплом ото-

звалась рюмка. Все хорошо, твердо, по-хозяйски, сказал себе Николай Аникеевич. Все устроено в мире правильно. А старуха с астматическим свистом, которую ты обдурил безбожно? Николай Аникеевич нахмурился. Такое было впечатление, что не он это, а какой-то гадкий голосочек осведомился язвительно про старуху.

— Ты что, Коленька? — спросила Вера.

— Что я?

— Нахмурился вдруг... — сконфузилась она.

Проклятая эта лысая старуха, век бы ее не видать с ее вазой. Влезла, испортила настроение свистом своим астматическим. «А вы меня не обманываете?» — «Обманываю. Конечно, обманываю, а ты как думала, старая дура? Не двести, как я тебе даю, а кусок как минимум. И никакого дефекта в твоей вазе нет».

И Вера тоже хороша, засматривает испуганно. Будда он, что ли, какой-то, чтобы смотреть на него.

— Может, еще по одной? — робко спросила Вера.

И было это на нее непохоже. Чувствовала, бабьим своим чутьем чувствовала, что идет в душе мужа какое-то опасное окисление.

— Спаиваешь, супруга? — хотел пошутить Николай Аникеевич, но спросил как-то тяжко, чуть ли не всерьез спросил. И добавил, чтобы не нарастал пауза: — Что, Вася, нового?

— А что нового, Николай Аникееич, может быть? На новый объект переходим.

— А у нас импортная косметика была, — сказала Вера Гавриловна, — ужас сколько народу набежало.

— За косметикой? — недоверчиво спросил Николай Аникеевич.

— Так ведь особая помада. Деф-цытная!

Как ведь старается его развеселить верная жена. Даже специально произнесла на дурацкий манер: «Деф-цыт...»

— Господи, и как это могут люди давиться из-за какой-то паршивой помады?

— Ничего ты, Коленька, не понимаешь. Ты и представить не можешь, что такое помада для женщины...

«У тучной старухи губы были слегка подкрашены», — с ненавистью подумал Николай Аникеевич и зло сказал:

— Мажутся...

Кончали обед молча, и молча Василий пошел одеваться.

— Обожди, Вась, — сказал Николай Аникеевич, — зайдем-ка на секундочку ко мне в комнату.

— Для чего? — спросил Вася и снова, как при встрече, слегка покраснел.

«Врешь ведь, — недобро подумал Николай Аникеевич, отпирая ящик стола, где лежали у него деньги. — Врешь ведь, прекрасно ты, друг мой любезный, знаешь, зачем я тебя позвал». Он взял двадцатипятирублевую бумажку — он всегда давал столько, — но неожиданно для себя добавил еще одну.

— Держи.

— Спасибо, Николай Аникеевич, не надо.

— Ладно, ладно, дело молодое, пригодятся.

— Честно, не надо, — еще больше покраснел Василий.

— Это почему же?

— Да не надо... Понимаете, я из-за этих денег лишний раз к вам зайти стесняюсь... Как будто тем самым напоминаю...

Хороший парень, не жлоб, не давится от жадности. И он, Николай Изъюрков, может это оценить. Видела бы это старуха. Фу ты, черт, опять лезет она в голову. На, старая карга, смотри, не жмот он, не задушит-ся за копейку!

Он добавил к двум двадцатипятирублевкам еще две бумажки и сказал:

— Не обижай меня, Вася. Не надо. Не хочешь себе, купи что-нибудь сыну, отправь в Ригу.

— Спасибо, — сказал Василий, и голос его дрогнул.

То ли от неожиданной сотни, то ли от мысли про сына.

Николай Аникеевич долго сидел перед часами и ждал, пока стрелки не подойдут к двенадцати. Вера уже спала, дом затих, только где-то этажа через три плакал ребенок. А он все сидел и смотрел на поцарапанный циферблат. Было на сердце нехорошо, томно. И не думалось ни о чем, а как-то сумбурно, отрывочно выныривали перед ним то та далекая, забытая библиотечка с распятым на «Сказках» Пушкина лицом, то незнакомые Василий Евграфыч и Кишкин, недоступные оба. Не такие, как давеча, со скопческими личиками и поджатыми губами, а почему-то гордые, далекие. Проплыла в своем кресле седая старуха с розовой лысиной, успела просипеть: «Вы меня не обманули?» И эхо: «ма-ну-ли...» А ведь мог бы выйти Брагин один на один...

Николай Аникеевич покачал головой, встал, подошел к шкафу и осторожно достал вазу из оникса. Поставил перед собой на стол. Три окованных серебром кружка из камня — самый широкий внизу — на серебряном стержне. Редкостная вещица. Под светом настольной лампы камень казался теплым, живым.

Зазвенел колокольчик, поплыл хрусталь по комнате. Тоненький, тоненький, кукольный, сказочный, чистый, прозрачный. И сжалось сердце Николая Аникеевича. Бот его знает, почему оно сжалось, почему вернулись на глаза слезинки. Что с тобой творится, Николай Аникеевич, что с тобой, Коля? Так все было стойко в жизни, так славно катился он по своей колее... О господи...

За стеной, не за нынешней, за той, довоенной, коммунальной, жили две сестры. У одной из них — кажется, работала она уборщицей в архитектурном институте — было двое детей. Мальчик и девочка. Как их звали? Нет, не вспомнить. Она ходила в их же двести сороковую школу, на два класса старше, а он учился

в техникуме. Их тетка кашляла. Была у нее астма. Как у старухи. Ночью она начинала давиться.

Он просыпался иногда от ее мучительного хрипа — перегородка была тонкой — и с ужасом слушал, что происходило за стеной. Страшно было ему не столько от всхлипывающих стонов больной, сколько от злого шепота девчонки: «Чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла». А еще страшнее было, что никто ей не отвечал, хотя никто за стеной не спал, он слышал это по их движениям. И еще страшнее от того, что и сам молил: сдохни, сдохни, дай спать, не мешай.

Зачем он это вспомнил? Почему? Никогда, кажется, не вспоминал этот злой, колющий шепот, а сейчас вдруг вынырнул он из запасников сознания. Зачем?

Смутно, смутно на душе. Заснуть бы быстрее...

Утром сказал он Бор-Бору, что у него поднялось давление, что пойдет в поликлинику, а сам поехал в Лихов переулочек. Нарочно вылез из троллейбуса на остановку раньше, решил пройти пешком. Шел как в тумане. Точно ведь знал, что идти не должен, что потом изгрызет себя за свое безумие, но шел. Кругом весна света, темнеет асфальт в прогалинах, воробьями скачут ребятишки с портфелями, а он бредет в тумане, в сплошном молоке цвета оникса.

А все началось с Пытляева, со старой лисы, с тавтологии его. «Ну ничего, — подумал Николай Аникеевич, — ты у меня подождешь своего каретника. На том свете дождешься за то, что испортил человеку жизнь наглым своим звонком. Тавтология». Из-за него, из-за него входит он сейчас в пыльный подъезд, из-за него нажимает на кнопку вызова лифта. А ведь еще не поздно. Надо всего-навсего повернуться и выйти из подъезда на улицу, где пригревает весеннее солнышко. На солнышко, от которого разглаживаются наморщившиеся за зиму лица. Не инвалид, слава богу, не калека. Сам может повернуться и выйти. На своих ногах. Никто его на цепи не тянет. Так и сделает сейчас, по-



вернется и выйдет. Обязательно повернется и выйдет. Он вошел в лифт. Четвертый, кажется. На стенке лифта крупно было написано мелом «Дурак». О нем, истинно о нем.

Дверь долго не открывали, и у Николая Аникеевича мелькнула было надежда, что старуха умерла, но в это же мгновение послышались тяжелые медленные шаги.

— Кто там? — Это из-за двери. Боится.

— Николай Аникеевич Изъюрлов. Я у вас вазочку недавно купил.

Кряхтенье. Щелканье замков, засовов. Старуха. С чего он взял, что пользуется она помадой?

— Простите, что побеспокоил... — почему-то заискивающе. Почему?

Старуха молчит. Огромна, недвижима, опирается на палку. А на конце палки резиновая нашлепка. Зачем это замечать?

— Я к вам по поводу вазочки...

Словно проснулась старуха, шумно, по-коровьи вздохнула.

— Что это я вас в коридоре держу, проходите...

— Видите ли, — проямлил Николай Аникеевич, — я заплатил вам за вазочку двести рублей... — Он замолчал, не зная, как продолжить. Старуха медленно, осторожно вздохнула и выжидающе посмотрела на Николая Аникеевича. О господи, как же тяжело бывает вымолвить самые простейшие слова... Тягостное недоумение: зачем это все?

— Ну и что? — спросила наконец старуха. — Еще один дефект нашли?

Николаю Аникеевичу показалось, что про дефект сказала старуха с вызовом, с тайной подковыркой, намекая, что не очень верит и в тот дефект, на который он ссылаясь, сбивая цену.

— Нет, — сказал Николай Аникеевич, — в вашей вазочке дефектов нет.

Сказал и остановился на мгновение, словно ожидая аплодисментов от космического старика и отдавание чести Солдатом, чьи шаги вот-вот должен он был услышать за дверью.

— Я в этом не сомневалась, — медленно кивнула старуха.

— Так зачем вы мне отдали такую вещь за две-сти рублей, когда цена ей по меньшей мере раз в пять больше? — зло, визгливо закричал Николай Аникеевич. Из-за нее, безмозглой этой астматички, и творится вся эта тягостная нелепость.

— Не знаю... — просипела старуха и опустила глаза.

— Не знаю, не знаю! А не знаете — так и не лезьте! Не знаю! Вот, пересчитайте, — Николай Аникеевич вытащил пачечку купюр, перехваченных тонкой аптечной резинкой, и бросил старухе на колени. — Здесь восемьсот рублей.

Старуха не сделала и движения, только медленно подняла голову и посмотрела на Николая Аникеевича.

— Легче стало? — вдруг спросила она. — Отпустило?

— Что? Кого отпустило?

— Да никого... Ну, что ж, спасибо...

«Ну где же ты, посланец с тысячеletним стажем? Доволен? Недешево обходится мне твой галактический хомут, недешево». Но накалял себя Николай Аникеевич напрасно, потому что испытывал странное опустошение в себе, не лишенное некой горькой сладости. Он встал и вдруг неожиданно для себя сказал старухе:

— Спасибо.

Жаль, до слез было жаль Николаю Аникеевичу восьмисот рублей, не рубль ведь и не два. Выкинул, можно сказать. Открыл окно и выпустил в мартовский солнечный денек четвертными голубями. Летите, голуби, летите. И что взамен? Зыбкое, смутное, непривычное чувство. Гордости? Какая, к черту, гордость, выть хочется, а не гордиться. Спокойствия? Куда уж спокойнее без

восьми сотен, дальше некуда. И все-таки, все-таки плескалась где-то на самом доньшке души какая-то нелепая приятность, ощущал в себе скрипучую какую-то чистоту, как будто взбирался мальчишкой по крутому Сандуновскому переулку после бани...

Позвонить, что ли, Виктору Александровичу, чтобы приехал вечером и вытащил проклятый этот блок из часов? Он нашарил в кармане двухкопеечную монетку и вошел в автомат. Нет, не отвечает.

Но интересно все-таки, почему и Василий Евграфыч и Кишкин с фабрики мягкой игрушки добровольно оставили у себя блок? Может, находили какое-то даже удовольствие, выставляя свою душу напоказ? Нет, некрасиво он подумал. А в чем же тогда причина? В этом вот летучем ощущении правильности, детской чистоты?

Оглянулся, нет ли киоска Мосгорсправки. И надо же, подsunул случай, прямо через улицу. И через пять минут ехал Николай Аникеевич на фабрику мягкой игрушки. И не спрашивал себя зачем, не терзал, а просто ехал, погруженный в оцепенение.

— Простите, — промямлил Николай Аникеевич, входя в бухгалтерию фабрики, — вы мне не подскажите, кто тут у вас, так сказать, ветераны?

— Чего? — спросила тоненькая девица со злым птичьим личиком.

— Понимаете, — еще более сконфузился Николай Аникеевич, — я ищу людей, кто бы помнил Кишкина, Ивана Федоровича Кишкина... Он у вас работал...

— А зачем? — уже с любопытством спросила девица.

— Ну... как вам объяснить... Я собираю о нем сведения...

— А давно он уволился?

— О, он умер...

— Умер? А я думала, вы из милиции, — разочарованно сказала девица. — Вы тогда с Клавдией Васильевной поговорите. Вон та женщина, у окна. — Она

встала, чтобы показать Клавдию Васильевну, и Николай Аникеевич увидел, что она беременна.

— Кишкин? Иван Федорович? — переспросила Клавдия Васильевна, отрываясь от вычислительной машинки. — Иван Федорович? — переспросила она и посмотрела на Николая Аникеевича. — Так ведь он давно умер...

— Я знаю, знаю, — торопливо сказал Николай Аникеевич, — я просто хотел спросить, может, вы помните его... ну, хотя бы в нескольких словах, какой он был человек...

— Да на что ж вам? — Клавдия Васильевна посмотрела на Николая Аникеевича, пожала полными, как у его жены, плечами.

— Говорят, человек он был очень хороший...

— Хороший? — усмехнулась Клавдия Васильевна, замерла на мгновение, устремила куда-то в стену невидящий взгляд, еще раз вздохнула. — Хороший? Да вы садитесь, подвиньте стул. Да, работала я с Иваном Федорычем. Зам главного он был перед тем, как заболел. Хороший! — в третий раз повторила она. — Да таких людей нет больше! Понимаете?

— А все-таки, какой он был?

Клавдия Васильевна выпрямила спину, одернула синюю кофточку и поправила на голове высокий старомодный шиньон, сказала строго:

— Святой был.

— Как святой? Он что, верующий был?

— Святой, — упрямо повторила Клавдия Васильевна.

— Но все-таки...

— Знаете, многие могут доброе дело сделать. Но делают его как на сцене. Только что не раскланиваются. Потому что знают: сделал доброе дело. И гордятся соответственно. Чего далеко ходить, — строго сказала Клавдия Васильевна, — возьмите меня. На Восьмое марта принесла матери своей кофточку. Импортная.

Гэдээрдовская. Бежевенькая такая. Заранее купила. Даю старушке. Ахи да охи. Радостям нет конца. Всплакнула даже. И я радуюсь. Что я такая хорошая дочь, что не забыла мать-старушку, денег не пожалела. Понимаете?

— Да, да, конечно, — торопливо поддакнул Николай Аникеевич.

— Так вот, Иван Федорович не через себя за людей радовался или переживал. Через людей же. Понимаете?

— Ну да, — не очень уверенно ответил Николай Аникеевич.

— Чистый был человек, — твердо сказала Клавдия Васильевна. — Одно слово: святой. Или было раньше такое слово: праведник. Мухи не обидит... Эх, да что говорить, разве таких теперь встретишь... — Клавдия Васильевна безнадежно махнула рукой и нажала с размаху на кнопку вычислительной своей машинки, отчего в окошке вспыхнула оранжевая циферка.

— Спасибо, — сказал Николай Аникеевич, встал, аккуратно поправил стул, попрощался и вышел. То ли солнышко пригрело по-весеннему, то ли показалось ему, но захотелось вдруг снять тяжелое пальто.

Ну, святой, праведник, думал он, идя по улице. Мало ли какие люди встречаются. Один получает удовольствие от одного, другой — от другого. Так было и так будет. И ни при чем тут блок Виктора Александровича. Нет, не убедили его рассказы о святом бухгалтере Кишкине. Не убедили. Каждому свое. Пусть приезжает посланец в пижамке своей вельветовой и снимает чертов блок. Во сколько же обернулся ему приборчик? Восемьсот — за вазочку, рублей четыреста переплатил Екатерине Григорьевне, с чего началась вся смута. Это уже тысяча двести. Василию ни с того ни с сего лишние полсотни всучил, будто тянул его кто-то, на такси, считай, как минимум рублей пятнадцать просадил. Неплохой приборчик. Тысячу триста меньше чем за неделю. Недешево ныне святость обходится, Кишкину тому и Василь Евграфычу попроще было. Когда за душой

ни копейки, святость сподручнее проявлять. Дешевле. Это уж точно.

Ладно, случился в жизни зигзаг, спишем его в убытки. Не обеднеет от потери тысячи трехсот рублей. На его век останется. И от лихого наскока на душу свою тоже оправится. Выдержит. Не такое выдюживал.

А что встретился он с посланцем, что ж, встретился так встретился. Считай, что и не встретился, потому что какая ж это встреча, если о ней и рассказать нельзя? Николай Аникеевич представил себе, как за чаем, мимоходом, невзначай, бросает фразочку, что посетил он посланца внеземной, как говорится, цивилизации. Что, не верите? Да он на улице Руставели живет, Вахрушев Виктор Александрович. Ей-богу, у него еще телевизор «Весна», и фанерка верхняя по углам отклеилась. Чего смеетесь? Не верите? За «Спартак» болеет в хоккей. Ну, чего ха-ха да хи-хи? В мире нет другой пока команды лучше «Спартака»! Поняли? А приступил он к работе в средние века, в Англии. «Айвенго» читали?

Так-то вот. И ведь не только это в мастерской никому не расскажешь, ни одной живой душе. Пройдет какое-то время — и сам не поверишь, что было это с тобой не во сне, а наяву. Врач Карла Четвертого... И бог с ним, с Карлом Четвертым, с Виктором Александровичем из Центра изучения, с дурацкими часами, что начинают бить точнее всех хронометров. Переколотится как-нибудь и без них, без хаоса, от которого голова идет кругом. Перебьется, твердо повторил он сам себе и зашагал по улице. Твердо, неторопливо, солидно, как всегда.

Глава 8

Николай Аникеевич сидел и ждал приезда Виктора Александровича, чтобы тот вынул из его часов драгоценный свой блок. И опять — в который раз уже за последние дни! — смутно томила душа его. Кажется, решил окончательно и бесповоротно, чего ж еще?

Да и решать-то, строго говоря, было нечего. Не думать же всерьез о жизни под стеклянным колпаком, насквозь просвеченным универсальным блоком лукавого старичка. Уж убедился, кажется, чем пахнет такой рентген. Просвечивание, говорят, вредно в больших дозах. Для кармана — это точно. Тысяча триста — другой за год столько получает.

Пробило восемь. Восемь хрустальных колокольчиков проплыли по тихой квартире. Печально, прощаясь.

Ехал Коля Изъюров перед войной в пионерлагерь на теплом Азовском море. Под Бердянском. Кто-то из родных помог устроиться. Собирался — трепетал, вибрировал весь от возбуждения. Первый раз из Москвы, первый раз один, первый раз к далекому морю. Ничего не соображал, как в горячечном каком-то бреду. И просыпался ночью, и в то самое мгновение, когда выныривал из темного сна на поверхность бодрствования, в ту самую неуловимую секунду знал уже, помнил, что случилось с ним что-то необыкновенное, славное, праздничное. И ночная их комната с длинной белесой полосой на потолке от уличной лампы трепетала от предвкушения радости.

А когда оказался он в поезде и за пыльным двойным стеклом медленно уплыла мать с растерянным лицом, то и вовсе замер, оцепенел, потому что стояла в дверях купе высокая девчонка, и рыжие волосы светились нимбом вокруг ее головы.

— О, какие вы тут собрались, — низким ленивым голосом сказала она, — давайте знакомиться: Тася Горнянская.

Потом она сидела у них и читала на память стихи Есенина, которого никто из их купе не знал. Не в чести был тогда Сергей Есенин.

Была на Тасе голубенькая футболка с короткими рукавами, и загорелые ее руки золотились пушком, а на лице горели веснушки. Несколько веснушек. Тася смотрела на него, на Колю Изъюрова, и тихонько, со

странными паузами, словно задыхаясь, говорила: «И с копной волос... твоих овсяных... отоснилась ты мне... навсегда...»

Стучали колеса, звучал Тасин низкий голос, незнакомые стихи извлекали из юного его сердца сладостную печаль, и мир был прекрасен, и впереди был длинный-предлинный праздник, и так переполняла его острая радость, что сделалось ему грустно, и на глазах неведомо откуда навернулись слезинки. И Тася посмотрела на него, смутно улыбнулась и зачем-то покачала головой. Что хотела сказать?

Острым было счастье, страшным казался сон. А вдруг унесет, отнимет, подсунет взамен хрип астматички за стеной. И не спал. Не заснул ни на секундочку. Все слушал, слушал праздничный стук колес, и неясные мечты плыли быстрыми толчками, в такт колесам.

Тенью ходил за ней в лагере, онемевший и обездумевший от любви. И заговорить не решался, и не ходить не мог. А она словно не замечала его. И был он так далек от насмешек товарищей, от неловких советов вожакого (ты бы, Коля, на турнике научился лучше подтягиваться), что ничто не задевало его. Не долетали насмешки до вершины, на которой он был один.

Похудел, почернел — лежит где-то карточка. И на ней маленький Кашей с прямо поджатыми губами.

И лишь перед самым концом срока взяла она его молча за руки и увела к морю. К вечеру потянул холодный ветерок, напоенный томящим легким запахом дыма, но нагретый за день песок дюн источал тепло. Она положила руку ему на плечо — рука едва уловимо пахла потом, сеном. Читала снова стихи. «Не бродить, не мять кустов багряных...»

Потом повернула голову, внимательно посмотрела на него. Зеленоватые с коричневыми крапинками глаза были печальны.

— Ничего-то ты, малыш, не понимаешь, — сказала она и поцеловала его в губы.

Больше ни разу не подошла она к нему, а в Москве даже не видел ее больше никогда. Не искал.

Тренькнул звонок, и Николай Аникеевич пошел к двери. Сейчас откроет и увидит Тасю в голубенькой с белым футболке, обтягивающей ее юную грудь. Но в дверях стоял Виктор Александрович, в аккуратной дубленочке с пуговицами, похожими на маленькие футбольные мячики.

— Вечер добрый, друг мой любезнейший, — расцвел в улыбке.

— Проходите, — вздохнул Николай Аникеевич. Нет, не сладкая боль, воспоминание о той боли все еще теснило грудь, и жаль было расставаться с ним.

— О, какая коллекция! — запел Виктор Александрович. — Какие часы! Это, если не ошибаюсь, английская работа?

— Да, — кивнул Николай Аникеевич, подводя гостя к великолепным часам красного дерева с бронзой. — Восемь мелодий играют. Один мой знакомый, профессор Пытляев, три тысячи предлагал мне за них. Не отдал.

— И правильно сделали, друг мой любезнейший, абсолютно правильно. Замечательная коллекция. А где же ваша Вера Гавриловна?

— А вы и ее имя знаете? — с неприязнью спросил Николай Аникеевич.

— А как же, как же, милый друг, я все о вас знаю.

— Больше не будете, — грубо сказал Николай Аникеевич. — У вас, я вижу, инструментов с собой нет?

— Не захватил.

Николаю Аникеевичу показалось, что старичок как-то странно ухмыльнулся. Что эта ухмылка должна, интересно, означать?

— Вот инструменты, берите, что вам нужно.

— Благодарю, — сказал Виктор Александрович. — Вы разрешите? — Он снял пиджак, неторопливо повесил на спинку стула и остался в синеньком джемперке.

И вдруг стало Николаю Аникеевичу страшно. Вот сейчас вынет он свой блок, прощайте, любезнейший мой друг, и исчезнет навсегда. И исчезнет хрустальный буратиний колокольчик, исчезнут сомнения, мотания по Москве в такси в поисках следов святых из бухгалтерии, остановится карусель в его душе, все успокоится, станет на место. «Сосиски будешь?» «Нет, четыреста дорого». «Да что вы, Гарик, побойтесь бога, разве можно такую вещь ставить за семьсот?» «Хватаем мы с директоре мотор и мчимся к этим птичкам». «Сосиски будешь?» «Борис Борисович, ну что вы мне все время такую сложную работу подсовываете?» «Спасибо, коллеги, это что? Чернильный прибор? Уходящему на заслуженный отдых?» «Сосиски будешь?» «Только на спине?» «Не разговаривайте, больной. Инфаркт — это не шутки». «Сосиски... хотя доктор не велел...» «Сынок, распродавать будешь коллекцию — не торопись...» «Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь нашего товарища... честного труженика...»

И все, друг мой любезнейший Николай Аникеевич Изъюрков. И все дела. И не нужно будет ни сосисок, ни вазы из оникса с серебром за двести плюс восемьсот.

Ну а если нет? Что тогда? Тоже ведь сосиски понадобятся. Но зато будет вальс в шесть утра в мятой пижаме. Зато придет, может быть, Тася Горянская. Зато жить будет страшно и весело. Непредсказуема станет жизнь. А можно ли жить, зная, что не задернуть шторы за юркими, шустрыми мыслишками? Так ведь никто его не попрекнет его маленькими тайнами. Какое дело неземному этому существу до его расчетов с астматической старухой? И подавно там, в Центре, на другом конце вселенной? Да, но от знания, что ты не один, сам ты станешь судить себя, другая появится точка отсчета. Что? Точка отсчета? Ага, вон что, оказывается, имел в виду покойный автомеханик Василий Евграфыч... Вот оно в чем дело. Точка отсчета.

Как, как решиться? Спросить совета у Виктора Алек-

сандровича, который сидит неподвижно и смотрит на него с жалостью?

— Нет, дражайший мой друг Николай Аникеевич, ничего я вам не скажу. Ваш поединок это, только ваш.

— А... сколько еще у вас... блоков у людей?

— Извините, и это тайна. Ничто не должно воздействовать на вас, даже косвенно. Ваш это бой, только ваш и ничей другой.

— Но точка отсчета? — крикнул Николай Аникеевич. — Она же не моя!

— Иллюзия, милый друг. Уголовные кодексы никогда еще не служили точкой отсчета для души. Кто бы вам ни установил, где душевный ноль и где кипеть должно, только вы можете принять или отвергнуть эту калибровку. А приняв, вы тем самым делаете ее своей. Чужой, друг мой разлюбезный, нравственности не бывает. Чужой бывает только уголовный кодекс.

— Так что же делать? — не крикнул уже, застонал.

— А вы уже сделали.

— Что сделал?

— Вы выбрали.

Встрепенулся, посмотрел Николай Аникеевич недоуменно:

— Выбрал?

— Конечно, — кивнул старичок. — Сомнения — это уже выбор.

— И вы...

— Я его знал, — пожал плечами старичок. — Потому и явился без инструментов.

— Вы знали, что я соглашусь оставить у себя блок? — недоверчиво спросил Николай Аникеевич. — Как же вы могли знать, если каких-нибудь полчаса тому назад я сам этого не знал?

— Знали, — кротко улыбнулся старичок.

— Что знал?

— Что оставите блок. И не спорьте, любезнейший мой друг. Просто многие постоянно играют сами с собой

в эдакие кошки-мышки. Вы уж простите меня за сентенцию, но люди никого так охотно не обманывают, как себя. Ну а где сам — там, естественно, и другие. В чем, в чем, а во лжи люди, я заметил, альтруисты.

«Кто знает, может, он и прав, — подумал Николай Аникеевич. — Интересно, а другие как, сразу приходили к решению или, как я, терзались?»

— По-всякому, — ответил посланец на мысленный вопрос Николая Аникеевича, и Николай Аникеевич несколько не удивился. — Одно могу вам сказать: отказываются от блоков, как правило, сразу, соглашаются же после долгих сомнений и борения в душе. Честь имею, любезный мой друг, ибо ловлю себя на том, что слишком расположен к задушевым беседам с вами, а это тоже против наших правил.

— А это, часовщик ваш итальянский...

— Мессере да Донди?

— Он тоже?

— Конечно. Всего наилучшего, любезнейший мой друг. Хотя это и против правил, позвольте пожать вам руку с чувством...

— С чувством? — глупо перепросил Николай Аникеевич.

— Это был славный бой. Все три раунда. Хотя, как я уже сказал, в исходе я не сомневался с самого начала. Прощайте, разлюбнейший мой друг, прощайте.

Закрыв тихонечко за собой дверь — и как не было. Даже дверца лифта не хлопнула. В окно, что ли, вылетел посланец. А может, и впрямь не было его?

Но поплыли тут по пустой тихой квартире хрустальные колокольчики. Что за черт? Взглянул на часы: без двадцати девять. На свою «Омегу» — тоже без двадцати, и бьют как-то странно, как бы через раз.

И обострившимися своими чувствами догадался вдруг: прощается с ним Виктор Александрович Вахрушев, Гвидо... Последний такой привет.

Светлая печаль охватила его. И гордо было за Коль-

ку Изъюрова, и холодила сердце неизвестность: сможет ли? Своими руками взвалил на себя ношу... Зачем? Дядя Лап, конечно бы, не понял. Для него только в колесиках интерес был. Тетя Валя Бизина — шипанула бы: «Врешь ты все, вреш-ш-шь». Мать? Никогда она, бедная, ничего не знала. «Двух пеньюаров, Коленька, как будто не хватает».

Встрепетала душа Николая Аникеевича, рванулась к маленькой той женщине с испуганными глазами и острыми худыми плечиками. «Мама. А что ж тебе бог твой дал?» — «А тебя, Коленька...»

А Тася Горянская? Поняла бы, наверное. И точно. Стоит в дверях, рыжий нимб дрожит над головой. И запах юного пота и сена. «Не бродить, не мять кустов багряных...» Поняла бы. Точно поняла бы.

А жена-покойница? Поняла бы. Не поняла бы — поверила. Не сомневалась никогда в нем, кроткий ангел. «Ты лучше знаешь, Коленька».

Сын? Не скажешь. А если и скажешь — не ответит. Разве что к вобле: «Риточка, как ты думаешь?» А та губы узкие подожмет: «Контакты с внеземными цивилизациями еще не установлены. Это общеизвестный факт. И я не думаю, что начнут они с Николая Аникеевича...»

Понял вдруг старый часовщик, что получил своеобразный инструмент для измерения людей, вроде мерки для колес. Вставишь человечка — и сразу видно, поймет или не поймет странный крест, что взвалил на себя неизвестно во имя чего. Тоже ведь своего рода точка отсчета.

«Нет, не лги, — строго поправил себя. — Известно. Это только кажется, что тяжело, а на самом деле легче...»

Послышались за стеной позывные «Времени», и покатались, зазвенели драгоценные его хрустальные колокольчики. Два, три... пять... девять...

— Ну что ж, гражданин Изъюров, — громко сказал Николай Аникеевич, — назвались груздем...

— Товарищи, — сказал Бор-Бор и подмигнул всем, — сегодня мы провожаем на пенсию нашего ветерана Николая Аникеевича Изъюрова. Позвольте мне от имени всех наших мастеров преподнести вам, Николай Аникеевич, этот маленький наш дар. Витенька...

Витенька, в свою очередь, попросил:

— Диретторе, на выход!

Вдвоем они внесли в комнату часы. Большой бронзовый орел держал в свирепом клюве цепь, на которой висело ядро с циферблатом.

— Вы, так сказать, как орел... — пробормотал диретторе, и Николай Аникеевич подумал, что постарел Горбун, постарел. Мешки под глазами, обрюзг... Спасибо, друзья, за подарок.

Часовщики что-то говорили, острили, а Николай Аникеевич слабо улыбался. Хорошие, простые люди, с маленькими слабостями, маленькими несовершенствами, но не злые. Нет, не злые. Они даже добрее, чем сами думают. Опять поднимали тосты, смеялись, и вдруг услышал Николай Аникеевич слово «праведник». Кто произнес его? Ага, Витенька. Без усмешки, твердо, не спуская с виновника торжества немигающих своих прозрачных глаз.

Нет, друг Витенька, не праведник я. Просто помог мне случай выскочить из наезженной колени и заново выбрать себе точку отсчета.

И чего Веруша расчувствовалась, слезинки на глаза повесила? Ну, ходил человек на работу, а теперь не пойдет. И все дела.

Вечером, когда установил Николай Аникеевич бронзового орла на место, раздался телефонный звонок.

— Николай Аникеевич? — голос был густой, незнакомый. — Добрый вечер, друг мой любезный...

Один только человек на свете говорил так. Даже не человек...

— Виктор Александрович, — охнул часовщик. Пять лет не слышал любезного этого друга. «Жив еще», — подумал, и тут же мысленно усмехнулся. Тысяча лет стажу... Но бас-то откуда?

— Он, он, только, с вашего разрешения, я теперь не Вахрушев Виктор Александрович, а Коляскин Иван Сергеевич, одна тысяча девятьсот сорок пятого года рождения.

— Что?

— Ничего не поделаешь, подходил уже Виктор Александрович мой незабвенный под восемьдесят, внимание к себе привлекать начал: то сестра забежит из поликлиники, не дал ли одинокий старец дуба, то тимуровцы, или как они теперь называются, позвонят: не надо ли купить аспирина. Ну-с, чтобы не затруднять общественность, пришлось все-таки дать этого самого дуба.

— И... И вы...

— Разумеется, друг любезный мой. Не могу же я жить вечно. Годы поджигают. У нас тут все-таки не Абхазия, надо и совесть знать.

— Так как же...

— О, это, так сказать, секрет фирмы. Не буду обременять вашу совесть. А то вдруг проговоритесь где-нибудь, представляете, что с паспортным начальством стало бы? Впрочем, я звоню вам, разлюбезный Николай Аникеевич, по делу. Теперь, когда вы знаете о моих маленьких переменах в жизни, нам нужно было бы поговорить...

— А где вы, Виктор... То есть, простите, Иван... Иван...

— Сергеевич. Я, собственно, внизу, из автомата у булочной.

— Ну и прекрасно. Подымайтесь.

Николай Аникеевич сказал жене, что придет товарищ по делу, и стал ждать. Но ждать не пришлось, потому что в дверь тут же позвонили. Николай Аникеевич

открыл и увидел крупного человека с бородой и усами, с легкой проседью.

— Вы... — смешался Николай Аникеевич.

— Он самый, — заговорщицки подмигнул бородач и прошептал: — Бывший Виктор Александрович.

— Но что это я, проходите... Сюда...

— Я помню, помню. Вот это и есть подарок новоиспеченному пенсионеру? — Бородач рассматривал орла. — Очевидно, сами же часы и выполняют роль маятника? Гм, оригинальная конструкция.

— Реставрировал я раз такие. Самое трудное — подобрать период колебаний... Хотите чего-нибудь? Я-то сыт и пьян с проводов.

— Спасибо, я только что поужинал. — Бородач осторожно опустился в креслице и пристально посмотрел на Николая Аникеевича. — А вы молодцом, молодцом... Словно и не прошло пять лет с того разговора нашего...

Никак не мог привыкнуть Николай Аникеевич к массивному человеку в тяжелом толстом свитере и густому его басу. Поймал себя на том, что высматривает, ищет в незнакомце легкого чистенького старичка, незабвенного, как он говорит, Виктора Александровича Вахрушева.

— Ну-с, как жили вы, друг мой разлюбознейший, я вас не спрашиваю. Знаю. Все знаю. Даже и то, что Витенька назвал вас сегодня на банкетике праведником. И не шутил, заметьте. А уж если Витенька такое определение человеку дал, есть, значит, за что.

— Да оставьте, Иван Сергеевич... Всякую ерунду повторяете... Какой я, к черту, праведник, в самом деле? Ну разве что не украл, не убил... Но этого для праведности ох как мало.

— Не скажите. Заповеди — дело серьезное. Конечно, очень им уголовный кодекс помогает, но уголовный кодекс пока еще на движения сердца не распространяется, а вы эти заповеди и сердцем, так сказать, блю-

дете. Ладно, ладно, друг мой любезнейший, не скромничайте.

«Странное дело, — думал Николай Аникеевич, — что старичок тот Вахрушев, что бородач Иван Сергеевич — оба они были какие-то неопределенные. Никак не определишь, что за люди. И говорят как будто умно, и слова русские, понятные, и пощупать их можно, а какие-то они... как духи... бесплотные какие-то...»

— Истинно, истинно так, — улыбнулся бородач. — Истинно так, разлюбезнейший Николай Аникеевич. Очень точная мысль. Так ведь и не человек я. И сейчас и в предыдущих моих обличьях.

Сочно смеялся Иван Сергеевич, со вкусом. Поскрипывало креслице под мощным телом.

— К сожалению, пока представиться вам в истинном, так сказать, образе я не могу, но надеюсь, что очень скоро смогу. Если вы, разумеется, согласитесь на мое маленькое предложенье. Маленькое — это, конечно, шутка. Кокетство, так сказать. Не маленькое оно, милый друг. И даже может показаться оно вам тягостным и странным. Впрочем, эти слова уже лишние. Как и тогда, решать будете только вы. Новоиспеченный пенсионер Николай Аникеевич Изъюров. Можете вы выслушать меня?

— Я это и делаю, Иван Сергеевич.

Снова почти забытая сосущая пустота внутри. Страшная и веселая. Последней клеточкой своей чуял: снова придется выскочить из своей колеи и снова придется искать решения, обшаривая все тайники души.

— Хорошо. Тогда слушайте внимательно. Вчера я узнал, что возвращаюсь в Центр. Срок моей земной командировки подходит к концу, осталось лишь передать дела, как говорят у вас...

«Жаль, жаль, еще один уходит, — подумал Николай Аникеевич. — Да уж притерпелся, к сожалению, за последние годы, за всю жизнь, к постоянным уходам друзей и знакомых. Даже содрогаться при артиллерийском

этом огне перестал. Еще взрыв, еще один. Перелет, недолет — и прощайтесь, товарищи, гроб опускается. А потом — дымком из высокой трубы. В атомном, так сказать, состоянии».

— А... кому же? Дела передавать?

— Хотелось бы вам.

— Мне?

— Именно, друг мой любезный. Вам. Но должен вас сразу предупредить, что предстоит вам экзамен...

— Экзамен?

— Две недели дается вам, уважаемый Николай Аникеевич, для подробнейшей инвентаризации вашей души. Две недели будем мы следить за этой инвентаризацией с особым вниманием, ибо кое-что, признаюсь вам честно, пока еще вызывает у нас некоторую настороженность...

— Но я...

— Не торопитесь. Вы изменились, изменились необыкновенно, но к посланцу нашего Центра особые требования, и мы хотели бышний раз убедиться, что не ошибаемся в выборе. Надеюсь, я не обижаю вас, друг мой любезный? Получаете вы на время экзамена некие новые для вас способности: одним усилием вашей памяти или воображения вы сможете оказаться в том месте и в том времени, куда бы вы хотели попасть. Ну, например, если память мне не изменяет, в прошлом году вы отдыхали в Ялте. Так?

— Да...

— Отлично. И чтобы чувствовали вы себя уверенней, отправляйтесь-ка туда не со мной, а с более привычным вам Виктором Александровичем.

С неуловимым шорохом кто-то начал быстро раздвигать стены комнатки, стремительно отъехал стол Николая Аникеевича, и вдруг ярко брызнул свет.

Бесшумно развернулось перед ними огромное полотно, по которому плавно катились зеленоватые волны. Подальше на якоре стоял серый военный корабль, а к

пирсу порта подходил высоченный по сравнению с ним бело-черный лайнер. Ветер доносил с него обрывки развеселой курортной музыки.

И под ноги уже подсунули им асфальт набережной, а на ней — толпы вываренных в зное, распаренных курортников.

— Некультурно, папаша, одеты, — сказал высоченный молодой парень с длинными волосами и обнаженным коричневым торсом. Вокруг талии у него были завязаны рукава зеленой рубашечки, а сама рубашка с изображенным на ней бородатым чьим-то угрюмым лицом свисала на ягодицы неким приспущенным стягом.

— Ах, пардон, — засуетился неведомо откуда взявшийся старичок Вахрушев, — действительно, что это я, совсем рехнулся, в пижаме, да еще теплой.

— Перебьетесь, — нисколько почему-то не удивясь, грубовато сказал Николай Аникеевич. — Я когда первый раз после войны на юг попал, все в пижамах ходили. В сатиновых.

— Не знаю, не знаю, я этого не одобряю. Будем одеты как все. А то еще дружинники прицепятся, а какие документы я им представляю? У меня даже и командировочного предписания о поездке в вашу солнечную систему нет. Да и вы в своей жатке в минуту запаритесь. Впрочем, если мы скоро вернемся в Москву... Вы как насчет шашлычка?

— Неисправимый вы человек, — засмеялся Николай Аникеевич, — до шашлыка ли?

— Как хотите, — почему-то обиделся Вахрушев, строил гримасу и превратился снова в могучего Ивана Сергеевича, сидящего в родной квартирке Николая Аникеевича с выплаченным полностью паем.

— Вот так, — с некоторой самодовольностью сказал Иван Сергеевич. — Экзамен будет состоять из двух частей: о первой мы уже договорились, а вторая — письменное сочинение.

— Да вы что...

— Не пугайтесь, никаких там образов Евгения Онегина как представителя не нужно. Просто запишите несколько своих мыслей, и вся недолга.

— Не знаю, — неуверенно вздохнул Николай Аникевич, — насчет мыслей как-то...

— Итак, встретимся через две недели...

— Но куда же мне... так сказать... путешествовать? Этим вашим способом?

— А это дело ваше, друг мой разлюбезный. Выбор — это-то и есть часть экзамена. Но ни слова больше. До свиданья.

И исчез. Был ли, не был?

— Коленька, — послышался из-за двери голос Веры, — что это, знакомый твой ушел? А я только тут кое-что приготовила.

— Спасибо, Веруш, торопился человек.

— Телевизор будешь смотреть?

— А что там?

— «А ну-ка, девушки!» Идем.

— Включай, я скоро приду.

«А ну-ка, девушки!» А почему нет? Когда живешь с тайной, самое трудное — совладать с гордыней, так и рвущейся черт знает из каких душевных глубин. Ах, вы гордитесь, что у вас новая мебель? Да что мне ваша югославская стенка, когда я — око и уши внеземной цивилизации! Даже не цивилизации, а союза цивилизаций. Ну, сравни, сравни, что важнее: ты вот хвастаешь, что был в туристической поездке в Венгрии, озеро Балатон видел, а я, если хочешь знать, владею часами, которые приводит в действие неслыханный и невиданный универсальный блок...

Ох, как же трудно было все эти годы выкорчевывать из себя хвастливую гордыню. Кажется, цемент застывший и тот легче было бы отковырять ногтями. Порой начинало казаться: невозможно это вообще. Тысячи поколений предков, да что предков — обезьян — били себя в барабанные груди: мы лучше всех.

Даже отчаяние охватывало: не выковырять. Кишкин помог Иван Федорович и Василь Евграфыч. Думал: не может быть, чтобы человека праведником назвали, который хвастовство из себя не вылушил. Потому что хвастовство — это презрение к другому.

Медленно, по крупинкам выламывал из себя. Смотрел на Витеньку, вколачивал в себя: ты ж воротишь нос от его амурных рассказов не из-за нравственности какой-то необыкновенной, а потому, что в глубине-то души завидуешь. Сам в донжуанах никогда не хаживал, стало быть, в свист их, в улюлюканье. Но, конечно, не потому, что завидуешь, это себе сказать трудно, а из-за морали. Из-за морали улюлюкать куда как приятнее. Правое дело делаешь, ату их, негодяев, развратников!

Но выжег в конце концов из себя зависть и недоброжелательность. Трудно, не сразу, но научился смотреть на людей светло. Но зато, когда научился, открылся перед ним новый мир. Люди-то, оказывается, лучше, когда на них не через грязь свою смотришь, а открытыми глазами...

А вот теперь нужно удержаться от нового приступа гордыни. Становлюсь я, братцы, чрезвычайным и полномочным... этим... посланником. Иного, так сказать, мира. Да нет, не того, а иного. Почему я? Стало быть, знают, кого выбирать. А если серьезнее, то потому, что близко к святости подошел я. Вот-вот, последняя зараза сидит в сердце. И добротой, оказывается, хвастаться можно. Обыкновенной маломальской порядочностью. И отсутствием хвастовства, оказывается, можно хвастаться... Нет, далеко не праведник и не святой он. Ошибся Витенька. Нет в душе ангельской чистоты. Так, кое-какой порядок удастся поддерживать. И то только ценой повседневной уборки. Каждый день трешь и вытряхиваешь душу, а на завтра, глядишь, опять дрянь какая-нибудь появляется... И откуда только...

Никак не мог решиться Николай Аникеевич еще разок посмотреть, что за дар оставил ему бородатый Иван Сергеевич. Сам не понимал, что удерживало. Нет, не страх, конечно, что-то другое.

Но подумал почему-то о матери и так же неожиданно, как накануне очутился на ялтинской набережной, так и сейчас вдруг вошел в комнатку, от которой сжалось сердце: два окна, четырнадцать квадратных метров, кровать материна с темными дубовыми спинками с шарами, у одного бочок стесан, стол, шкаф фанерный светленький и его матрасик на низеньких козелках. Господи, совсем и забыл, что было на матрасике такое покрывало: синее с оранжевыми полосками. Ну, переведи взгляд на стол. Помнишь клеенку? С дырочкой почти в центре? Ну, смелее, смелее, чего ты родной матери боишься.

И правда — сидит с вечным своим карандашиком, только ошибся он, не на огрызке газеты, а на старой его тетради считает свои пеньюары и полотенца. Господи, да какая же она маленькая, да какая же ссохшаяся, да как же редки поседевшие волосы... Подняла глаза, улыбнулась светло.

— Ты, сынок?

— Я, мам.

— Экий ты у меня стал солидный, Коленька. Это что, в вашем времени такие костюмы носят?

— В нашем времени?

— Ну суди сам, сынок. Тебе по виду... ну, лет шестьдесят, а я умерла, когда тебе двадцать шесть было, точно, в пятидесятом, а ты у меня в двадцать четвертом родился. Это сколько же выходит? Лет тридцать с лишком прошло... Да ты не смотри так жалостливо, я рада, что ты такой... солидный у меня... все, видно, у тебя хорошо сложилось. Женат ты, сынок?

— Да, мам, первая жена, правда, умерла. Да я с

ней познакомился, ты еще жива была, только болела уже...

— А дети есть?

— Сын. Да уж и внучка, твоя, стало быть, правнучка. Оленька.

— Ты не обижайся, что я носом хлюпаю. Я всегда на слезу слабая была. Просто жалею, что не дожила... Что ж я сижу, совсем ума решилась, может, чаю попьешь?

— Спасибо, — вздохнул Николай Аникеевич. — Ты мне вот что скажи: любила ты меня?

Подняла глаза изумленно, слабо улыбнулась:

— А кого ж мне еще было любить? Ты ж у меня один был...

— А почему ж я тебя не любил?

Вот, оказывается, для чего втолкнула его память в старую их четырнадцатиметровую комнатку. Вот, оказывается, что давно тяжко ворочалось в самых дальних тайниках памяти. Вот, оказывается, чего боялся, почему никак не решался даром воспользоваться.

— С чего ты взял, Коленька, господь с тобой! Да ты ко мне очень даже славно относился.

— Не обманывай. Я лучше знаю.

Всю жизнь прятал от себя, но раз уж посмотрел памяти в глаза, чего крутить?

— Ну что ты, Коленька, что ты, родимый. Такой уж закон вечный. Ничего ты мне не должен. Что я тебе дала, не мне возвращать ты должен был. Своим детям. И голову себе не забивай, и не думай. Ну, ты прости, мне бежать надо в парикмахерскую, в перерыв я выскочила. Потом еще надо сготовить. Николай скоро придет.

— Николай?

Ах да, это же он... Прощай, мама, прощай. Спасибо, что простила.

Сошел не спеша по темной лестнице с выщербленными ступеньками и вышел к Варсонофьевскому переулку. И тут же увидел довоенный, давно забытый длинный

«линкольн» с вытянутой для прыжка собакой на радиаторе. Выезжал с асфальта переулка на булыжник Рождественки. Варсонофьевский переулок!

...Самокат состоял из доски, в задний паз которой врезался шарикоподшипник. Передний подшипник крепился к вертикальной доске, которая служила рулем. Особенно ценились самокаты на крупных подшипниках, но такие были редки, и по большей части в ход шли подшипники мелкие.

Разгонялись обычно от самой санчасти, отталкиваясь одной ногой. Самокат набирал скорость в мелькании ног, в грохоте подшипников по асфальту. В токе ветра в лицо. И лихо вылетал на Рождественку. Но Рождественка была в булыжнике, и нужно было перед самым концом асфальта переулка притормозить и лихо заложить крутой вираж.

У Кольки Изъюрова самоката не было. Продавали их иногда ребята, но и денег у него не было. Начинал было несколько раз канючить у матери, но она откладывала неизменный огрызок желтого карандаша, которым подсчитывала неизменные свои пеньюары, и смотрела на него так, будто просил он деньги на яхту или поездку в Патагонию.

Самокат снился ему почти каждую ночь. На средних шарикоподшипниках, с тормозом сзади, из струганых гладких досок. Прожилки досок этих видел, запах ощущал. И отталкивался, отталкивался, летел вниз в торжествующем свисте, быстрее всех, и все ребята и девчонки замирали в немом восхищении. Даже Лидка. Даже Принц.

И такое отчаяние охватывало его, когда открывал утром глаза и хмурая действительность останавливала его стремительный полет, что не раз морщил нос и моргал, сгоняя бессильные слезинки.

Раз надумал: попросит, чтобы продал ему самокат Принц. Скажу: «Принц, ты не беспокойся, я деньги отдам, ты не беспокойся...»

Родители Принца привезли ему из-за границы велосипед. Необыкновенное хромированное чудо на красных шинах, с ручками-тормозами и фирменной табличкой, на которой были изображены три ружья. Еще у него был патефон и — по смутным слухам — пластинки какого-то Лещенко. Алик Слон, Принцев прихвостень, клялся, что пластинок много, но что все они запрещенные, поэтому Принц дает слушать только надежным людям.

— А чего там на них? — не выдержал раз Колька.

— Ну, разные... — пожал плечами Алик Слон.

— А все-таки?

— Не могу сказать, дал слово.

— Да врешь ты все, — зло сказал Колька. Очень ему хотелось, чтобы Слон действительно наврал и никакого Лещенко у Принца не было. Хватит с него одного велосипеда с тремя ружьями, на котором он давал покататься только Слону. Ну и Лидке Чарушиной, конечно.

— Врешь, — презрительно фыркнул Слон. — Кто ты такой, чтобы тебе врать? Карапет влюбился в красотку Тамару, ты, душа лубезный, совсем не под пару... — диким голосом вдруг запел Слон. — Понял? Или вот. — Он закатил глаза и завыл: — Вино любви неда-а-а-ром на радость людям дано-о-о, в крови пылет пожаром... Врешь!

Сказать было нечего. Еще один рубчик на израненную душу Кольки Изъюрова. Рядом с рубцом, который пролег через его сердце тогда, около кинотеатра «Метрополь», когда увидел Принца и Лидку Чарушину. Нет, с Чарушиной у него, у Кольки, быть, конечно, ничего не могло. Не могло у него быть ничего с такой красавицей. Но жили они в соседних подъездах, и уже по этому географическому праву обменивался он с ней иногда словечком, когда подкарауливал ее в момент выхода на улицу. Часами наблюдал в окно, пока со сладким замиранием сердца не видел ее фигурку, выходя-

шую из парадного. Пулей скатывался по лестнице и только в двери тормозил, чтобы выйти и случайно столкнуться: «А, Лид, как дела?»

— Ничего, — кивала она, равнодушно глядя сквозь него.

Но и этот равнодушный взгляд наполнял его трепетным восторгом. Рядом, она была рядом! Ему, ему сказала «ничего»!

И вот он шел от метро и около «Метрополя» увидел Лидку под ручку с Принцем. Был на ней коричневый берет со шнуровкой, который он никогда раньше не видел. Нарочно впился взглядом он в этот берет, чтобы не обжечься о счастливое смеющееся Лидино лицо, доверчиво повернутое снизу вверх к красной губой роже Принца. Нет, не роже. Видел, знал, что и Принц красив был, высокий, голубоглазый, в шапке светлых кудрей.

Пара! Красивые, уверенные, избранные. Далекис, недоступные, другие. Почему-то вспомнил, что на воротнике бобрикового пальто у него проплешина здоровая, отчего и носил всегда воротник поднятым, чтобы скрыть ее. А тут посмотрел на них и опустил воротник. Сдался? Или гордыня то была своеобразная?

И к этому Принцу, неслыханно одаренному судьбой, надумал подойти Колька Изъюрков. Не может же один человек иметь все, а другой — ничего. Это же несправедливо. Не откажет, продаст самокат.

Долго ловил момент, пока наконец не увидел Принца у санчасти. Стоял, опершись задницей о седло, и разговаривал со Слоном. Никак ноги не шли, трусил, но в ушах стоял ночной самокатный полет, и решился наконец.

— Привет, ребя, — сказал он небрежно, но сам почувствовал, как фальшиво и натянуто прозвучал его голос. Не ответили, только кивнули. «Не продаст», — с тоскливой уверенностью подумал он, но отступать было поздно. — Принц, может, продашь мне самокат, ты не беспокойся, я деньги отдам...

— Давай вали, — буркнул Слон. Он стоял рядом с Принцем, рядом с велосипедом на красных шинах, стоял на виду у всего переулка и не хотел делить ни с кем сладостного мгновения.

— Ну чего ты на него взъелся? — сказал Принц. — Ладно, продать я тебе его не продам, все равно денег у тебя нет, а покататься дам. Мне пока не надо.

И испытал Колька Изъюров такой прилив рабской любви, такой униженной благодарности, что получил вместе с самокатом еще один рубец на сердечке. Еле удержался, чтоб не стать на колени...

И стыдно, именно сейчас нестерпимо стыдно стало Николаю Аникеевичу за бедного того мальчугана. Рванулся на Варсонофьевский и очутился рядом с Принцем и Аликом Слоном.

— Здравствуйте, ребята, — сказал Николай Аникеевич, — вы, конечно, меня не узнаете?

— Простите, — пожал плечами Принц, вглядываясь в шестидесятилетнего плотного человека в коричневом, в полоску, костюме и коричневом же гладком галстуке.

— Нет, — эхом вторил ему Алик Слон.

И смотрели оба на него почтительно. Да нет, не из-за возраста, объяснил себе Николай Аникеевич. Венгерский костюм обогнал моду лет на пятьдесят.

— Я, молодые люди, ваш знакомый Колька Изъюров, тот, которому Принц дал покататься самокат.

— Что-то вы, дядя... — начал было Слон, но Николай Аникеевич оборвал его:

— Я пришел к вам из будущего...

— Откуда? Откуда? — наморщил нос Принц.

— Из Москвы, что будет через пятьдесят лет.

— Prospаться надо, — ломающимся голосом нравоучительно сказал Слон.

— Маленькие мои бедные друзья, я больше не ненавижу вас. Тем более что ты, Принц, пропадешь без вести под Вязьмой через четыре года, а ты, Слон, па-

дешь смертью храбрых перед самым концом войны в Восточной Пруссии. Прощайте, ребята, я больше не сержусь на вас. О том, что каждому свое, едем дас зайне, узнал я в немецком лагере. Прощайте! Теперь я понимаю, что любил вас...

И как был в солидном своем коричневом костюме за сто сорок рублей, так и помчался вниз по Варсонофьевскому переулку на самокате, в вое подшипников по асфальту, под недоуменными взглядами прохожих, и Солдат, застыв на месте, отдавал ему честь. И едва успел затормозить, когда увидел дядю Лапа. Латыш недоуменно смотрел на старика в странном костюме, лихо соскочившего с самоката.

Хромал дядя Лап в своих синих галифе и огромных матерчатых тапочках по коридору, мимо керогазов — на кухне устанавливали газовые плиты, — и половицы жалобно поскрипывали под тяжестью его тела. И тело само поскрипывало при каждом шаге, и густая, плотная тень от него со скрипом качалась на полу.

— А, Колечка, — сказал дядя Лап, и Николай Аникеевич увидел щуплого, некрасивого паренька, стоявшего у двери. Двустворчатой двери с облупившейся масляной краской в виде человеческой головы. Мучительно знакомо было Николаю Аникеевичу это пятно. Мавр в тюрбане с длинным крючковатым носом. Пронзило — это же их дверь, дверь их комнаты! И некрасивый мальчишка с челочкой — он сам.

— А, Колечка, — сказал дядя Лап, — есть хочешь?

Нес он перед собой гигантскую свою сковородку, ухватив ее за края через неопрятного вида тряпку. Рванулся Николай Аникеевич к мальчишке и как бы вплыл, вынырнул в него.

Есть, конечно, хотелось, и жареная с салом картошка пахла одуряюще, даже шкворчала еще тихо на сковородке, но страсть как не хотелось идти к дяде Лапу, сидеть с ним за столом, нюхать тяжелый, лекарственный дух, что всегда шел от него, и слушать занудное

его бормотанье. От одной головы его кусок в горле застрянет.

Голова дяди Лапа была кругла, велика, бугриста, пятниста и походила на глобус. Материки были темными, слегка покрытыми короткими волосиками, а моря и океаны — проплешины.

— Спасибо, не хочу, — буркнул мальчик.

А дядя Лап? Может, и в него?.. И в него тихо нырнул, словно врезался бесшумно и незаметно в гигантскую, почти бабью грудь, колыхавшуюся под белой нижней рубашкой.

«Худенький какой, шупленький, маленький, — думал дядя Лап, и теплая, нежная жалость привычно сжимала сердце. — Нахохлился Колечка. Чистый воробышек... Бойтся. Ох, что-то с ним будет, куда протропит свой путь...»

Выскочил из души Яна Иосифовича, как пробка, как постоялец гостиницы, случайно открывший дверь чужого номера. Потому что безмерно стыдно было даже не за неблагодарного уродливого мальчишку, а за себя, за взрослого, за Николая Аникеевича Изъюрова. Как мог он не вспомнить, не почувствовать горячую эту и нежную любовь искалеченного, напуганного жизнью человека? Как мог за все годы не собраться узнать, где похоронен человек, сделавший ему столько добра? Не сходить ни разу, не постоять хотя бы в минутной печали над могилкой Яна Иосифовича Лапиньша, дяди Лапа, которому он обязан всем, от отпавших своих бородавок до той часовой отвертки, что привела его к солидному ремеслу.

Глава 10

Вынырнул у своего верстачка в мастерской и долго сидел, медленно массируя глаза. Грустно было ему и светло. Вот, оказывается, что такое инвентаризация души. Вот, оказывается, что значит платить долги по жировкам памяти да еще с пеней за прожитую жизнь.

И показалось старому часовщику, что понял он некую тайну, про которую дано рассказать не каждому. Была она беспредельно глубока и вместе с тем проста. Записать ее — вот и будет сочинение.

Николай Аникеевич посмотрел на часы. Рабочий день уже кончался. Мастера, потягиваясь, вставали из-за верстаков.

Он покопался в тумбочке, нашел тетрадку, куда записывал телефоны и адреса клиентов, открыл на чистой страничке. Длинно-то писать, наверное, не стоит. Да и что расписывать, когда оказался секрет нашей жизни таким простым.

Николай Аникеевич взял шариковую ручку и посмотрел перед собой, туда, где только что перед ним сияла понятая им истина, и начал составлять в уме первую фразу. Фраза никак не составлялась. Часовщик нахмурился, только что, только что звучала она у него в голове. Вспомнить — и записать. И все дела.

Он медленно вывел на листке в клеточку: «Общезвестно, что...» А может, просто «известно»? И как он в школе писал эти сочинения?

Николай Аникеевич вдруг явственно увидел Майку Прусс. С утиной ее походкой, двумя косичками, которые она вечно не то заплетала, не то расплетала, с толстенными очками, которые делали ее глаза большими, добрыми и беспомощными. Правая рука, пальцы вернее, всегда у нее были вымазаны чернилами. О, ни на одну руку в мире не смотрел он столько долгих, томительных минут, сколько следил с замиранием сердца за восемьдесят шестым перышком, которым писала Майка Прусс. Потому что списывал у нее всегда и все. Даже когда были у них разные варианты контрольных, потому что Майка успевала решить или написать свой вариант и еще соседский, то есть его, Кольки Изъюрова. Сам как в тумане. Какие-то там «а» квадрат, «б» квадрат, какие-то там Ярославны, успевай только записывать. Так и протащила она его целых девять классов

своими чернильными пальчиками с коротко подстриженными, странно выгнутыми ноготочками и восемьдесят шестым перышком. Спасибо, Майка.

Встретил ее, наверное, году в пятьдесят пятом, нет, пожалуй, в пятьдесят четвертом, потому что было это через год после смерти Сталина. Точно, в пятьдесят четвертом. О чем же они говорили? Да ни о чем. Даже спасибо ей не догадался сказать.

И захотелось вдруг Николаю Аникеевичу увидеть подле себя Майку Прусс, уцепиться взглядом за перышко и писать, писать торопливо, так, чтобы потом было еще время, и Майка, скосив добрые беспомощные глаза за толстыми стеклами, смогла бы проверить написанное им. Даже спасибо не сказал тогда, когда встретил немолодую уже женщину в нелепом каком-то желтом пальтишке и со старушечьей прической: жидкие косицы, собранные в пучок. Стыдно даже было стоять рядом с ней. «Колька, Колька», — на весь переулочек. И за стыд тот нужно было, оказывается, платить теперь, бог весть где, совсем другим стыдом... Не за нее, за себя. Прости, Майка...

И только сложились в голове эти два словечка, как в мастерской послышался скрип несмазанных колесиков и шаги. И движется по проходу детская коляска. А катит коляску — знал, догадывался, когда только скрип услышал, — Майка Прусс. Седая старушка Майка Прусс. И опять крик, как тогда в Столешниковом:

— Колька, ты? Неужели ты?

— Я.

И такой неподдельной радостью сияли все те же беспомощные добрые глаза за толстыми стеклами очков, что дрогнуло сердце у Николая Аникеевича, перевернулось в груди и потянулось к старушке. Медленно, словно танцевал старинный какой-нибудь менуэт, наклонился, взял маленькую, в морщинах лишней кожи, в коричневых пятнах пигментации руку, взял за пальцы со странно выгнутыми, коротко остриженными ногтя-

ми без лака, с чернильными еле заметными клясочками. Неужели с тех времен?

— Нет, — смущенно улыбнулась Майка и покачала головой, — ты меня уж совсем за неряху считаешь. Писать много приходится. Истории болезней.

Ничего не ответил. Поднес бледные клясочки к губам и почтительно, освобождая сердце от бремени, поцеловал их.

— Ты что, Колька? — испуганно встрепелась Майка и тут же бросила тревожный взгляд на коляску: не разбудила ли. — Внук... Ты такой джентльмен стал, дамам ручки целуешь...

Ничего не ответил. Еще раз поцеловал Майкины пальцы и еще раз поклонился. Совсем уж смущенно заулыбалась старушка с пятой парты в среднем ряду.

— Ты какой-то... загадочный... Вот не думала, что мы здесь встретимся...

— Где здесь?

— Ну, здесь, в часовой мастерской. Решила оставить сначала коляску на улице, а потом думаю, что лучше сюда, прямо и съехали по лестнице. И вдруг — ты... Но это все ерунда, товарищ Изъюров. Может быть, вам будет небезынтересно узнать, что я вас все школьные годы... — остановилась, засмеялась, тряхнула головкой седенькой. — Впрочем, ладно... Я тебя отрываю, ты что-то писал?

— Да, сочинение...

— На какую тему?

— Ты не знаешь...

— Но все-таки...

Странно, отметил про себя Николай Аникеевич, не удивилась даже, узнав, что сидит за верстаком пенсионер и пишет сочинения. А может, думает, для внуков? Нынче это водится — за детей и внуков все делать.

— Про смысл жизни... — пробормотал Николай Аникеевич, понимая, как глупо звучат эти слова в часовой мастерской.

— А, про тайну? — деловито спросила Майка. — Ты бы прямо и сказал, друг разлюбезный.

Что, что такое? При чем тут друг разлюбезный? Или это... Точно. То есть Майка, конечно, но не без старичка.

Он всматривался, всматривался, пока Майка наконец не улыбнулась:

— Что, не очень знакомое лицо? Знаешь, тут дело, наверное, не только в возрасте. Ты ж на меня девять лет только в профиль смотрел, на уроках, когда сдувал или когда я тебе суфлировала. Ну, что ж, друг мой разлюбезный Николай Аникеевич, за работу.

«Он, он, Виктор Александрович. Майка моего отчества знать не может».

— За работу?

— Естественно. Я буду писать, а ты будешь списывать. В вашем возрасте трудно менять привычки. Не так ли, как говорят англичане?

— Но... смысл жизни...

— Пустяки... Ты у меня ухитрился раз списать сочинение на тему «Как я провел летние каникулы». И все в женском роде: я ходила собирать грибы. Ну, смелее.

Уселась рядом. Обмакнула Майка ручку (так и есть, перышко восемьдесят шесть) в невесть откуда взявшуюся фаянсовую чернильницу-невыливайку и начала писать. Николай Аникеевич привычно — будто и не было перерыва в полвека — скосил глаза и вывел:

«Общеизвестно, что...»

Ай да Майка, здорово завернула.

— Не отвлекаться, друг любезный, не отвлекаться...

А как не отвлекаться, когда показалось, что из-под рукава трикотажной кофточкой выглянул самый краешек коричневой вельветовой пижамки?

— Списал? — прошептала («Что значит привычка!» — подумал Николай Аникеевич), — а то я страничку перевертываю...

Оглянуться не успели, четыре страницы.

— Давай прочту, — сказала Майка. — А то ошибки... Списывать тоже уметь надо.

— Да ничего, это не важно.

— Ну и хорошо, — сказала Майка и подмигнула Николаю Аникеевичу совершенно по-мужски, совсем как Бор-Бор. — Ну, я поехала, а то Сережке скоро кормиться надо. Рада была повидаться, Колька... Даже не верится, — вздохнула она и слабо провела рукой в воздухе, точно отодвинула воспоминания. — Прощай...

— Прощай, Майка, спасибо.

— Может, чтобы мне не тащить по лестнице коляску, я через стенку выеду? — спросила Майка, снова подмигнула ему глазом старика Вахрушева и легонько выкатила коляску прямо сквозь стену. «Гм, может, и не было ее? А сочинение?»

Николай Аникеевич посмотрел на тетрадочку. «Общезвестно, что...» И все.

И печально и смешно. Захотел списать смысл жизни!

Только подумал, а перед ним бородатый гигант Иван Сергеевич Коляскин. Кивнул, пожал руку.

— Поздравляю, разлюбезнейший Николай Аникеевич.

— С чем?

— Как с чем? Сдали вы экзамен, и устный и письменный.

— Письменный?

— А как же! Очень четко вы сформулировали: «Общезвестно, что...»

— А вы не издеваетесь надо мной?

— Помилуйте! Я совершенно серьезен. Но вообще я замечаю, что вы относитесь с большим доверием к Виктору Александровичу Вахрушеву. Разумеется, мне бы следовало обидеться, но, с другой стороны, — Иван Сергеевич вдруг подмигнул часовщику, — мы с ним ведь в довольно близких отношениях.

И прямо на глазах Николая Аникеевича бородач

сжежился, как проколотая камера — будто даже шипение воздуха слышалось — и перед часовщиком сидел уже разлюбезнейший друг Виктор Александрович.

— Значит, вы согласны, дорогой мой, — сказал старичок.

— Если вы за меня решаете...

— Да вы все сами давно решили, друг мой разлюбезный. И в исходе экзамена я не сомневался. Человек, соприкоснувшийся с чудом — а для вас вначале все это было чудом — и не бежавший от него, не может сказать «нет» такому предложению. Знаете ли вы, уважаемый Николай Аникеевич, что испытание чудом — одно из самых тяжелых для множества людей. Одни глухи и слепы и не умеют увидеть чудо. Любое чудо, от росистого стебелька в тишине рассвета до часов без пружины. Другие видят, но не понимают. Третьи бегут от чуда как от чумы. Четвертые пожимают плечами: это все парапсихология. Пятые кричат: «Милиция! Академия!» Знаете, кстати, когда вы согласились?

— Когда?

— Когда заплатили старушке Екатерине Григорьевне шестьсот пятьдесят рублей. Безумная ведь это цена за часики. Признаться, я до последней секунды не был уверен, что вы решитесь. Вы ведь всю жизнь с копеечкой на «вы». Надежнейший, кстати, инструмент для плавания в житейском море эта копеечка. Какой там компас... Вот и лежали на весах: на одной чашке чудо, на другой шестьсот пятьдесят рублей. Что, думаю, перетянет? И верите, почти до конца вашей душевной схватки не мог угадать исхода... Так как, друг мой разлюбезный?

— Я согласен, — тихо сказал Николай Аникеевич.

— Ну и прекрасно. Спасибо. Прощайте.

— Пойдите, — прошептал часовщик, — пойдите. Вы обещали мне предстать, как бы выразиться... в своем настоящем виде...

Нахмурился старичок, пососал губы, пожал плечами.

— А нужно ли вам это? — спросил почти грубо, непохоже на себя.

— Вы обещали, — по-детски упрямо настаивал Николай Аникеевич.

— Еще раз спрашиваю: а нужно ли это действительно вам? Ведь расстанемся мы сейчас, и вы, хочется надеяться, унесете в сердце и пижамку, и пушок мой на голове, и «друга разлюбезного», и все мои превращения, и буду я вам отовсюду подмигивать, как Бор-Бор, но только веселее. Чудиться буду везде, подобно тому, как увидели вы мой рукав из-под трикотажной кофточкой вашей милейшей Майки Прусс...

— Значит, вы все-таки в ней сидели?

Покатился лукавый смехок:

— Нет, конечно.

— Но я же видел...

— В этом-то и фокус... Об этом и разговор. Не я и не Майка Прусс вам помогли. Сами вы себе помогли.

— Ничего не понимаю.

— И прекрасно, друг разлюбезный. Поверьте, иногда и незнание — сила.

— Да, но...

— Обождите. Это на одной чашке весов. На другой — определенность, которую вы требуете, совсем как ваша внучка: «Ты же обещал». Тайна или чертеж. Понимаете?

— Да.

— Вот и отлично. Держите, — и протянул пластиковый пакет с олимпийской эмблемой.

— А что это?

— Десять универсальных блоков. Учитывая вашу профессию, я их все наладил для часов. Любой, как вы видите, конструкции. Снимете барабан и поставите блок. Или просто выньте пружину и весь блок вставьте в барабан.

— А если кто-нибудь все-таки захочет вскрыть блок?

— Во-первых, не захочет, — улыбнулся Виктор

Александрович. — Вы, кажется, сами видели, как это получается. А если и открыли бы, ничего не нашли.

— Как так?

— Секрет фирмы, — снова усмехнулся. — Ничего подробнее сообщить вам не могу. Нечто подобное появится на Земле только в начале двадцать второго века, и правила...

— Да, да, — нетерпеливо сказал Николай Аникеевич, — слышал я уже про правила. — Значит, как я понимаю, я должен каким-то способом подсунуть эти блоки разным людям?

Виктор Александрович пожал плечами:

— В целом совершенно верно. Но «подсунуть» — вряд ли уместное словечко. Две-три недели максимум — и вы должны объяснить человеку, что именно вы ему предлагаете. Причем заметьте, это время с человеком связаны только вы, а машины в Центре ничего не регистрируют. Регистрация начинается только с момента, когда новый владелец блока дает добровольное согласие на обладание им. Вот, собственно, и все.

— Я хотел спросить... — начал было Николай Аникеевич.

— Пожалуйста...

— Вот сочинение. Это... и экзамен... Как это понимать?

— Ну, Николай Аникеевич, — усмехнулся старичок Вахрушев, — я был о вас более высокого мнения. Извольте, если хотите, я вам, конечно, растолкую их смысл, так сказать, применимо к вашей прекрасной и одинокой роли, но как бы потом вы не казнили себя. Есть ведь вещи, до которых лучше докапываться самому...

— Может быть...

— Ну и прекрасно. Да, кстати, чуть не забыл. Само собой разумеется, вы становитесь практически бессмертны.

— Что-о?

— А что вы так удивились? Этот Николай Аникеевич завершит, разумеется, естественный свой цикл, но ваше информационное поле, душа, если угодно, останется. И как именно мы реализуем грядущую метаморфозу — это уже наше дело. Не обидим, хозяин, как сказал вчера моему Ивану Сергеевичу слесарь-сантехник. Можно было бы, конечно, оставить вам нынешнюю вашу оболочку, но согласитесь, что через двадцать-тридцать лет вы начали бы вызывать нездоровый интерес. — Виктор Александрович улыбнулся. — А через пятьдесят? Сто лет? Старейший житель. «Скажите, вы делали зарядку? А может, это от болгарской простокваши?» И так далее.

— Это что же, награда? — спросил Николай Аникеевич.

— Награда, вы говорите? Бессмертие награда? — Виктор Александрович пожал худенькими плечиками под вельветовой пижамкой. — Это довольно спорный вопрос...

— Я еще хотел бы спросить вас...

— Пожалуйста, Николай Аникеевич.

— Вот вы было уже совсем со мной попрощались, а потом: да, кстати, чуть не забыл. И мне по голове бессмертием. Это что, специально вы так?

Старичок потер ручки и засмеялся:

— Наверное, не без этого, если подумать. Все мы немножко артисты. Но поверьте, я еще действительно не привык к земному понятию смерти. Преабсурднейшая, между прочим, вещь. Ну-с, счастливо вам оставаться, друг мой разлюбознейший...

И уже совсем неожиданно, как Витенька, поднял руку, сказал «чао» и исчез за дверью.

* * *

Через неделю поздно вечером вдруг зазвонил телефон. Заснувшая только что Вера ошалело вскочила, неясным со сна голосом пробормотала:

— Что? Кто это?

— Спи, спи, Веруш, не волнуйся. Это, наверное, мне.

Одну ногу успел всунуть в тапку, а другую — нет, и так и проковылял по холодному полу к телефону.

— Дядь Коля, — слышался голос Витеньки. — Голос был дик. — Дядь Коля, часы, которые вы мне продали... Они... Они...

— Знаю, знаю, друг мой разлюбезный, — засмеялся Николай Аникеевич, — увидимся — объясню.

Друг разлюбезный... Улыбаясь, Николай Аникеевич шел в темноте к кровати. По комнате поплыл бой хрустального колокольчика. О, уже полночь... сказочный час... Общеизвестно, что... И ведь действительно известно.

БЕСЕДЫ С КОРОЛЕМ ЦУРРИ-ЭШЕМ ДВЕСТИ ДЕСЯТЫМ

Давно уже было замечено, что примерно с середины прошлого, двадцатого века стиль научных публикаций стал заметно подсыхать и тяжелеть. Элегантность изложения и шутка стали почитаться дурным тоном, равно, впрочем, как и ясность мысли. Наверное, объясняется это бурным развитием науки в то время. Чем стремительнее росли ученые армии во всех странах, тем больше среди рекрутов оказывалось людей достаточно ординарных, чтобы хмуρο коситься на любые попытки коллег излагать свои мысли без унылой и торжественной серьезности.

После возвращения из научной командировки на планету Эш три года назад я опубликовал большую статью в журнале «Космическая история» (№ 6 за 2010 год), две статьи в «Анналах космосоциологии» (№ 1 за 2011 год и № 3 за тот же год), а также довольно объемистую книжку «Планета Эш. Краткий историко-социологический очерк», которая послужила основой моей докторской диссертации. Все эти публикации написаны как раз тем дьявольски серьезным и важным стилем, о котором я говорил. А между тем в кассетах и записных книжках, что я привез с Эша, осталась масса вещей, которые так и не попали в мою научную продукцию. И вовсе не потому, что я не пробовал затолкнуть эти впечатления в статьи и книги. Пробовал, и еще как! Но они так пестры, легковесны, даже в чем-то забавны, что никак не влезали ни в

статьи, ни в книгу. А если я и вдавливал их коленом, как запрессовывают в чемодан никак не влезающие рубашки и брюки, они, эти виньетки, вдруг начинали сиротливо ежиться в окружении суровой научной прозы, пока не казались мне и вовсе никчемными.

Вот тогда-то у меня и возникла идея этих легкомысленных заметок. Я вовсе не хочу утверждать, что написал их с каким-то литературным мастерством, это было бы с моей стороны по меньшей мере самонадеянностью. Но раскованно — да. Во всяком случае, таково мнение моего коллеги профессора Сергея Ивановича Зуева, который заведует сектором в нашем Институте космической истории. Закончив чисто литературный анализ, он добавил:

— Очень, очень раскованно, мой юный друг, хотя... А вообще-то вы уверены, что это вам нужно?

— Что именно, Сергей Иванович? — притворился я, как будто не заметил слегка брезгливого взгляда, который профессор бросил на стопку листов.

— Не нужно быть Кассандрой, чтобы предсказать ваше будущее, Сашенька: снисходительные улыбки коллег, ироничные пожатия плечами, вежливые похохатывания, ах этот Бочагов, наш, так сказать, литератор, юморист!

Я молчал. Вежливые похохатывания были, разумеется, обидны, но слово «юморист», даже с восклицательным знаком, которое звучало в устах Сергея Ивановича как заключительный аккорд обвинения, почему-то не потрясло меня.

— Ну, ну, Сашенька, я вас предупредил на правах седовласого старшего товарища, умудренного жизнью, а уж решать, что делась с «Беседами», — дело ваше.

— А что бы вы сделали с ними? — спросил я. Перед моим мысленным взором мгновенно промелькнула картина: профессор остервенело кромсает одну страничку за другой, пока вся комната не наполняется бумажным снегопадом.

— Что бы сделал я? — переспросил Сергей Иванович, склонил голову набок, закрыл зачем-то один глаз и вздохнул. — Постарался бы напечатать, конечно.

Я последовал его совету.

Еще раз хочу напомнить благосклонному читателю (если, конечно, таковой найдется), который заинтересуется историей планеты Эш, что систематические сведения по истории ее и анализ нынешнего состояния можно найти в упомянутых мною выше работах.

Я благодарю экс-короля Цурри-Эша за то, что он любезно согласился прочесть рукопись и сделал несколько ценных замечаний, хотя его экс-величество очень загружен в последнее время и основной работой, и общественными нагрузками в нашем Институте космической истории.

1

Это было примерно месяца через три после моего приезда на Эш. Я уже довольно сносно изъяснялся на языке эшей, объездил и облазил эту небольшую уютную планетку, много раз беседовал с королем Цурри-Эшем — правителем планеты. Наверное, подданные его были не слишком интересными собеседниками, потому что его величество держал меня по часу, а то и по два, без устали расспрашивал про Землю, про другие центры цивилизации. Я был не первый инопланетянин на Эше, но первый при жизни его величества, поэтому его любопытство было поистине ненасытно.

— Да, да, я понимаю, — часто говорил он, когда я рассказывал ему про нашу Землю, — у нас очень отсталая планета... — Он печально вздыхал и закрывал все свои три круглых глаза. — И строй архаический — монархия. Но я же не виноват, Саша?

Я с трудом удерживал улыбку. Печаль его величества и особенно слово «Саша» в его устах были необыкновенно забавны.

— Нас так мало, — говорил его величество Цурри-Эш. — Нас почти не осталось, монархов, особенно абсолютных. Может быть, имеет смысл сделать на Эше, так сказать, исторический заповедник? Организовать туризм: две недели в древнем королевстве. Как, Саша?

— Прекрасная идея, ваше величество.

— Вы умный человек, Саша. Вы соглашаетесь со многими вещами, которые я говорю. Впрочем, мои истории тоже на редкость сообразительны: всегда понимают меня с полуслова и всегда соглашаются. Не успею и рта раскрыть, как они тут как тут: вы абсолютно правы, ваше королевское величество, какой глубокий анализ, какая эрудиция...

Понимаю, что преувеличивают, но ведь искренне, от всей души. Любят, любят меня мои королевские ученые...

Я молчал и улыбался. Специально для бесед с королем я выработал и довел до совершенства вежливую и нейтральную улыбку, которой очень горжусь и по сей день.

В тот раз его величество сказал мне:

— Саша, я собираюсь завтра съездить в Королевскую обсерваторию. Надеюсь, вы составите мне компанию?

— С удовольствием, ваше королевское величество, — наклонил я голову и улыбнулся своей дипломатической улыбкой.

— Вот и прекрасно. Прислать за вами экипаж или вы подойдете к дворцу? К девяти утра.

— С наслаждением пройдусь.

Утро было восхитительное. Я вышел из Дома пришельцев и медленно направился к дворцу. Эши на улице почти не обращали на меня внимания. То ли моя внешность не возбуждала у них особого любопытства, то ли они успевали ловко маскировать его. И лишь несколько ребятишек остановились и стали с интересом меня разглядывать. Представляю, каким монстром я

должен был им казаться: всего две руки и два глаза! И то не совсем там, где им положено быть. Я улыбнулся им, и они попытались в ответ тоже изобразить на своих круглых личиках нечто наподобие улыбки: прищурили свои глазки и смешно растянули рты.

Человек обладает феноменальной способностью к интеллектуальной и эмоциональной адаптации. Мы привыкаем ко всему. Во всяком случае, лучше почти всех разумных существ, которых людям довелось встретить пока во вселенной. Я уж не говорю, конечно, о жителях Труко, которые почти не переносят никаких контактов с представителями иных цивилизаций из-за страшного волнения, охватывающего их. Но даже по сравнению с более спокойными существами мы уникальны.

Вот я иду по улицам Угорры, столицы Эша, смотрю на трехруких и трехглавых эшей, я, младший научный сотрудник Института космической истории в Москве Александр Павлович Бочагов, 29 лет от роду, и воспринимаю это как нечто вполне естественное. Словно иду я не ко дворцу его величества Цурри-Эша, дабы посетить вместе с ним Королевскую обсерваторию, а, скажем, нахожусь в зарубежной туристической поездке, допустим, в Токио, и иду осматривать императорский дворец. И все члены группы будут щелкать затворами фотоаппаратов и кланяться друг у друга пленку.

И как только напомнил я себе о чуде, о необыкновенной моей командировке, острое ощущение праздничного волшебства послушно нахлынуло на меня. Мне захотелось крикнуть эшам: господа, жизнь удивительна! Чудеса ждут нас за каждым углом!

Но младший научный сотрудник — довольно высокое звание, если и не в нашем институте, то уж на чужой планете безусловно. И я сохраняю дипломатическое достоинство представителя моей Земли и шествую важно и чинно, как истинный посол.

Я был у дворца без десяти минут девять. Три эки-

пажа уже ждали у подъезда. Верх у них был откинут, и передний украшал королевский штандарт. Начальник стражи сделал знак рукой, и трубачи, стоявшие в две шеренги у входа, вскинули свои длиннющие трубы. Еще один короткий, торопливый взмах — и трубы издали торжествующий рык: из подъезда вышел его величество в небесно-голубом плаще, приветливо кивнул страже, а мне подал среднюю руку.

— Отличный денек, Саша, а?

— Изумительный, ваше величество.

— Я велел подать открытые экипажи. Хотя мы поедем инкогнито, народ должен видеть своего обожаемого монарха.

Наверное, Цурри-Эш заметил недоумение на моем лице, потому что спросил:

— Что вам непонятно, друг мой?

— Вот вы сказали «инкогнито», ваше величество, а... Если эши видят, как вы выразились, своего обожаемого монарха, то какое же это инкогнито? Или мы по-разному понимаем это слово? У нас «инкогнито» значит «скрывая свое имя», так, чтобы тебя не узнали.

— На Эше немножко не так. Если я путешествую инкогнито, это значит, я не хочу, чтобы меня узнавали. То есть все, разумеется, меня узнают, но делают вид, что не узнают.

— Гм... У нас на Земле в далекие времена, когда монархов было хоть пруд пруди, жил, например, некто Гарун-аль-Рашид, правитель Багдада. И представляете, ваше величество, все бы о нем давно и безусловно забыли, если бы не его привычка переодеваться и бродить неузнанным по улицам своего Багдада.

— Неузнанным? Гм, странная, однако, привычка. И крайне неудобная. Я бы даже сказал, жестокая. Лишать своих подданных счастья лицезреть короля — непростительно! Но давайте двигаться, господа. Саша, садитесь на правах гостя со мной.

Снова зарычали трубы, экипажи тихонько забулька-

ли, плавно приподнялись над землей и легко заскользили по улицам. Два солнца в небе Эша давали по две тени, которые неслись за нами по обеим сторонам процессии, и я вдруг вспомнил футбол при искусственном освещении и забавный веер теней, сопровождающий каждого игрока.

Мы плыли по улицам Угорры, и прохожие при виде нашей процессии останавливались и кричали:

— Век править королю Цурри-Эш!

Я повернулся к королю, который приветливо махал прохожим всеми своими тремя руками, и спросил:

— Ваше величество...

— Да, Саша?

— Вот вы давеча сказали, что ваши подданные делают вид, будто не узнают вас, когда вы путешествуете инкогнито...

— В этом-то все и дело, мой друг, — сокрушенно развел двумя руками король, а третьей похлопал меня по плечу. — Распущенность. Знают ведь, негодяи, что я еду инкогнито, и — видите — приветствуют. Что с ними поделаешь? Любят, любят эши своего монарха. И понимаете, Саша, именно из-за этого и приходится быть королем. Ушел бы давно на покой, но как подумаю о слезах, которые будут проливать мои бедные подданные, говорю себе: терпи, Цурри, терпи, ты нужен эшам. Вы не были еще на горе Элфи?

— Нет, ваше величество.

— Изумительное место. Вид просто захватывающий. А недалеко от вершины я построил обсерваторию. Я, знаете, ведь очень просвещенный деспот. Очень интересуюсь историей вселенной. Есть такая теория, будто все на свете, то есть и сам свет, возникло в одно мгновение, в результате одного так называемого Большого взрыва. Так вот, дорогой друг, меня страшно волнует вопрос, а что же было до этого момента? Представляете, проснусь ночью, лежу и думаю, думаю. И в голове прямо гул стоит. Так и зудит, зудит... Как же, ду-

маю, получается: ну хорошо, бац! И пошел от взрыва мир. А до него? Одного вызываю астронома, объясните, говорю. Крутит, вертит, юлит. Разжаловал. Зову второго. Да как же вам объяснить, ваше королевское величество, когда это пониманию недоступно. Ах, думаю, негодяй! Мне, всемогущему, — и недоступно. С трудом удержался, чтобы не отправить его к дракону. Разжаловал. Послал работать на очистные сооружения. Надо думать, переработка нечистот на подземных фильтрах его пониманию оказалась доступной. Смотрю — и третий объяснить не может. Тогда и решил: построю специальную обсерваторию, установлю повышенное жалование и срок дам — три года. Чтоб определили наконец происхождение вселенной. Ну, разумеется, и кое-что от своих щедрот обещал, кто первый проникнет в тайну Большого взрыва.

— Ну и как, ваше величество?

— Работают. Уже второй год. Вот и решил побывать у них. Отдохнуть, так сказать, душой. От суеты, от забот, от интриг. Оставить все это здесь, внизу, в долине. Подняться на Элфи, воспарить, так сказать, духом. Приблизиться к звездам. Побывать среди эшей, которые денно и нощно думают о бесконечности. Как это должно быть прекрасно!

Король вздохнул, прикрыл все свои три глаза, помолчал и добавил:

— Знаете, почему я люблю астрономию? Помимо врожденной любознательности? Очищает. Посмотришь в небо, подумаешь о безбрежности его, которое никак объять разумом нельзя, и мелкие твои заботы начинают казаться такими ничтожными, смешными. Честно говоря, я и обсерваторию Элфи приказал построить, чтобы было куда поехать омыть душу. Намаешься с управлением, то заговор против тебя, то интриги, то депутация торговцев одолевает, налоги, бедняжки, просят скостить, то ассоциация промышленников бьет челом — и так каждый день. Вот и мечтаешь о горе. О чистоте.

О покое. О вечности. О небе. Оно там, на Элфи, кажется таким близким, что хочется его рукой погладить.

Король замолчал и откинулся на спинку сиденья. Тем временем процессия уже покинула столицу, и мы стремительно мчались над дорогой, которая плавно вилась среди фиолетовой растительности. Наверное, я задремал, потому что как-то сразу экипажи начали подниматься вверх. Я поймал себя на том, что пытаюсь нажать правой ногой на тормоз — так лихо наш водитель брал повороты.

Еще несколько минут, и после очередного головокружительного виража показалось здание обсерватории. Фасад его был украшен флажками, а на лужайке перед ним выстроились человек пятьдесят.

Не знаю, каковы их научные достижения, но шеренга была идеальной, да и ранжир соблюдался с геометрической точностью.

Не успели наши экипажи плавно опуститься на землю, как все астрономы с поразительной синхронностью воскликнули:

— Век править величайшему покровителю астрономии королю Цурри-Эшу!

— Ах, негодники, — пробормотал король, — узнали все-таки, что с ними поделаешь. — Он поднял голову. — Век, век!

Печатая шаг, из шеренги вышел величественного вида старец и обратился к королю:

— Ваше королевское величество, астрономы обсерватории Элфи счастливы приветствовать вас здесь. Мы рады доложить вам, что...

— Неужели? — просиял Цурри-Эш. — Неужели тайна Большого взрыва разгадана?

— Не совсем, — замялся старец, — но работа ведется, мы движемся в правильном направлении. — Астроном заметил, должно быть, тень неудовольствия, скользнувшую по королевскому челу, потому что торопливо выкрикнул: — Нами установлено, ваше величе-

ство, что вселенная либо существовала вечно, либо возникла...

— Ну, ну, — пожал плечами король. — Потом. Я должен сначала посмотреть, какие у нас есть вакансии на очистных сооружениях. — Он невесело рассмеялся, и все собравшиеся растянули рты в безмолвных испуганных улыбках.

— Вот так, Саша, — повернулся ко мне Цурри-Эш, — стараешься, стараешься, сооружаешь изумительную обсерваторию, новые вычислительные центры — и все во имя прогресса. А тебе в ответ: либо, либо... Бездельники. Ладно, давайте хоть полюбуемся видом.

Вид и действительно был величественный. Нежнейшая сиреневая дымка была небрежно наброшена на безбрежный пейзаж, мерцавший всеми гаммами фиолетового цвета.

Мы стояли и молчали.

— Иногда мне кажется, — сказал король, — что я вспыльчивый. Вот только что еле удержался, чтобы не отправить всех этих бездельников на каторжные работы. Уже рот было раскрыл. Еще бы доля секунды... Хорошо, успел подумать: а кто же тайны вселенной разгадывать будет?

Недавно спрашиваю в разговоре премьер-министра, вы его видели, толстенький такой: скажите, друг мой, вспыльчивый ли я? Только честно и искренне. «Что вы, ваше величество, как вы могли даже подумать такое? Мне даже обидно, что вы возводите такую напраслину на себя, самого выдержанного среди всех эшей, самого спокойного и благоразумного!» Я не выдержал, схватил его за горло и кричу: «Правду! Говорите правду или я велю перебить вам руки!» Премьер побледнел ужасно, закрыл все три глаза и шепчет: «Можете лишить меня и головы, ваше королевское величество, но даже в последнее мгновение я буду повторять, что вы мудрейший и справедливейший из эшей». Ну как ему

не поверить? Премьер-министр все-таки. И говорит так убедительно. И бесстрашен, заметьте. Так и режет: мудрейший и справедливейший. Наверное, так оно и есть. Иначе не быть бы мне Двести десятым повелителем Эша.

Король посмотрел на меня, усмехнулся и добавил:

— Представляю, Саша, что вы сейчас думаете. Конечно, любой норовит сказать монарху, да еще абсолютному, комплимент. Понимаю ваш скепсис. И сам не раз так думал, терзался сомнениями. Лягу вечером почитать — и вот душу всю свою вытаскиваю, выворачиваю наизнанку, и так и эдак ее мну, кручу. А потом пришел к выводу: нельзя повелителю не верить своим подданным, когда те по велению своих сердец говорят о любви к королю. Эдак можно стать скептиком и мизантропом, а от этого, говорят, печень страдает. Надо верить, когда тебе говорят, что ты велик и мудр, как бы это ни было тяжело. Вот вы, Саша, опять едва заметно плечиками пожали. И я вас понимаю. А вы меня — нет. Когда я заставляю себя верить, что я велик, мудр, терпелив, щедр, добр, — это в каком-то смысле жертва, Саша. Да, жертва, потому что ни один монарх, тем более абсолютный, не может править, не жертвуя чем-то. А я жертвую многим, даже душевными порывами, потому что так иногда меня и подмывает: отрекусь, думаю, уйду в обсерваторию, надену астрономическое рубище, и пусть правят сами. И так затянулась у нас отсталая эта абсолютистская формация. Вот, Саша, такова наша королевская жизнь. Правь, кажется, наслаждайся, а на поверку тяжкий крест мы несем. Я имею в виду монархов.

Король прерывисто вздохнул, и мне показалось, что все его три глаза слегка увлажнились.

— Пойдемте, Саша, послушаем, что нам доложит главный королевский астроном, отдохнем немножко, а потом нас ждет банкет.

Комната, приготовленная для его величества, была просторной, и одна стена была почти сплошь стеклянной. Казалось, мы парим над фиолетовой дымкой долины. Возможно, ощущение полета усугублялось еще и тем, что солнца Эша двигаются быстрее, чем наше земное Солнце, и тени соответственно тоже ползут быстрее.

— Разрешите, ваше величество? — в дверь медленно вполз старец, который приветствовал королевскую процессию перед обсерваторией. Он не то полз, не то шел на четвереньках, и в тишине комнаты было слышно его тяжелое дыхание и скрип суставов, словно их давно не смазывали.

Я взглянул на короля. Тот поймал мой взгляд, посмотрел на распростертого астронома и слабо усмехнулся, давая понять, что догадывается о моих мыслях.

— Ваше королевское величество, — пробормотал астроном, не вставая с пола, — я молю вас о самом суровом наказании. Я заслужил его, ибо я совершил непростительное преступление: я разочаровал своего обожаемого повелителя. — Старец застонал и дважды тихонько ударил лбом о пол. — Я до сих пор не открыл тайну происхождения вселенной.

— Справедливо, астроном, справедливо. Но встаньте, однако, хватит отдыхать.

Король слегка улыбнулся и подмигнул мне. Вот, мол, с чем приходится сталкиваться. Хорошо еще, что старик раскаивается.

Астроном медленно поднялся на колени.

— Нет, ваше величество, стоять перед вами я смогу только тогда, когда выполню ваш высочайший приказ.

— Ну, ну, — пожал плечами Цурри-Эш.

— Позвольте, ваше величество, доложить вам о ходе исследований.

— Докладывайте. Только покороче и без излишних деталей. Я ведь и так читаю ваши письменные отчеты.

Последний, о реликтовом радиоизлучении, был довольно интересен.

— Ваше величество! — страстно воскликнул старец и простер к королю худые жилистые руки, вылезавшие из-под широких рукавов плаща. — Ваше величество! Мы бы продвинулись гораздо ближе к жгучей тайне, если бы... если бы... — старик замялся и опустил голову, как ребенок, который боится признаться в шалости.

— Если бы, — властно и нетерпеливо сказал король. — Что «если бы»? Только и слышишь от всех «если» и «когда».

— О повелитель! Так трудно рваться к истине, когда тебя не только держат за полы плаща, но еще и ставят подножки...

— Послушайте, Гагу, это что, отчет или поэма? Нельзя ли ближе к делу? И без простертых рук. Я этого не люблю. Только все и делают, что тянут ко мне руки, дай, дай, дай. Так кто же держит вас за полы вашего астрономического плаща и кто вам ставит подножки?

— Мне больно говорить об этом, ваше королевское величество, но мой заместитель, досточтимый астроном Арпеж, которому я поручил закончить строительство большого радиотелескопа, в третий раз жестоко разочаровал нас. Мало того, ученый муж оказался нечист на руку. И проявил больше склонности к бизнесу, чем к нашей возвышенной науке.

— Гм, серьезное обвинение, Гагу. И вы располагаете доказательствами?

— Да, ваше королевское величество. С болью в сердце и со слезами на глазах я вынужден был оторвать себя от созерцания вечного неба и заниматься слежкой. — Старик вытащил из внутреннего кармана плаща конверт. — Вот. Здесь фотография виллы, построенной Арпежем месяц назад. Вот показания свидетелей, видевших грузовые платформы со знаками обсерватории Элфи у строившейся виллы.

— Так, так, очень милое бунгало, — заметил король, глядя на фотографию. — Это что же за место?

— Недалеко от Буша.

— Удобное расположение... Та-ак... Значит, вы сами вели расследование?

— Да, ваше величество. Душа моя рвалась к большому телескопу, к тихим ночам, когда небо и звезды кажутся совсем рядом, но долг гнал меня по следам того, кто мешал выполнить приказ вашего королевского величества.

— Четко сформулировано, астроном. Если вам не трудно, пришлите-ка сюда счастливого владельца этой очаровательной виллы.

«Странное все-таки существо, этот Цурри-Эш, — подумал я. — Во всяком случае, довольно непредсказуем». Я был уверен, что он тут же выйдет из себя, начнет кричать и топать, а он прямо излучал добродушие. Или он наслаждался ролью кошки, затеявшей одностороннюю игру с мышью? Королевская кошка и астрономическая мышь.

Старец поклонился, снова стукнул головой о пол и неожиданно ловко помчался на коленях к двери.

— Какое у вас впечатление, Саша, друг мой?

— От этого астронома?

— Совершенно верно.

Гм, куда тут денешься от мудрой формулы «с одной стороны...». Было что-то в королевском астрономестораживающее. Вот, например, как он здорово промчался на коленях к двери... С другой стороны, мой жизненный опыт, во всяком случае, по части оценки королевских астрономов, был довольно ограничен. Но сказать что-то все-таки нужно было.

— Как вам сказать, ваше величество... Я бы вначале выслушал и вторую сторону. Без этого трудно составить мнение.

— Умно. Очень умно. Послушайте, Саша, может, не стоит вам писать вашу докторскую диссертацию? А?

Оставайтесь у меня советником по науке? А? Ей-богу, а?

— Ваше величество, у меня научная командировка, коллектив моего института...

— Мне бы таких лояльных сотрудников... А вот, если не ошибаюсь, и наш Арпеж. Входите.

Арпеж был высок, худ и складывался в поклоне медленно, но основательно.

— Ваше королевское величество соизволило призвать меня, — так же медленно и основательно сказал он.

— Да, соизволил. Хотел было побеседовать о вечности, но сначала скажите мне, это ваш домик? — С этими словами король протянул Арпежу фотографию.

Арпеж взял фотографию средней рукой, внимательно посмотрел на нее, нахмурил лоб.

— Это бунгало моей сестры, ваше королевское величество.

— Вы в этом уверены?

— Да, ваше королевское величество. Это домик моей сестры Зукки. Я бы мог еще сомневаться, но вот этот холмик справа имеет такую характерную форму...

— Характерную, говорите? — улыбнулся Цурри-Эш, и мне показалось, что он и впрямь стал походить на трехглазую кошку.

— Да, ваше величество. Он похож на лежащего тупа. Вот спина, вот головка...

— Да, действительно. Скажите, а долго вы строили это бунгало?

— Я не строил его, ваше королевское величество.

— Угу. Понимаю. Строила сестра.

— С вашего разрешения, и не она, хотя и является владелицей.

— А кто же?

Арпеж глубоко и шумно вздохнул, как будто собирався нырнуть, и сказал:

— Королевский астроном Гагу.

— Что-о? Вы, часом, не смеетесь, астроном?

— Ваше величество, вот... — Арпеж вытащил из кармана плаща конверт. — Здесь три письма, собственноручно написанных королевским астрономом моей сестре Зукки. Он построил и подарил ей этот дом в надежде, что она согласится стать его женой...

— И она согласилась? — спросил король.

— В том-то все и дело, ваше величество, что нет. По-своему, она честна. Она ему и не обещала, но он ей проходу не давал, он очень влюблен в нее. Был, во всяком случае. Он и меня пригласил на должность своего заместителя, чтобы иметь возможность чаще встречаться с ней.

— Значит, бунгало построил он?

— Так точно, ваше королевское величество. Я не раз наблюдал, как он вызывал к себе эшей из гильдии строителей для бесед. И интересовался вовсе не большим радиотелескопом, а живо расспрашивал их о возведении бунгало.

— Наверное, все это изрядно отвлекало вас от чисто астрономических наблюдений?

— О да, ваше величество! Как только я увидел, что сестра не склонна стать мадам Гагу, я понял, какая мне угрожает опасность. Я понял, что королевский астроном попытается отомстить в первую очередь именно мне...

— Почему?

— Он уверен, что я подговорил сестру отвергнуть его ухаживания.

— Для чего?

— Он убежден, что я целю на его место главного королевского астронома. И само собой разумеется, мне пришлось следить за ним целыми днями. И ночами, разумеется. К телескопу боялся подойти. Только прикинешь к окуляру, а тебе нож в спину. Очень удобное место для убийства. Страдал, ваше королевское величество, ужасно. Душа рвалась к небу, а в спине

нож уже ощущал. До того дошло, как только слышу шаги чьи-нибудь сзади, тут же оборачиваюсь. — Астроном скорбно вздохнул и продолжал: — Я предполагал, что он попытается подставить меня под удар, ваше величество, но, честно говоря, и подумать не мог, что он выберет для своего дьявольского плана мести домик в Буше.

— Так, так, логично. Ну а пути к познанию?

— Вы имеете в виду планы главного астронома? Кроме этих трех писем, я располагаю показаниями...

— Нет, я имел в виду познание истины.

— Я и говорю, ваше королевское величество...

— Происхождение вселенной! Большой взрыв! Момент сингулярности, мерзавцы! Всех на необитаемый остров отправлю, — крикнул король.

— А... Простите, ваше королевское величество, я не сразу понял, о какой истине вы изволили говорить. Я, разумеется, стремился... Так сказать, проникнуть... но обстоятельства...

— Вижу, Арпеж, вижу, — вдруг успокоился король. — Ну а сестра?

— В каком смысле, ваше величество?

— Что она у вас поделявает, кроме бурного романа со старцем?

— С вашего разрешения, она ведь тоже астроном. Служит здесь младшим наблюдателем. С чего все началось...

— Пришлите ее, Арпеж.

— Слушаюсь, ваше королевское величество.

Король сплел все свои три руки и потерял их одну о другую.

— Знаете что, Саша, раз вы отказались от места моего научного советника, могу сделать вам еще одно предложение. Идите-ка королем, а? Вместо меня. Если нужно написать какие-нибудь бумаги в ваш институт, пожалуйста. Просим откомандировать младшего научного сотрудника Боцагова для занятия места повели-

теля планеты Эш. Соглашайтесь, Саша, другого шанса у вас не будет. Здесь же и защитите диссертацию. Монарху, да еще абсолютному, это проще. Соглашайтесь, а я отдохну от своих верноподданных, а? Согласны?

— Боюсь, ваше величество, у меня недостаточная подготовка для столь высокого поста: всего-навсего факультет космической истории Московского университета плюс аспирантура. Никем еще в жизни не управлял. Повелевать не умею.

— Ничего, друг мой, научитесь.

— Боюсь, ваше королевское величество, что характера не хватит. Вот и Зина моя не раз меня характером попрекала.

— Может, вы и правы. Характер в нашем деле — первейшее дело. Но вы-то хоть отговориться можете, а я чем отговорюсь? И кому? Представляете, какая это психическая нагрузка, когда ты монарх, да еще абсолютный. Недолго и тираном стать.

В дверь постучали.

— Войдите, — буркнул Цурри-Эш, и в комнату вошла молоденькая эшка с живыми, озорными глазами. Даже плащ астронома не мог скрыть пропорций ее компактной ловкой фигурки.

— Добрый день, ваше величество, — весело пропела она, — младший наблюдатель Зукки. Вы приказали мне явиться.

— Да, астроном, я послал за вами.

— Слушаю, ваше величество.

— Это ваш дом?

— Совершенно верно, ваше величество, но я вовсе не уверена, что он у меня останется.

— Почему?

— Видите ли, когда я категорически отказалась стать супругой главного астронома, он поклялся, что любыми путями отберет у меня бунгало.

— Которое он же построил для вас?

— Это была идея моего брата.

— Что?

— Он уговорил господина Гагу подарить мне бунгало. От такого подарка, сказал он астроному, она не откажется. А меня, в свою очередь, учил: пошли ты его подалее, зачем тебе эта старая развалина. И в общем, ваше величество, я должна была с ним согласиться. Увы, королевский астроном действительно развалина...

— Вы в этом уверены?

— О да, ваше величество! Я не раз имела возможность в этом убедиться... Я была терпелива, но... Позвольте мне не продолжать, ваше величество. Отнимут у меня это бунгало в Буше или нет — честно говоря, ваше величество, меня это мало волнует. Я мечтаю лишь об одном: преподнести вашему королевскому величеству подарок, проникнув в тайны мироздания.

— Всего лишь? — усмехнулся Цурри-Эш.

— Да, — улыбнулась Зукки и посмотрела на короля смело и не без кокетства.

Саша, сказал я себе, что бы подумала твоя Зина, если узнала, что тебе чуть-чуть нравится трехрукое существо с тремя озорными глазами.

Банкет, разумеется, король отменил, и я рано улегся спать. Но сна не было. На меня вдруг напала острая тоска по дому, по друзьям, по Земле. Приступ ностальгии был пронзительный. Единственное, что немножко успокаивало меня, — это мысль о том, что половина моего командировочного срока уже прошла и что через четыре месяца я буду в Москве.

Я оделся и вышел на улицу. Было тихо. В долину, очевидно, пал туман, потому что не видно было ни огонька. Зато небо было какое-то осеннее, с вызревшими гроздьями сочных звезд прямо над головой — протяни руку и срывай, лакомясь чужими мирами. Может быть, ночной прохладный воздух взбодрил меня, может быть, помогло ощущение близости звезд, в том чис-

ле и звездочки под названием Солнце, но тягостный груз на сердце начал становиться все легче и легче, пока вовсе не исчез.

И как это всегда бывает со мной, испарившаяся печаль принесла с собой веселый приступ оптимизма. Все было хорошо. Все шло путем. Целый чемодан видео- и звуковых кассет, дюжина записных книжек — это ли не материал для диссертации? Конечно, мне здорово повезло с Цурри-Эшем. Я даже и мечтать не мог, что окажусь, выражаясь старинным языком, королевским конфидантом. «Саша, — напутствовала меня наша завсектором Аглая Степановна Кучкина, — главное — не забывайте, что монархия — это все-таки монархия. Тщательно соблюдайте правила космических контактов». Старушка вся в этом. Советы ее всегда банальны, а потому и мудры: работать надо регулярно, будьте настойчивы и так далее.

Внезапно невдалеке послышались шаги, и рядом со мной выросла знакомая фигура.

— Не спите, Саша? — спросил король, позевывая.

— Решил посмотреть на звезды, ваше величество. Все-таки мы в обсерватории.

— Боюсь, вы здесь единственный, кто смотрит на небо. Только что мой министр юстиции, полиции и очистных сооружений доложил мне, что с удовольствием примет десяток-другой астрономов для заселения необитаемого острова Драконов. О, это замечательный остров, так сказать, географический раритет: сколько раз мы отправляли туда наших проштрафившихся подданных, а остров так и остается необитаемым. Вы, Саша, знаете мое научное любопытство, неоднократно пытал министра юстиции и полиции, как это получается. А он, представляете, только руками разводит, сам, говорит, не пойму, ваше просвещенное величество. Остров отличный, солидный, один камень, сырости ни капли, ни ручейка. К тому же кругом драконы. Живи — не хочу. И не живут же, негодяи. Представляете, Саша, про-

сто какая-то загадка природы. Почтище Большого взрыва. Вот я и подумал: раз эти бездельники астрономы не доложили мне о происхождении вселенной, пусть хоть разгадают тайну острова Драконов. Поэтому я уже отдал приказ страже, и все старшие астрономы во главе с господином Гагу отправлены на остров.

— А Зукки? — спросил я.

— Зукки... — король усмехнулся. — Я еще раз побеседовал с ней. Что я вам скажу, Саша, я понимаю старого Гагу, в девочке что-то есть. Если, простите меня за корявую шутку, звезд с неба она, может быть, и не хватает, но что-то в ней, безусловно, есть.

— И что же с ней будет, ваше величество?

— О, друг мой, я вижу, и вы заинтересовались юной наблюдательницей. Может быть, возьмете ее с собой, когда будете возвращаться домой?

— Спасибо, ваше величество, это против правил.

— Ну, раз вы ее оставляете мне, придется снизойти и оказывать ей протекцию.

— А кто же все-таки останется здесь, в обсерватории? Кто будет искать разгадку Большого взрыва?

— В том-то, друг Саша, и беда с нами, монархами, настойчивости у нас мало. Надоел мне этот Большой взрыв, ну его к дракону. Не я приказал его произвести, и не мне разгадать его тайну. А обсерватория... Буду иногда приезжать сюда к Зукки.

2

— Сегодня, Саша, вы увидите великолепное зрелище, которое я лично считаю самым любимым на Эше. Я имею в виду отчаянно храбрый бой короля с огнедышащим драконом. Надеюсь, вам он будет интересен. А то заладили свое: классы, эксплуатация, налоги. Разве сравнишь это со зрелищем бесстрашного короля, выходящего один на один с чудовищем! Я лично приглашаю вас.

— Благодарю вас, ваше королевское величество! — воскликнул я с чувством. — Я не то что боя такого никогда не видел, я и дракона живого не видел, не говоря уже о короле.

— Отлично сказано. Люблю энтузиазм у подчиненных. Но пойдемте, пора уже на стадион. Вы слышали выражение: «Точность — вежливость королей»?

— Это ж я вас ему научил, ваше величество.

— Ах, да, верно, но вообще-то у нас не заведено поправлять самодержца. Вы, Саша, конечно, командированный и не имеете достаточного опыта общения с титулованными особами, не говоря уже о королях, но советую вам быть деликатнее с нами. Именно деликатнее, потому что мы, монархи, существа, как правило, легко ранимые, так сказать, незащищенные да плюс очень тонко организованные. Если быть честным, с трудом сейчас удержался, чтобы не велеть отрубить вам что-нибудь. Но это, так сказать, между делом. Ну вот, я вижу, вы уже и надулись. Клянусь повелителем космоса, вы как дитя неразумное. С королем же беседуете. Можно на него обижаться? Даже смешно. И помните, что не стоит меня выводить из себя. Я ведь сам не знаю, что могу выкинуть, хотя эш я крайне выдержанный. Например, прикажу таможенным властям конфисковать у вас при отъезде все ваши записи и заметки, а? Каково? Не бойтесь, друг мой, на сегодня это всего лишь шутка. Просто у меня поистине королевское чувство юмора. Ну что вы так на меня смотрите? Думаете, рисуюсь? Ну, допустим, немножко рисуюсь. А почему бы и нет? Все-таки король как-никак! Ну вот мы и приехали.

Перед нами возвышалась огромная чаша стадиона, а площадь перед ней бурлила от тысяч и тысяч эшей, торопившихся занять свои места. Везде, сколько хватал глаз, видны были флажки, трепетавшие на ветру, флажки были на самом здании стадиона, на мачтах у входа, даже на шляпах. И на каждом флажке, большом

или маленьком, королевский герб с изображениями двухсот десяти солнц по числу властителей династии Эш. Воздух был полон шелеста, тугого трепета, шелканья и хлопанья.

— На бой приходят пятьдесят тысяч эшей. Получить приглашение на королевский бой — огромная честь, — сказал Цурри-Эш. — И наоборот, не быть на ежегодном сражении — это катастрофа. Конец карьеры. Конец всему. Известны случаи, когда эши, не получившие приглашения, кончали с собой, не в силах перенести позора. Сказать кому-нибудь из высших слоев общества: «Что-то я не видел вас на королевском поединке» — значит нанести страшное оскорбление. И наоборот, если хотите доставить эшу удовольствие, вы обязательно заметите: «Видел вас у дракона», хотя прекрасно знаете, что он на стадионе не был, а он отлично осведомлен, что и вас туда не приглашают. Цивилизация, друг мой, это степень изощренности лжи. Как вы считаете, это ценная мысль? Занести ее в сборник королевских афоризмов и максим?

— Видите ли...

— Вот они, инопланетяне! Знаете, что бы ответил эш? «Век править королю!» — вот что бы он ответил. Ну, на то вы и пришелец.

— А кто определяет список приглашенных, ваше величество? — спросил я, чтобы сгладить свой вопиющий промах.

— Когда-то составление списка приглашаемых было целой проблемой. Пока списки составлялись и утверждались, кто-то почти наверняка впадал в немилость, и все приходилось начинать сначала. Дошло до того, что король Цурри Двести первый приказал отправить на необитаемый остров весь департамент королевских приглашений. После этого бой пришлось откладывать двадцать с лишним лет, пока не приспособили к этому делу только что появившиеся компьютеры. Мой прапра-

пра и так далее вышел на бой на костылях, ему было чуть меньше ста обращений большого светила.

Теперь приглашениями занимается специальный компьютер престижно-карьерного управления. Он постоянно получает информацию о всех гражданах Эша и может составить списки и напечатать приглашения за несколько секунд.

Тем временем мы объехали стадион среди приветственных возгласов и леса поднятых рук и остановились у приземистого здания. Навстречу нам резво выскочили три эша в черных плащах, и старший из них бодро выкрикнул:

— Ваше королевское величество, Управление дракона закончило проверку чудовища. Чудовище в порядке, опечатано, опломбировано и к бою готово. Докладывает главный инспектор королевских чудовищ и схот Врази.

— Отлично. Надеюсь, все системы отрегулированы? Вы помните, что стало с вашим предшественником, который не проверил звук, и мне пришлось сражаться с мрачно молчавшим драконом?

— Так точно, ваше величество. По вашему мудрому указанию дракон был выпущен против него без ограничений. Чудовище разорвало его ровно на сорок частей ровно за десять секунд.

— Отличный был специалист. Можно сказать, готовил дракона, как для себя. Так оно и получилось. Всегда учил своих подданных: не относитесь к своим обязанностям халатно. Саша, хотите посмотреть на чудовище вблизи? Волшебство электроники.

— Благодарю вас, ваше величество. А оно...

Цурри-Эш засмеялся и похлопал меня покровительственно по плечу.

— Не бойтесь, друг мой. Во-первых, мы цивилизованная планета и не даем командированных на съедение. А во-вторых, вы мой друг. Идите смело, а я пойду переодеться. Отсюда вас проводят потом в королев-

скую ложу, и вы насладитесь захватывающим зрелищем.

Король, по-отечески улыбаясь эшам, в сопровождении своей стражи направился к стадиону, а инспектор Брази гостеприимно поклонился и сказал:

— Прощу вас, сюда.

Он отпер небольшую калиточку, врезанную в металлические ворота, и мы вошли в просторный зал, похожий на ангар. Боже, как же глубоко сидят в нас наши древние инстинкты. Я знал, что передо мной электронный прибор, я знал, что не подвергаюсь ни малейшей опасности, но невольная дрожь пробежала у меня по позвоночнику, когда я увидел перед собой аспидного цвета чудовище метров семи или восьми длиной и высотой метра два с половиной. Удивительно, но чем-то оно напоминало наших земных ископаемых страшилищ, какими их рисуют в учебниках. Может быть, короткими массивными лапами, а может быть, свирепой мордой с маленькими глазками. Тремя, между прочим. Все, что имело на Эше глаза, имело их как минимум три, и конструкторы дракона решили традиции не нарушать. Тело чудовища было покрыто упругими пластинами, причем одна подходила под другую, вроде шифера на кровле.

— Ну как наш Малыш? — с чисто отцовской гордостью спросил главный инспектор.

— Очень впечатляет.

— Да, не хотел бы я оказаться рядом с ним, когда Малыш включен без ограничителей, а у меня пустые карманы...

— Как, ваше чудовище интересуется содержимым ваших карманов? — искренне удивился я. — Это ли не признак истинного интеллекта?

Главный инспектор и его помощники так и покатались со смеху. На глазах у них даже слезы появились.

— Ну и уморили вы нас, — сказал господин Брази, — интересуется содержимым карманов, ха-ха-ха!

Нет, господин королевский гость, наш Малыш совершеннейший бессребреник. А в кармане может быть или не быть так называемое страховочное устройство. Это маленький передатчик с компьютером, который принимает на себя управление цепями дракона на расстоянии пяти метров. Когда мы работаем с Малышом, мы все должны иметь страховку. Я прямо вдавливаю своим помощникам: пустой карман, конечно, всегда неудобен, но подле Малыша он может стоять жизни. Ну-с, иногда, по большим праздникам, Малыш используется и для исправления закоренелых преступников. Тогда вот здесь, на правом боку, мы открываем крышечку и выключаем ограничители.

— И как же он исправляет преступников? — спросил я тупо, хотя прежде, чем закончил вопрос, уже догадался об ответе.

— Кардинально, — с гордостью сказал инспектор Врази, — он их рвет на части. А части, как известно...

У входа в ангар послышался шум, чьи-то голоса.

— Кто посмел? — крикнул Врази. — Вход категорически запрещен. — Кто там, Буз?

Один из инспекторов, оставшийся у входа, тщетно пытался захлопнуть дверцу, но она не поддавалась. Врази бросился ко входу, но в этот момент те, кто был снаружи, взяли верх, дверца распахнулась, в мелькании рук и голов сверкнуло что-то светлое, и инспектор упал с коротким изумленным криком. В помещение вбежали несколько вооруженных эшей.

Я не понимал, что делаю. Мною управляли инстинкты. Уже потом, анализируя, я понял, что, кроме ужаса, мною двигали несколько основных импульсов: посланец Земли, находясь на чужой планете, должен всеми силами избегать участия в насилии; посланец Земли, находясь на чужой планете, должен всеми силами сохранить собранную информацию, ибо она может оказаться крайне нужной для Земли.

Но все это, повторяю, я понял позже. А в то мгно-

вание я метнулся за щит — потом я понял, что это был испытательный стенд — и затаился. Схватка у дверей была короткой, но яростной. Через несколько секунд все три инспектора лежали на полу без движения, а ворвавшиеся бросились к Малышу.

— Быстрее! — послышался голос, который показался мне знакомым.

— Сейчас, господин Парку, уже сняли крышку...

Господин Парку, это же был премьер-министр! Дальнейшее понять было не так уж сложно. Должно быть, ему очень хотелось стать вести восемнадцатым правителем Эша. А после того, как чудовище разорвало бы Цурри-Эша на сорок частей или хотя бы на десять, это не составило бы большого труда.

— Есть, господин Парку, ограничители отключены.

— Отлично, закройте крышку, снимите плащи с инспекторов, а трупы...

— Может быть, спрятать их вот за этот щит?

Я не успел почувствовать ужаса, все происходило слишком быстро.

— Для чего? — буркнул премьер-министр. — Вот же у стены шкаф. И побыстрее. Так. Отлично. Да не тряситесь вы, идиоты! У каждого из вас в кармане страховка, и чудовище еще не включено. Я включу его, когда мы будем выходить. Потом, по сигналу со стадиона, откроется нижний люк, и дракон по подземному переходу выскочит на арену.

— Поздравляю вас, повелитель, вы решительны и мудры, это давно нужно было сделать! — сказал один из спутников премьера. — Именно о вас мечтали эши все эти долгие годы...

— Обождите, сглазите. Хотя я лично разрядил страховку короля. Пойдемте. Включаю дракона.

Послышался сухой щелчок, басовитое сочное гудение моторов, и одновременно громко хлопнула дверь. Я осторожно приподнялся и увидел, как Малыш насто-

роженно повел головой и все его три глаза подозрительно уставились в мою сторону.

Я знаю, этому трудно поверить, но в этот момент я почти не боялся. И вовсе не потому, что отличаюсь безумной храбростью. Я побаиваюсь нашу заведующую сектором Аглаю Степановну, боюсь высоты, крыс, прыгать с десятиметровой вышки и Зининых скандалов. Просто это не укладывалось в сознание. Можно бояться чего-то, чего ты приучен бояться. Но бояться электронного дракона, который должен был разорвать меня на сорок частей... Это было абсурдно. Особенно почему-то была абсурдна мысль о сорока частях. Я, Саша Боцагов, младший научный сотрудник Института космической истории, — и сорок частей? Да я и в целом, так сказать, виде представлял крайне незначительную величину, чтобы пытаться превратить меня в дробную.

Малыш, надо полагать, думал иначе, потому что моторы его вдруг взвыли, он метнулся к стенду, встал на задние лапы, вытянул шею и внимательно уставился на меня. Наверное, я бы никогда не смог вспомнить, что я сказал в эту секунду, но каждый день с утра я включал свой карманный магнитофон с десятичасовой кассетой, и пленка потом бесстрастно подтвердила, что сказал я следующее:

— Ну что тебе, Малыш? Ну что ты сердишься, глупый? Ты такой симпатичный дракончик, лучших я сроду не видал.

И Малыш как-то недоуменно покачал головой, зачем-то пыхнул в сторону ослепительным пламенем из пасти и снова улегся на пол. Сначала я было решил, что смирил чудовище своим чарующим голосом, но потом понял, что я все-таки не Орфей. Очевидно, дело было в том, что датчики дракона были настроены на эшей, а я отличался от них. Наверное, и температурой тела, и какими-то излучениями, каким-то полем. Вот и сомневайся после этого в пользе индивидуальности...

Итак, я все еще состоял из одной части, а не из со-

рока, и мои отношения с чудовищем складывались вполне удовлетворительно. Дальнейшее же виделось мне в менее розовом свете. Не то чтобы я был монархистом, но если уж выбирать между знакомым самодержцем и незнакомым, мои симпатии были явно на стороне Цурри-Эша. Оставался самый пустяк: выбраться как-то отсюда и вовремя предупредить своего венценосного приятеля о грозившем ему действии деления.

Я посмотрел на Малыша и поймал себя на мысли, что уже воспринимаю его лояльность как нечто вполне естественное. Мало того, мне уже хотелось, чтоб он придумал за меня, как выбраться из ангара. Но Малыш молчал, покойно жужжа моторами.

Одна мысль безумнее другой проносились у меня в голове: вот со стадиона дается сигнал, чудовище вскакивает, я забираюсь ему на спину и таким образом предстаю перед избранным обществом пятидесяти тысяч жителей Эша. «Слава Саше! — гремит стадион. — Сашу Бочагова королем Эша!» Но я тут же подавил в себе недостойные младшего научного сотрудника мечты о короне; вначале надо было выйти из ангара, не говоря уже о диссертации.

Пора было рискнуть и выбраться из-за щита испытательного стенда. Ох, как я понимал тараканов, всю жизнь свою избегающих открытых пространств и яркого света. Один раз Малыш меня миловал, но не изменится ли его электронное настроение? Мало ли что может на него влиять. Где-то начнет барахлить в его цепях какой-нибудь контактик, и раздосадованный дракон решит сорвать на мне злобу. У людей, во всяком случае, такое случается.

Медленно, не делая резких движений, я выбрался из-за стенда. Чудовище снова повернуло голову и посмотрело на меня. Когда ничего другого не остается, люди становятся оптимистами, и мне показалось, что Малыш смотрит на меня если и без симпатии, то вполне равнодушно.

— Молодец, мой мальчик, ты хороший дракончик, не рвешь на части младших научных сотрудников. Знаешь, что это и без тебя делают в нашем Косисе.

Должно быть, слово «косис» пришлось чудовищу не по вкусу, потому что где-то в глубинах его пасти звуковые синтезаторы родили глухое ворчание, и я поспешил заверить Малыша, что ничего плохого в виду я не имел, что Косис — это наш Институт космической истории. Самое забавное заключалось в том, что чудовище несколько раз согласно кивнуло головой и замолкло.

Я подошел к двери. Дважды подряд в спортлото не выигрывают. Она была заперта. Я обошел весь ангар — никаких люков. «Спокойно, товарищ Бочагов, — сказал я себе, — ты, конечно, гуманитарий, но тем не менее попытайся думать логично. Это трудно, ты к этому не привык, но попытайся».

В детстве я был вздорным и упрямым ребенком, и мои родители, по крайней мере в те редкие минуты, когда я не доводил их до иступления, всегда пытались убеждать меня стройными логическими построениями. Отец у меня учитель, преподает генную инженерию в школе, а мама работает в ЖЭКе, так что логика им не чужда. Так вот сейчас, спустя лет двадцать, я вспомнил их призывы к логике, и поскольку ничего другого не оставалось, стал думать. Как-то ведь нужно было завести Малыша в этот ангар. Вряд ли каждый раз, когда с ним нужно что-то делать, его тащат через подземный переход с арены стадиона. Значит... Ну, конечно же, один торец ангара представлял собой ворота. В них была врезана дверь, через которую мы вошли и которую я безуспешно старался открыть. А ворота открываются мотором, а мотор как-то включается. Это «как-то» и нужно было найти. Я окончательно успокоился и начал искать какие-нибудь кнопки у ворот. И нашел. С надписью «ворота». У меня даже сердце не захолонуло от волнения. Появилась уверенность, что все складывается как нельзя удачнее. Я нашел кнопку, и

ворота послушно скользнули, открыв небольшую щель.

Конечно, заговорщики могли быть где-то рядом, но вряд ли они старались привлечь к себе внимание стражи. Я осторожно высунул голову. За сетчатой оградой последние избранники спешили на стадион, играла музыка, и воздух был полон упругим пощелкиванием тысяч флажков на ветру.

Я выскользнул из ангара и помчался к стадиону.

— Мне нужно к его величеству королю! — выпалил я двум стражникам в красных плащах. — И как можно быстрее!

Они посмотрели на меня почти как Малыш, только во взглядах их было меньше ума и понимания. Мое счастье, что у меня было всего два глаза и я явно представлял собой нечто необычное, иначе они показали бы мне короля.

— Двуглазый пришелец хочет видеть его величество, — пробормотал один из стражников в микрофон, прикрепленный на груди.

Прошло, наверное, минут пять, прежде чем кто-то дал стражникам указание пропустить меня. Меня провели по длинному коридору, стражник постучал в дверь, и я оказался в комнате, полной эшей. В центре стоял Цурри-Эш в коротком плаще и с улыбкой кивал толстенькому премьер-министру, который полчаса назад снял ограничители у дракона.

— Не сомневаюсь, ваше величество, вы сегодня проведете такой поединок с чудовищем, которого еще не видел Эш!

— Да, Парку, — согласился король, — я в отличной форме. — Он сделал несколько быстрых движений вперед, назад, в стороны. — У меня такое ощущение, что если б у дракона и не было ограничителей, а у меня в кармане страховки, я все равно победил бы его и вонзил электронный меч в шею. — Цурри-Эш горделиво сжал рукоятку короткого меча, висевшего у него на поясе.

— О, ваше величество, как вы правы! — с жаром воскликнул премьер-министр. В голосе его дрожала та трепетная искренность, которая бывает только у опытных лжецов.

— Однако пора, господа, — сказал король и тут заметил меня. — А, Саша, вы не усидели в ложе, друг мой...

Если б я отозвал его в сторону, я бы мог возбудить подозрения у премьер-министра. И кто знал, сколько здесь, в комнате, было его сообщников.

— Ваше величество, вы знаете, я никогда не жалуюсь, но меня оскорбили...

Цурри-Эш нахмурился и подозрительно посмотрел на меня.

— Кто?

— Стражник. Я даже не решаюсь повторить его слова, ваше величество, мне стыдно произнести их вслух...

— Что за вздор! — раздраженно воскликнул король. — Говорите! И если это правда, я прикажу перебить ему пару рук.

— Ваше величество, — прошептал я, — разрешите повторить эти слова так, чтобы... — Я приблизил губы к королевскому уху и прошептал: — Парку убил инспекторов чудовища и снял ограничители...

— Мерзавец! Черт знает что происходит с корпусом стражников, распущенность ужасающая! Господин Фридж!

— Я здесь, ваше королевское величество! — дрожащим голосом ответил министр юстиции, полиции и очистных сооружений. Лицо его пошло красными пятнами.

— Вижу, что здесь. Арестуйте немедленно стражника у королевской ложи.

— Слушаюсь, ваше королевское величество.

— Вот так разволнуют... А знаете, господа, у меня идея. А что, если кто-нибудь из вас вначале выйдет на ристалище? Как вы знаете, это совершенно безопасно,

но зрители глотки себе надорвут от восторга. А потом уже выйду я. Кто желает?

— О, ваше величество, это такая честь! Позвольте... — сразу несколько придворных низко наклонили головы.

— Боюсь, это было бы несправедливо, господа, — сказал король. — Вы все знаете мою крайнюю щепетильность в вопросах придворного этикета. Думаю, высшую честь следует оказать господину Парку.

— Правильно! Мудро! Благородно! — прошелестели придворные и тихо зааплодировали, хлопая средней рукой попеременно то о правую, то о левую, отчего комната наполнилась сплошным мельканием рук.

— Но я недостоин такой чести, — пробормотал премьер-министр.

— Мы все знаем и ценим вашу скромность, Парку, — улыбнулся король, — я вызываю дракона на арену. — С этими словами он нажал большую красную кнопку на стене, и через несколько секунд в комнату донесся рев трибун. Малыш появился на поле.

— Вот, господин премьер, держите! — король снял с себя электронный меч и надел через плечо премьер-министру. — И вот вам моя личная страховка. В знак благодарности за многолетнюю верную службу. Что вы делаете, друг мой!

Парку стал на колени. Руки его, простертые к королю, дрожали.

— Но я же... не в форме... Годы...

— Какое это имеет значение, господин Парку! Вы-то знаете, как это безопасно. Это народ думает, что победить чудовище может только герой, а мы-то знаем, как это делается. Как шутит мой лейб-лекарь: «Мы-то знаем, что пульса нет». Ну, смелее, мой друг! Позвольте мне самому положить в ваш карман мою страховку. — Король нагнулся, похлопал премьера по карманам и вытащил маленькую черную коробочку. — Ого, вы, оказывается, мечтали о поединке, друг мой, раз у

вас в кармане страховка. Но я вам даю королевскую, а это немалая честь. Смелее, смелее, Парку, народ жаждет увидеть своего героя.

— Я... не могу...

— Чепуха, Парку. Господа, поможем нашему уважаемому премьеру! Фридж, ну-ка! Возьмите его под руки, скромность хороша до известных пределов.

— Не-ет! — крикнул Парку и бросился к двери, но Цурри-Эш с неожиданной ловкостью подставил ногу, и премьер-министр растянулся на ковре.

— Да. Не нет, а да. Фридж! Премьера на арену. От королевских подарков не отказываются. И распорядитесь, чтобы народу объявили, что до меня на арену выйдет господин Парку.

Министр юстиции, полиции и очистных сооружений поднял толстяка с пола, и несколько добровольцев с готовностью помогли ему. Должно, они поняли, что происходит нечто необычное, что премьер попал в переplet, и, как всегда в таких случаях, в глазах их сверкало жадное и злорадное любопытство.

— Ну-с, последим за героем, — сказал король и подошел к окну. Я последовал его примеру. Парку я не видел, должно быть, он не попадал в поле нашего зрения, но Малыш виден был прекрасно. Он стоял посредине арены, могучий, само воплощение свирепости, и подозрительно оглядывался, время от времени изрыгая короткие языки пламени. Но вот, очевидно, он почувствовал невдалеке жертву, потому что грозно зарычал, поднялся на задние лапы, выдохнул длинную огненную струю, снова опустился и бросился вперед. Двигался он легко и быстро, чуть пригнув голову.

Стадион тысячеусто охнул и взорвался аплодисментами. Петляя, как наш земной заяц, по полю мчался премьер-министр. Дракон был намного быстрее, но обладал гораздо большей массой и несколько раз проскакивал, когда Парку резко менял направление.

Однажды Парку бросился прямо на барьер, огораживающий арену. Малыш мчался прямо за ним.

— Он хочет, чтобы чудовище врезалось в барьер, — заметил король. — Для премьер-министра он вовсе не глуп, но и дракон сконструирован недурно.

И действительно, в нескольких шагах от препятствия чудовище резко затормозило и в тот самый миг, когда Парку свернул, оно ловко срезало угол и одним ударом лапы повалило премьера на траву.

Боже, как рукоплескали трибуны, как махало избранное общество Эша флажками и шляпами, как кричало с восторгом, скандируя: «Ешь, рви, ешь, рви!»

Через несколько секунд все было кончено. Я отвернулся. Не могу сказать, чтобы я жалел заговорщика, но все-таки зрелище премьер-министра, разделенного на части, было мне неприятно. И если я все же мог сохранять некое подобие спокойствия и удерживать содержимое желудка на месте, то лишь из-за того, что воспринимал все происходившее как некую абстракцию. Как мальчик в анекдоте, заплакавший, когда ему показали картинку в книге, на которой античные львы на римской арене рзали несчастного христианина. «Что ты плачешь?» — спросили мальчика. «А вот тому льву ничего не досталось».

— М-да, — вздохнул Цурри-Эш, — справедливость в ее чистейшем виде. Человек получает то, что желал ближнему. Очень мило, но боюсь, я сегодня не смогу выйти на арену, а это опасно. Я всемогущ, а стало быть, не должен опасаться какого-то там паршивого дракона. А то получается, что я выслал на пробу премьера, а сам не решился выйти на ристалище. Можно было бы, конечно, бросить на арену еще одного или двух эшей и подождать, пока у дракона не подсядут батареи. Но зрелище еле ползущего чудовища вряд ли укрепит мою репутацию. Так что же делать, друг мой?

Если бы только у нас в институте кто-нибудь видел эту сцену! Там я младший научный сотрудник, суще-

ство низшего ранга, созданное лишь для общественных поручений и выступлений на лыжных кроссах. Там никому и в голову не приходило спрашивать мое мнение. Как, впрочем, и мне в голову не приходило его высказывать. А здесь его величество король Эша с надеждой смотрит на меня. Ах, Зина, Зина, где ты, лапочка, почему ты не видишь сейчас меня?

— Ваше величество...

— Нет, нет, Саша...

— Ваше величество, я выйду на арену и включу ограничители.

— Нет, Саша, мы цивилизованная планета и подписали соглашение о безопасности инопланетных посетителей.

— Не волнуйтесь, я...

— Но как? Нет такого существа, которое могло бы управиться с драконом.

— Я смогу, ваше величество.

— Саша, друг мой, я создам авторитетную комиссию, которая составит акт о вашем безумии, и я сохраню ваши останки в холодильнике до прилета ракеты.

— Хорошо, ваше величество, вы очень любезны.

Я бежал вниз к арене, а в голове у меня птичкой прыгала мысль: вот, принято думать, что человек с годами умнеет, становится более благоразумным. А я зачем-то выскакиваю на арену стадиона в столице Эша Угорре для того, чтобы включить предохранители в бок кровожадного электронного дракона. Зачем? Да, Малыш не тронул меня в ангаре, но кто может предсказать тайну электронных эмоций? Вполне может случиться, что, разохотясь на бедном премьер-министре, он ринется и на меня. Хотя, конечно, в глубине души я в это не верил.

Стадион ревел от восторга, и рев этот окружил меня незримой, но плотной стеной. И в мгновение это я вдруг понял, зачем я здесь. Вовсе не для того, чтобы помочь королю еще раз одурачить своих подданных.



Нет. Просто я всегда завидовал товарищам, которые с притворно-равнодушным видом выходили на футбольное поле или баскетбольную площадку, делая вид, что их несколько не волнуют аплодисменты. Потому что я никогда не играл ни в одной команде. И не из-за того, что был так уж неловок или бездарен. Просто стоило мне ощутить на себе чей-то взгляд, как члены мои наливались свинцом от смущения и я становился неуклюж и растерян.

И вот я на арене, я ощущаю на себе все сто пятьдесят тысяч глаз плюс три глаза Малыша. Он уже учуял меня, встает на задние лапы, рычит. Я бегу к нему и бормочу:

— Ну, ну, Малыш, ты же такой симпатичный дракончик, мы с тобой уже знакомы.

Клянусь ВАКом и своей докторской диссертацией, где она сейчас находится, мне показалось, что он слегка вильнул хвостом. Что вам сказать? Я поглаживал чудовище, бормотал всякие глупости, пока не откинул незаметно крышечку и не щелкнул ограничителями.

Когда я шел обратно к выходу с арены, дракон плелся за мной, как наша земная собака, а стадион бушевал от восторга.

Через час, после того, как его величество благополучно сразило Малыша и мы сидели в его комнате под трибунами стадиона, Цурри-Эш сказал:

— Саша, вы знаете, что ставите под угрозу политическую стабильность Эша?

— Что вы, ваше королевское величество! У меня и в мыслях этого нет, не говоря уже о том, что это строжайше запрещено всем командиремым в другие миры.

— И тем не менее, друг мой, и тем не менее. Вы оказываете мне бесценную услугу. И отказываетесь от десяти постов, которые я вам предлагаю, от роскошных, поистине королевских подарков, даже от Зукки из обсерватории Элфи, хотя, поверьте мне, эта дрянь умеет показывать звезды. Вы смущаете меня, вы посягаете на

мое мироощущение, друг мой. Как может править монарх, если он не уверен, что все на свете имеет цену? Благородство куда опаснее для властителя, чем, скажем, жадность или расчет. Потому что жадность или расчет легко предсказуемы и, стало быть, неопасны. А благородство, бескорыстие... Не знаю, не знаю, может быть, у вас там, на Земле, эти вещи и уместны, но на Эше — нет.

— Поверьте, ваше величество...

— Не желаю ничему верить. Короли должны знать, а не верить. Вы смущаете мой покой, а вы отдаете себе отчет, что такое королевский покой? Это не просто покой, это государственный покой, государственная тишина.

— Стало быть, ваше величество, прежде чем спасти вас, я должен был пораскинуть мозгами, что мне выгоднее: предупредить вас о грозящей смертельной опасности или спокойно смотреть, как дракон разрывает вас на сорок частей? Кстати, почему именно на сорок?

— В уголовном кодексе Эша сорок статей. В честь них дракон и разрывает преступников на сорок частей. Постоянное напоминание о необходимости трепетать перед законом. Но вопрос вы задали правильно, друг мой. Вы должны были рассчитать, что вам выгоднее, вернее, кто вам выгоднее, я или уже ныне покойный Парку. И ваш выбор был бы тогда логичным, я бы сказал, научно обоснованным. Потому что расчет — понятие научное. А ваше благородство... даже слов нет, друг мой, как оно нелепо и ненаучно. Что вы так смотрите на меня? Разве вы еще не привыкли к тому, что я хоть и король, но правлю в основном по королевской логике? Если угодно, я, так сказать, логический самодержец...

«А может, — подумал я, — логический самодур». Но мысль была поверхностная, чисто абстрактная, игра слов. Я никак не мог заставить себя относиться к Цурри-Эшу всерьез. И не только потому, что он был первый король, с которым мне приходилось общаться, и явился, казалось, прямо из сказки. Он был так кокетлив, так лю-

бил позерствовать, производить впечатление, так поглощен собой, что напоминал порой плохо воспитанного мальчишку, но уж никак не взрослого человека.

— А вообще-то, Саша, спасибо, — вдруг сказал Цурри-Эш и улыбнулся. — И никогда не слушайте, что говорят короли. Как вы говорили... ну, что-то насчет положения?

— А... ноблес обличж. Это по-французски, я вам...

— Да, да, помню. Именно ноблес обличж. Положение обязывает. Еще как обличж.

3

— Вы извините, Саша, что я послал за вами без предупреждения, да еще в такую рань, — сказал Цурри-Эш и зевнул. — Спал ужасно, почти не сомкнул ни одного глаза. Еле заставил себя сделать утром зарядку...

— Зарядку?

— Да, Саша, королевскую утреннюю зарядку. Очень эффективное средство для подготовки к новому дню. Для этого я вызываю заранее министра этикета и, как только открываю глаза, требую от него доклада. Он редкостный балбес, лентяй и невежда. Как только он открывает рот, я чувствую, что вот-вот убью его. Бью я его редко, но и состояния гнева вполне достаточно. Дыхание учащается, легкие хорошо вентилируются, кулаки ритмично сжимаются и разжимаются, кровь прямо бурлит в жилах. Я бодр и полон энергии. Иногда я думаю: что бы я делал без этого Сипени, ведь второго такого кретина найти нелегко. Вот и держу его в ранге министра, даже награждаю порой. Другие министры обижаются, мол, де, он ваш фаворит, и мы не хуже его. Хуже, говорю, господа, хуже. Такая глупость, как у него, это тоже, так сказать, редкий дар. И сколько бы вы ни старались, такими не станете. Попробуйте, скажите глупость. Будете тужиться, мучиться, перебирать варианты. Выйдет плоско, вымученно и даже неглупо. А он что

ни слово — непревзойденная глупость. Изысканный вздор.

Но я отвлекся, друг мой. Вы знаете, почему я всю ночь провертелся без сна? Все из-за того, что вы спасли мне жизнь и отказались от награды. Может, думаю, в доброте все-таки что-то есть? Короче, через двадцать минут начинается большой королевский совет, и я хочу, чтобы вы на нем присутствовали.

Я пробыл на Эше к этому времени почти полгода, но на большом королевском совете еще не был. Обстановка напоминала мне заседание средневековой палаты английских лордов, запечатленной с детства по классической литературе. Такого количества чопорных физиономий, собранных вместе, я еще не видел на Эше.

Придворные располагались тремя рядами амфитеатра перед тронем, на котором восседал король. Стены совета были увешаны королевскими штандартами и гербами, а одну занимал огромный портрет Цурри-Эша, вонзающего меч в грудь дракона. Картина была выполнена в голографической технике — даже не картина, а окно в стене, в которое виден был поединок.

— Королевский совет открывается, — сказал Цурри-Эш. — Век править королю!

— Век! — хором воскликнули члены совета, и король медленно и внимательно ощупал присутствовавших взглядом, словно желая убедиться, все ли выражали свои чувства с пристойным рвением.

— Господа, — сказал король, — я собрал вас по чрезвычайно важному поводу. Я пришел к выводу, что эти недостаточно добры и благородны. В их поступках много корысти, расчета и слишком мало истинных движений души...

— Неблагодарные... — пробормотал кто-то из присутствовавших.

— Меня кто-то перебил? — недоверчиво спросил Цурри-Эш.

— Да, ваше королевское величество, — храбро воскликнул молодой эш, вскочив на ноги. — Это сделал я, ваш недостойный слуга Гаорри, начальник королевской изостудии. Я осознаю, что совершил неслыханное преступление, но я не мог молчать. Меня потрясает неблагодарность ваших подданных, которые не хотят брать пример с вашего королевского величества, монарха необыкновенно доброго и неслыханно благородного. Я сказал, ваше величество, и готов теперь нести любое наказание за дерзость.

— Похвальная готовность. Ваше звание, господин Гаорри?

— Придворный приближенный четвертого класса, ваше королевское величество.

— За то, что вы перебили меня, я снижаю ваше звание до пятого класса.

— Век править королю Цурри-Эшу Двести десятому! — выкрикнул начальник королевской изостудии.

— Век, век, век! — подтвердил король. — За достойные мысли и чувства, высказанные ясно и от души, повышаю ваше звание на два класса. Отныне вы придворный третьего класса.

Члены совета дружно закричали «Век править королю!», но от взглядов их, казалось, начальник изостудии вот-вот должен был задымиться и вспыхнуть, как мишень в мощном лазерном луче.

— Итак, господа придворные приближенные, в стране дефицит добрых и благородных чувств. Мало кротости, господа. И это меня огорчает. Да что огорчает, даже печалит! Сердит и возмущает! Я бы тех, господа, в ком мало кротости, своими руками задушил! — лицо Цурри-Эша побагровело, а все три руки сжались на воображаемых шеях недостаточно кротких подданных. — Я бы тех, в ком мало благородства, бросил дракону, и пусть каждая сороковая часть их останков учит эшей любви и доброте. Но, господа, поскольку мы не можем загнать всех граждан на арену стадиона, ибо не хватит

ни арен, ни драконов, следует не только устрашать, но и поощрять.

Поэтому, господа, с сегодняшнего дня я ввожу королевским эдиктом шкалу цен, начисляемых каждому моему верноподданному за доброе дело или благородный поступок. Мысли и чувства награждаться не будут впредь до ввода в строй проверочной станции. Станции такие разрабатываются и будут представлены мне для королевской апробации еще до конца года. С появлением их каждый эш должен будет два раза в день зайти на станцию, где специальные датчики мгновенно проанализируют все движения души испытуемого и передадут плюсовые или минусовые очки на личный счет его в главном компьютере полицейско-карьерного департамента. Два раза в год будет назначаться день королевского страшного суда. Набравшим высокую положительную сумму будет вручаться моя статуэтка, набравшие отрицательную сумму будут передаваться дракону или посылаться на необитаемый остров.

А пока станции будут готовы, мы должны учитывать только добрые и благородные дела. Например, помощь внезапно заболевшему на улице. Регистрацию добра и благородства будет вести полицейский департамент, причем все полицейские сегодня же получают прејскурант, в котором будет указана та или иная цена того или иного доброго дела.

Само собой разумеется, господа придворные приближенные, вы должны будете подать пример моим подданным.

Благодарю вас, господа, за плодотворный обмен мнениями.

— Век править королю! — воскликнули члены совета. — Век!

Хор голосов поразил меня изумительной стройностью, я бы сказал, синхронностью, но лица придворных были напряжены, а глаза напоминали дисплеи калькуляторов, в которых так и прыгали циферки.

Через два дня его величество сказал мне:

— Я вас не понимаю, мой друг. Сначала вы смущаете мой покой и стройность мыслей малознакомым мне благородством, а когда я ввожу его в своем королевстве, вы только пожимаете плечами. Ваше счастье, Саша, что я не сразу понял значение этого жеста, никто на моей памяти не пожимал передо мной плечами. А когда мой придворный психолог объяснил мне, что такое пожатие плеч, я уже остыл. А то бы, клянусь драконом, он разорвал вас на сорок частей за неверие в добро... хотя, гм... во-первых, он вас не трогает, а во-вторых... гм... вы же и сагитировали меня... гм... И все равно, друг мой, не сносить бы вам вашей двуглазой головы. С друзьями и близкими я очень непосредствен в выражении чувств.

Но я хочу, чтобы вы сами убедились сегодня в том, насколько я мудр и дальнозорок. Что-то, я помню, вы говорили о том, что лучше увидеть или услышать... Впрочем, мы и увидим и услышим.

— Каким образом?

— Сегодня в одно и то же время из пяти пунктов столицы выйдут пять эшей. На каждом из них будет незаметно спрятан аудио- и видеопередатчик. В одно и то же время все пятеро упадут прямо на улице с сильным сердечным приступом...

— А смогут ли они сыграть свою роль достаточно убедительно?

— О, им и не придется играть, друг мой, — тонко улыбнулся король.

— Не понимаю.

— Однако, Саша, порой вы удивительно непонятны. У них действительно будут сильные сердечные приступы.

— Но...

— Об этом позаботился департамент здоровья. В детали я не вхожу, но думаю, что что-нибудь они им дадут.

— Но ваше королевское величество! Чтобы судить о распространении благородных чувств, вы заставляете страдать пятерых ни в чем не повинных эшей.

— Не понимаю.

— Им же будет больно, они будут мучиться. Им будет страшно.

— Ну и что? Какой, однако, вздор вы несете, друг мой. Или это ваша земная несуразность? О каких страданиях вы говорите, если я осчастливил кого-то, выбрав для служения королю?

— Значит, эти пятеро добровольно согласились испытать сердечный приступ? Правильно ли я вас понял, ваше величество?

— Не совсем. Они согласились выйти на улицу, но они не знают, что их ожидает. Я люблю делать своим подданным сюрпризы. И потом, вы сами сказали, что поведение их должно быть достаточно естественным. Замечательный эксперимент, а? А мы с вами будем наблюдать за тем, что с ними случится.

В который раз я спрашивал, что представляет собой существо, сидевшее сейчас передо мной с самым добродушнейшим и горделивым видом. Так ли он бесчеловечно жесток или искренне не в состоянии проникнуться чужой болью? И не мог дать себе ясного ответа, потому что истина, как это она любит делать, скрывалась где-то посредине.

— Но позвольте, ваше величество, спросить. Надеюсь, приступы не будут чрезмерно сильными.

— Ах, вы опять о своем, — раздосадованно сказал король. — Вот вы мне рассказывали о своей медицине, о науке. Сколько тысяч раз вы ставили опыты на животных?

— Но они же...

— Вы хотите сказать, не понимают? Но ведь чувствуют! И страдают! Мы же никогда на Эше не ставим опыты на животных, хотя наши тупы физиологически очень близки к нам. Мы ставим опыты исключи-

тельно на эшах. На добровольцах или на осужденных. У нас даже наказание есть специальное. Приговаривается, допустим, к медицинскому эксперименту такой-то степени сложности. Но хватит об этом. Располагайтесь поудобнее, через несколько минут мы включим экраны мониторов.

Ярко вспыхнули пять экранов. На всех них ритмично покачивались изображения улиц, и нетрудно было догадаться, что передатчики были закреплены на идущих эшах. Внезапно на одном из экранов картинка дернулась, здания описали дугу, а динамик донес до нас стон.

Не могу сказать, что я как-то особенно отзывчив к чужой боли. Иногда я кажусь себе суховатым и даже бесчувственным человеком, но на этот раз все во мне сжалось от острой жалости к незнакомому трехглазому существу, упавшему сейчас по нелепой королевской прихоти где-то на улице столицы. Два ли у тебя глаза, три или вовсе нет — не имеет никакого значения. Если любое живое существо, способное ощущать боль и ужас, страдает, мы, земляне, выкорчевавшие из себя древний слепой эгоизм, всегда стремимся помочь ему, разделить одиночество мучений. Я не мог помочь безвестному мне эшу, не мог позволить себе вскочить на ноги и с наслаждением вклепить увесистую и заслуженную оплеуху королю эшей. Я мог только мысленно скорчиться вместе с упавшим, видеть опрокинутый тротуар совсем близко от лица, задерживать дыхание, стараться убажить свирепую, грызущую боль в груди...

Из динамика послышались торопливые шаги, и на экране показался эш. Вот он побежал, приближаясь, заполнил собой экран.

— Вот удача, — послышался его голос, слегка запыхавшийся от бега, — это же помощь заболевшим или пострадавшим на улице или в общественных зданиях. Целых пятнадцать очков, подумать только! Только бы он не испустил дух, а то от пятнадцати очков останется

всего пять. Та-ак... Слава королю, жив, кажется... Гм... что же делать... пойти вызвать медицинский экипаж, а вдруг пока кто-нибудь еще появится... Нет, надо подождать стражника, а то вообще не регистрируешь доброе дело, иди потом доказывай.

— Бо-ольно, — прошептал лежавший эш, — помогите... в груди...

— Ничего, ничего, потерпишь. Вот регистрирую добро, тогда и вызовем экипаж.

Внезапно слышались торопливые шаги. Подошел еще один эш.

— Это что такое? — строго спросил он.

— Да вот, свалился, жалуется, в груди болит, жду стражника, чтобы зарегистрировать доброе дело. Пятнадцать очков — не шутка.

— Не шутка, — охотно согласился подошедший эш. Был он велик ростом, и передние его глаза смотрели зло и подозрительно. Он оглядел лежавшего, перевел взгляд на второго эша, подозрительно ощупал его глазами и спросил:

— А почему я знаю, что ты не врешь? Бывают, говорят, случаи, когда сами эшей с ног сшибают, а потом требуют очки за помощь...

— А вы кто такой, чтобы выговаривать мне? Вот крикну сейчас стражника...

— Я тебе крикну. А ну, беги отсюда, пока я тебе все три глаза не прикрыл. Понял? Или тебе больше кулаки понятны? Ну?! — Он сжал кулаки и надвинулся грудью на противника. Тот мгновение колебался, потом отступил на шаг.

— Да вы что? — занял тонким плаксивым голосом первый эш. — Это что же получается, я нашел этого типа первый, наклонился над ним, жду стражника, чтобы зарегистрировать доброе дело, а у меня его хотят оттяпать!

— Я те оттяпаю, — зло буркнул высокий эш. — Ты его сам с ног сбил, по всем твоим трем глазам вижу,

что ты за штучка. Беги, пока я тебя сам стражникам не сдал!

— По-омогите, — застонал лежавший эш, но спорившие даже не обратили на него внимания.

— Пятнадцать очков захотели! — взвизгнул первый эш. — Нет уж, я за свое благородство глотку всем перегрызу!

— Ты? Глотку? — засмеялся высокий. — Мозгляк! Запахло очками — и все на свете забыл, даже разум потерял. Ты мне глотку перегрызешь? Да я сначала...

— Бо-ольно, — снова застонал лежавший.

— Будет больно, — рассудительно сказал высокий, — когда за очки бог знает что готовы вытворять. Совесть совсем потеряли. Последний раз предупреждаю, вали отсюда подобру-поздорову, а то вместо очков раздерет тебя чудовище на сорок частей. Ну!

Первый эш коротко вскрикнул, наклонил голову и попытался боднуть высокого, но тот ловко увернулся, нанес короткий удар нападавшему в голову, и тот со стоном рухнул на тротуар рядом с жертвой эксперимента.

— Придавить тебя, что ли, — задумчиво пробормотал высокий. — Еще пять очков... Хотя иди потом, доказывай...

Он так погрузился в свои расчеты, что не заметил, как его противник перевернулся на спину и неожиданно ударил его ногой в живот. Высокий хакнул, качнулся, наступил на больного эша и шмякнулся на землю.

Его величество нажал кнопку, и изображение погасло.

— Каково? — горделиво посмотрел он на меня. — Вы видите, друг мой, как эши живо откликнулись на мою мудрую инициативу? Как идея добра мгновенно пустила корни? Эши готовы сражаться за право сделать добро...

— Гм, — промычал я.

Великое дело точка зрения. То, что наполняло меня брезгливым отвращением, мнилось Цурри-Эшу необыкновенно достойным начинанием. Говорить было бес-

смысленно, спорить глупо. И все же я не мог удержаться.

— Ваше величество, — вздохнул я, — вы не находите несколько странным, когда во имя добра совершают насилие?

— Не понимаю, друг мой Саша, — нахмурился король, — что вас так изумило? Эши отныне стремятся к добру. Что означала эта смешная драка, что мы только что видели? Искренность. Если бы этим двум эшам было безразлично, содеют ли они доброе дело, стали бы они бросаться друг на друга, как дикие тупы? Хотя вы и инопланетный мой гость и спасли мою королевскую жизнь, но вы порой кажетесь мне таким... гм... скажем, непоследовательным. Но давайте посмотрим за вторым монитором.

На экране около лежавшего эша стоял стражник в голубом плаще департамента полиции и беседовал с пожилым господином в черной шляпе гильдии коммерсантов.

— Но поймите, господин стражник, — вкрадчиво шептал коммерсант, — что вы получите, если вызовете медицинский экипаж и сдадите этого несчастного? — Он бросил быстрый взгляд на лежавшего. — Да ничего, потому что оказание помощи пострадавшим и так входит в обязанности корпуса стражников, и очки за это им не начисляются. С другой стороны, если бы можно было отнести доброе дело на мое имя, компьютер внес бы на мой счет целых пятнадцать плюсовых очков. Пят-над-цать! А жизнь коммерсанта, господин стражник, вовсе не так сладка, как думают некоторые, и никогда не знаешь, какой там баланс окажется в день страшного королевского суда. Ведь нам и завидуют, хотя совершенно зря, клянусь драконом, и клеветают на нас, охо-хо... Как еще клеветают!

— К чему вы это все? — спросил стражник. — Для чего столько слов?

— А к тому, господин стражник, что мы оба могли

бы извлечь пользу из ситуации, которая не дает ни вам, ни мне ровным счетом ничего... — Коммерсант тонко улыбнулся и посмотрел на стражника всеми своими тремя глазками.

— Как это? Не пойму я, как-то вы это смутно все излагаете, — пробормотал полицейский. Лицо его изображало крайнее умственное напряжение.

— Видите ли, господин стражник, я бы с удовольствием дал вам, ну, скажем, двадцать пять кулей, если бы вы зарегистрировали, что я совершил доброе дело, найдя этого несчастного, оказав ему первую помощь и вызвав медицинский экипаж.

— Но ведь это я его нашел, — усмехнулся стражник.

— Ну конечно, вы. Иначе я бы не предлагал вам двадцать пять кулей. Понимаете? Это очень просто. Вы регистрируете мое доброе дело, а я даю вам двадцать пять кулей. Вот, смотрите, — он вынул из кармана длинные и узкие полоски королевских денег.

— Нет, — покачал головой стражник, — так не пойдет, господин коммерсант. Сначала вы даете мне деньги, а потом уж я регистрирую ваше доброе дело.

— Хи-хи-хи, — тоненько засмеялся коммерсант, — какой вы недоверчивый человек. Сразу видно, что вам мало приходится заниматься коммерцией. Торговля, господин стражник, развивает доверие. Я вам, например, вполне доверяю. Поэтому я вам дам пять кулей, вы зарегистрируете меня, и тогда получите оставшиеся двадцать.

— А если не дадите? — пожал плечами стражник. — С кого мне их потом требовать? Не приду же я к начальнику. Так, мол, и так, я зарегистрировал доброе дело эшу, а он, неблагодарный, надул меня на двадцать кулей. Знаете, что сделал бы наш начальник?

— Н-нет, — неуверенно пробормотал коммерсант, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

— Он бы сказал: «Пруззи, принеси мне к вечеру пятьдесят кулей, или ты окажешься на подземной очи-

стке». Вот что сказал бы наш начальник, господин коммерсант. А он человек принципов. Сказал — сделал!

— Может, мы зря торгуемся, господин стражник, может, наш, так сказать, товар уже испустил дух? — Коммерсант нагнулся над лежавшим, приоткрыл ему веко, приложил ухо к груди. — Жив. Ну, хорошо, господин стражник, вы убедили меня. К тому же мне вообще неприятно торговаться над больным эшем. Вот вам десять кулей, и пятнадцать вы получите после регистрации.

Стражник посмотрел на противоположную сторону улицы, где шли два эша.

— Может, я лучше предложу больного этим? — спросил стражник. — Смотрите, какие плащи, уж эти-то не станут торговаться из-за лишнего куля. Позвать?

— Экий вы, однако, упорный, — вздохнул коммерсант, — двадцать кулей сейчас, пять потом.

— Дракон с вами, двадцать пять вперед и десять потом.

— М-да, — сказал король, — это уже немного выходит за рамки. Если корпус стражников начнет устраивать на улицах аукционы... Адъютант! — Он повысил голос.

— Слушаюсь, ваше королевское величество, — браво отрапортовал молодой эш с внезапно вспыхнувшего большого экрана.

— Только что по второму монитору некий стражник по имени Пруззи пытался продать доброе дело. Чтобы через полчаса он был здесь.

— Слушаюсь, ваше королевское величество.

Король посмотрел на меня, помолчал, потом, как бы извиняясь, молвил:

— Дело новое. Вот вы недавно рассказывали, как у вас когда-то вводили обязательные прививки детям против оспы. Так и с добрыми делами. Пройдет время, все образуется. Король должен быть мудр и терпелив. Я Двести десятый повелитель эшей в последней династии. И каждый мой предшественник тоже был мудр

и терпелив. Представляете себе, сколько это мудрости и терпения? Как говорил мой отец, не забывай, сынок, что все начинания имеют свои окончания. Удивительный был человек мой отец. Правил сорок два года — и ни одной измены среди приближенных придворных. И знаете, как он этого добился? Очень просто: каждый год выгонял всех своих приближенных и набирал новый двор. Он исходил из здоровой мысли, что серьезный заговор против короля — дело сложное, хлопотное, требующее уж никак не менее года. Цурри, сынок, говорил он мне, никогда не забывай вулкан Кару-ну. Первый раз я спросил его: «Папочка, при чем тут вулкан?» «Очень просто, сынок. Ты помнишь это жерло, kloкочущее от подземного дьявольского жара? Этот грохот, глухой и страшный? Этот запах вонючего подземелья? Так вот, сынок, ты должен помнить, что королевский трон — это тот же вулкан. Еще страшнее, пожалуй. Прислушивайся, принимаешь и не прозевай сигнал опасности».

Мудрый был человек и справедливый. И повелитель космоса наградил его по заслугам — дал умереть своей смертью.

Должно быть, король прочитал мои мысли. Он нахмурился и обиженно сказал:

— Напрасно вы так улыбаетесь, Саша. Знаете, сколько моих предшественников имели счастье отправиться к повелителю космоса естественным путем? Так вот, другой мой, всего девяносто четыре, то есть много меньше половины. Теперь вы понимаете, что имел в виду мой незабвенный родитель, когда утверждал, что трон наш стоит на вулкане.

— Ваше королевское величество, — доложил адъютант со вновь вспыхнувшего экрана, — по вашему приказанию стражник Пруззи найден и доставлен во дворец.

— Хорошо, — сказал король, — пусть вползет.

— Слушаюсь, ваше королевское величество.

Дверь в комнату тут же распахнулась, и стражник, которого мы уже видели на экране монитора, быстро прополз по ковру, не поднимая головы. Наверное, им двигало вернопопданнейшее чутье, потому что он распростерся ровно в трех метрах от короля, которые предписывались этикетом, трижды стукнул лбом о пол. Лба стражник не жалел, и удары получились звонкие, бодрые.

— Сегодня вечером ты пытался продать доброе дело, стражник. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Я справедлив, терпелив и мудр и всегда выслушиваю последнее слово. Говори. Можешь стать на колени.

Стражник одним текучим движением гимнаста оторвался от пола и стал на колени. Но и на коленях он стоял не вертикально, а весьма основательно наклонился вперед, отчего поза его выражала удвоенное почтение и готовность мгновенно сорваться с места и броситься вперед по первому приказу своего повелителя.

— Ваше королевское величество, я не собираюсь оправдываться. Быть наказанным королем Эша — величайшее счастье. И если ваше королевское величество дарует жизнь хотя бы двум моим несмышленным сыновьям, они с гордостью и восторгом будут помнить всю жизнь, что их отец был наказан самым обожаемым повелителем Эша.

— Неплохо сформулировано, — вздохнул король, повернулся ко мне и добавил: — Знают, негодяи, мою слабость к четким и изящным формулировкам, пользуются. Ну так что же ты можешь сказать по существу, Пруззи? Ты пытался продать доброе дело?

— С разрешения вашего королевского величества, ваш недостойный слуга скорее пытался сделать бизнес при помощи служебных обязанностей.

— Объясни.

— Ваше королевское величество, как я мог продать доброе дело, если оно мне не принадлежало? По дей-

ствующим инструкциям стражникам за доброе дело очки компьютер не начисляет. А стало быть, очки я не продавал. Нельзя продать то, чего у тебя нет. С другой стороны, я действительно попытался сделать небольшой бизнес в размере тридцати пяти кулей, но лишь в качестве благодарности за доброе дело.

— Гм... Ты, случайно, не знаком с трудом королевского экономиста Паззла «Взятка»?

— Так точно, ваше королевское величество! — с лихой горделивостью воскликнул стражник. — Начальник зачитывал нам отрывки.

— Что же ты понял из выводов моего советника?

— Ваше королевское величество, все наши стражники знают наизусть три главных вывода многомудрого господина Паззла.

— Назови их.

— Слушаюсь, ваше королевское величество. Первый: взятка королевского чиновника есть древнейшая и естественнейшая смазка государственного механизма, позволяющая всем его частям и колесам вращаться легко и без скрипа. Второй: чиновник, получающий взятку в разумных традиционных размерах, должен поделиться ею со своим боссом. Это способствует воспитанию у взяточбрателя уважения к королевским чиновникам и развитию философского восприятия мира, потому что, делясь взяткой, он становится одновременно и взяточбрателем и взяточдателем. Третий: взяточничество является наиболее эффективным способом перераспределения богатства.

— Гм, отличная память. Значит, ты не считаешь себя виновным?

— С разрешения вашего королевского величества, мои боссы учили нас, что каждый эш должен всегда считать себя виновным, пока вышестоящий чиновник не решит иначе. Я виновен вообще и в частности в том, что намеревался предложить заболевшего эша двум другим эшам, а это можно квалифицировать как

аукцион, что законом запрещено, и как нарушение королевского порядка на улицах.

— Гм... похвальная строгость по отношению к самому себе, стражник. Итак, мой справедливый и мудрый приговор: за попытку устроить аукцион на улице — двадцать электрических разрядов. За отличное знание основополагающего труда о взятках и умение четко формулировать мысли ты будешь награжден, причем награда будет вручена во время экзекуции, дабы она могла смягчить страдания от разрядов. Все.

— Век править королю! — воскликнул стражник и с такой силой трижды стукнул головой о пол, что я был уверен — вот-вот она треснет. Со сверхъестественной способностью к ориентации, которую я не раз наблюдал у должностных лиц Эша, стражник быстро пополз в обратном направлении, ногами вперед. Он ни на мгновение не оторвал лица от пола, но попал ногами не просто в дверь, а в самую ее серединку, деликатно приоткрыл ее ногой же и ловко выскользнул из комнаты.

— Вот так, друг мой, — усмехнулся король. — Кто-то думает, что самодержец обязательно самодур. Помню, как-то раз приговорил я одного приближенного придворного к визиту к дракону. Не помню уже за что, ну да это и не имеет значения. Так вот, этот неблагодарный и говорит: «Ваше величество, перед тем, как быть разорванным драконом на сорок частей, я хотел бы самым почтительнейшим образом заметить, что вы самодур». У меня даже кровь в лицо бросилась от обиды. Чувствую, все три глаза увлажнились, вот-вот заплачу. «Это почему же я самодур? — спрашиваю. — Извольте объяснить вашу реплику, господин приближенный придворный!» — «Ваше королевское величество, я признаю, что из-за моего небрежения во время королевской охоты электронные гончие не были с должным тщанием проверены, и туп, которого вы должны были загнать, ушел. Но я полагал, что за мой проступок мне следовало бы дать двадцать-тридцать электрических разрядов». Пред-

ставляете, Саша, какова наглость? Да это почти революция! Я с трудом сдержался и спокойным голосом говорю: «Господин приближенный придворный, сами того не подозревая, вы противоречите себе. Да, если бы я был самодуром, я приказал бы дать вам электрических разрядов. Но это наказание традиционно применяется к низшим сословиям. Я мог бы, разумеется, послать вас на необитаемый остров, но традиционно считается, что это менее благородное наказание, нежели визит к дракону. Видите, сколько соображений приходится принимать во внимание, прежде чем разрешить вам отправиться в последнее путешествие к повелителю космоса. А вы — самодур!» И что же вы думаете? Понял всю вздорность своих утверждений. Голову так повесил грустно, пригорюнился и прошептал: «Простите, ваше королевское величество, я был не прав». Чувствую, Саша, прямо даже какая-то симпатия к нему так и поднимается откуда-то из живота. Так и подмывает простить и помиловать. А нельзя. Не может король быть непоследовательным. Это уж действительно было бы самодурством. Решил казнить — казни! Пусть тебе тяжело, пусть ты внутренне страдаешь, все равно терпи. Теперь вы видите, какова наша королевская доля? Не позавидуешь, клянусь драконом, не позавидуешь. Иной раз так себя жалею, так жалею, бросил бы все к повелителю космоса. А нельзя. Потому что я эш долга. Взялся править — правь. На то ты и король. Обидно только, когда сталкиваешься с неблагодарностью, как с этим эшем, о котором я вам только что рассказывал. О себе только думают. Не хочется, видите ли, чтобы дракон их на сорок частей разделал, а чтоб о своем короле подумать — куда там... Такое падение нравов...

Цурри-Эш устало вздохнул и как-то обмяк, расплылся в своем кресле. Несколько минут он молчал, и я в тысячный раз поражался его искренней убежденности в своем праве казнить и миловать, указывать, кто прав и кто виноват. Может, он и прав, может, без этого и нель-

зя быть самодержцем. Не знаю, не пробовал. Так это все чудовищно далеко от нашей земной жизни. Хотя были когда-то на Земле короли, цари и диктаторы, которые отличались от Цурри-Эша только количеством глаз и рук.

И все-таки какой же поразительной глухотой и слепотой должно обладать мыслящее существо, чтобы так отгородиться от мыслей, чувств, страданий себе подобных. Эгоцентризм, переходящий в патологию. А может, не так уж не правы историки, утверждающие, что все деспоты должны быть в большей или меньшей степени безумны.

— И знаете, Саша, от чего больше всего устаю? От необходимости рассчитывать каждый свой шаг, от необходимости постоянно напоминать себе, что ты — король. Ловлю себя иногда на том, что уж и мысленно называю себя не иначе как «ваше королевское величество». А как тяжело предвидеть последствия своих шагов! Давеча пятерых футурологов пришлось отправить на остров Дракона. Предсказали одно, а на проверку получилось совсем другое. Вот и завтра тоже садись снова на трон и выполняй функции верховного судьи. Гильдия воров жалуется на моих футурологов. Опять, кажется, намудрили предсказатели. Приходите послушайте.

— Обязательно, ваше величество.

4

Зал королевского совета был полон. На этот раз амфитеатр был заполнен эшами в судейских полосатых плащах и еще какими-то, чью профессиональную или кастовую принадлежность я не мог определить по одежде.

— Высший королевский суд начинает работу, — устало молвил Цурри-Эш и плотнее уселся на троне. — Век править королю!

— Век! — волнами заходило по амфитеатру. Я прислушался, присмотрелся и понял, откуда этот сте-

реозффект. Похоже было, что обе стороны судебного разбирательства были еще и сторонами в буквальном смысле этого слова: каждая из них занимала одно из крыльев амфитеатра. И соревновались теперь в энтузиазме, с которым славили короля.

— Сегодня его величество король в качестве верховного судьи и хранителя высшей справедливости рассмотрит жалобу гильдии воров на гильдию программистов электронно-вычислительных устройств. Адвокат воров, изложите вашу жалобу.

— Слава справедливейшему из справедливых! — пылко воскликнул пузатый эш в полосатом судейском плаще. — Позвольте, ваше величество, кратко изложить суть дела.

Цурри-Эш слабым движением век изобразил согласие, и пузатый начал выступление:

— Ваше королевское величество, столько, сколько существует цивилизация, существует воровство. По мнению многих ученых, например королевского историка Кразу, воровство существовало даже до возникновения цивилизации, являясь в каком-то смысле ее, так сказать, катализатором.

Крадут, как известно, и животные. По мнению королевского историка Аразу, воровство является одной из функций живого существа и может быть включено в дефиницию живого...

— Может быть, адвокат гильдии воров несколько сократит чисто исторический экскурс? — сказал король.

— Век править! Спасибо вашему королевскому величеству за столь ценную поправку к нашему выступлению! — выкрикнул адвокат. Одно из крыльев амфитеатра ответило одобрительным гулом, другое — легким и почтительным шиканьем. — Итак, ваше королевское величество, можно считать воровство одной из древнейших, а стало быть, и почтеннейших профессий. Как известно, гильдия воров существует на Эше с незапамят-

ных времен и всегда рассматривалась как весьма полезная и даже необходимая общественная организация. Она считала необходимым следить за высоким профессионализмом своих членов, требуя при вступлении в гильдию сдачи суровых и сложных экзаменов. Она таким образом оберегала общество от любителей, ибо любители и только любители всегда были ответственны за эксцессы при воровстве, за никому не нужное повреждение частной и королевской собственности и даже жертвы. Наконец, гильдия всегда строго следила за оптимальным численным составом своих членов, тогда как любительство ведет к бесконтрольному воровству. Гильдия также всегда требовала соблюдения ее членами воровской этики, которая, как известно, отличается на Эше высокими нравственными критериями.

Так продолжалось века, пока не были изобретены компьютеры. Как только они стали использоваться в банковском деле, при всевозможных платежах, появились случаи, когда особо ловкие программисты ухитрялись различными тонкими манипуляциями переводить на свои счета довольно крупные суммы. Так, например, старший программист Первого коммерческого банка Угорры некто Пуарс ухитрился за год перевести на свой счет не более не менее как один миллион двести тысяч кулей. Ряд членов гильдии поставил вопрос о приеме программистов-воров в нашу гильдию. Но абсолютное большинство на ежегодном заседании с негодованием отвергло эту идею. Выступавшие подчеркивали, что настоящий вор — традиционно честный эш, зарабатывающий на жизнь нелегким трудом карманника, домушника, медвежатника и так далее. Ремесло это требует многолетнего обучения, труда, способностей, постоянной тренировки. Оно сопряжено с риском. Отсюда и профессиональная гордость и вполне понятное стремление предстать в глазах общества в наилучшем виде. Гильдия тратит до двух миллионов кулей в год на рекламную кампанию в прессе и других средствах массовой инфор-

мации под лозунгом: «Воровство не зло, а полезная для общества профессия».

Программист же для нас существо презренное. Мы скрещиваем свои умы, свою ловкость, свой талант с умами, ловкостью, талантами других эшей. Другими словами, мы крадем в честном состязании. Или мы украдем, или нас поймают. Программисты же крадут в некотором смысле у машины. У интегральных цепей и полупроводниковых приборов. С точки зрения гильдии это безнравственно. К тому же, признаюсь, ваше королевское величество, многим заслуженным членам гильдии, почтенным виртуозам бритвы и отмычки, больно и неприятно было наблюдать, как какие-то молодые выскочки воруют в десятки раз больше и легче их. Вначале мы обратились с петицией сократить или вовсе прекратить практику использования компьютеров для различных банковских операций. Выяснилось, что это, увы, невозможно. Тогда мы попросили министерство юстиции, полиции и очистных сооружений усилить борьбу с ворами-программистами и увеличить им наказание. Министерство пошло нам навстречу. Так, за один лишь прошлый год двенадцать программистов было брошено дракону, двадцать семь отправлены на необитаемый драконов остров, сто два получили различные дозы электрических ударов.

К сожалению, все эти меры не возымели желаемого действия. Воры-программисты продолжали беззастенчиво обманывать доверчивые компьютеры. Тогда гильдия обратилась к футурологам. По их указанию была проведена новая интенсивная кампания с целью повышения престижа традиционных воров и выставления программистов в виде презренных врагов общества и прогресса. Мы устраивали лекции, состязания, выставки. Особым успехом пользовались состязания. На сцену приглашались желающие, десять или пятнадцать эшей. Среди них действовал карманник, в лицо его не знали. По правилам состязания, любой эш, схвативший вора за руку

в момент совершения кражи, получал крупный приз. В зале устанавливались телемониторы, а на потолке сцены передающие камеры. Зрители могли видеть, как ловко, как виртуозно работают карманники, какой артистичностью и талантом нужно обладать, чтобы буквально опустошить карманы людей на сцене, каждый из которых ждал, готовился к этому. Верите, ваше королевское величество, сотни раз аудитории разражались восторженными аплодисментами, глядя, как их товарищи на сцене подозрительно крутят головами во все стороны в то время, как у них из карманов как бы сами собой вылезали бумажники. «Вы как заклинатели змей, — сокрушался как-то один из обчищенных на сцене. — Вы не вытаскиваете ничего из карманов. Вы заставляете содержимое их выползать прямо к вам в руки».

А состязания, пропагандирующие ловкость наших квартирных воров! Позволю напомнить, ваше королевское величество, как они устраивались. На сцене сооружался макет дома или квартиры, и в десяти-пятнадцати местах, на полу, в стенах, в мебели, мы прятали чувствительные микрофоны, соединенные через мощные усилители с динамиками в зале. По условиям состязания, чтобы получить приз, нужно было пройти от входа в квартиру до небольшого сейфа, стараясь произвести как можно меньше шума. Свет на сцене убавляли, чтобы участник состязания нащупывал свой путь в полутьме. Повелитель космоса, как веселились собравшиеся, когда через шаг или два в динамиках слышался чудовищный грохот от перевернутого стула или визг домашнего тука от прищемленного хвоста! Один, второй, третий — ни одному из любителей не удавалось дойти до сейфа. И вот на сцену выходил профессионал. Ведущий торжественно объявлял: «Уважаемые эши, мы рады представить вам непревзойденного мастера взлома, героя ста с лишним краж, со средним годовым доходом в семьдесят тысяч кулей, эша, который за восемнадцать лет интенсивной практики провел на очистных сооружениях всего шесть

месяцев. Просим приветствовать!» Эши хлопали герою и потом с восторгом следили, как изящно, ловко, даже грациозно скользил вор по квартире, скользил быстро и бесшумно, как летучий хруни, что умеет видеть в темноте. Повелитель космоса, в какой восторг приходили эши от такого искусства!

А замочные конкурсы! Наши профессионалы демонстрировали поистине феноменальное искусство открывания замков, причем, заметьте, замков не своих, а тех, что им передавала публика. Они вскрывали сейфы, открывали замки на ощупь, с завязанными глазами, одной рукой.

Пrestиж воровских наших традиционных профессий вырос необыкновенно. Мы начали было надеяться, что одолели программистов в заочной битве, но, к своему смятению, начали убеждаться, что повышение престижа повлекло за собой совершенно непредвиденные последствия. Как тут не вспомнить шутку кулинару: по-настоящему вкусное блюдо можно приготовить только по рецепту. Но рецепт этот можно составить, только приготовив по-настоящему вкусное блюдо.

Члены гильдии начали замечать, что им все труднее и труднее становится работать. Один из лучших наших специалистов жаловался недавно на собрании секции карманников: господа, не могу понять, что происходит. Ранее я работал совершенно спокойно. В день, не перенапрягаясь, делал три-четыре сумочки, изымал до десятка бумажников, не говоря уже о карманах в россыпь. А сейчас с трудом выполняю четверть этой работы, причем то и дело почти что хватают за руку. Происходит самое страшное, господа, начинаешь терять в себе уверенность. По ночам мне снятся капканы, которые сжимают мои пальцы в чужих карманах. Это ужасно, господа, и этому есть только одно объяснение: эши, которым мы с такой гордостью демонстрировали свое искусство, стали опытнее и осторожнее. Они открыли для себя множество маленьких хитростей, которые необыкновенно

усложняют нашу работу. Я не знаю, что со мной будет, господа, не знаю, как сумею воспитать своих детей.

А совсем на днях один из опытейших наших квартирных воров влез в дом, причем в дом, который он очищал дважды. Не успел он тихонько соскользнуть с подоконника, как вдруг сам по себе зажегся яркий свет и мужской голос сказал из динамика: «Поздравляем с проникновением, маэстро. Просим прощения, что установили на окне тепловой датчик».

Ваше королевское величество, в гильдии разброд и роптание. Многие члены говорят, что нечего было ополчаться против программистов, что, мол, во всем виноваты ретрограды, засевшие в правлении. Что прогресс есть прогресс, и надо было не бороться против программистов, а открыть на средства гильдии колледж по подготовке воров-программистов для работы на компьютерах.

Ваше королевское величество, хранитель и воплощение высшей справедливости! Гильдия воров Эша припадает к вашим стопам с покорнейшей просьбой принять меры против жуликов-программистов. Да, ваше королевское величество, жуликов, ибо ни один из тех, кто обманывает машину, не достоин звания вора. Обмануть машину — это все равно что отнять монетку у маленького ребенка, который пошел купить себе конфету у уличного торговца.

Ваше королевское величество, сегодня компьютеры при всей их высокой эффективности всего-навсего бездушные машины. Но не завтра, так послезавтра в этих ящиках с проводками и полупроводниками может родиться настоящий искусственный интеллект. Можем ли мы позволить, чтобы эти неокрепшие умы росли в атмосфере циничного жульничества? Можем ли мы представить все последствия такого воспитания? А что, если машины начнут жульничать по своей воле? Ваше королевское величество, всех нас, ваших верноподданных слуг, охватывает ужас при мысли о том хаосе, который может возникнуть в королевстве, если презренные не-

честные программисты обучат свои компьютеры воровству и жульничеству.

Ваше королевское величество, гильдия воров падает к вашим стопам с покорнейшей просьбой как-то приструнить воров-программистов. Я кончил.

Почтительный гул одобрения пронесся по крылу амфитеатра, где сидели члены гильдии и их адвокаты. Противоположное крыло не менее почтительно зашикало.

Вперед вышел еще один адвокат, такой худой, что казалось, начинен он был не живыми внутренностями, а состоял из печатных схем. Он стал на колени, трижды гулко ударил головой о пол и молвил:

— Ваше королевское величество, разрешите мне ответить на... я не нахожу слов, чтобы дать определение тому чудовищному потоку лжи, диффамации, игре на предрассудках и, наконец, невежеству, которые мой уважаемый коллега столь нагло обрушил на вас, ваше королевское величество.

Компьютерная сторона сладострастно застонала от восторга, а Цурри-Эш нахмурился и сказал:

— Адвокат, меньше волнуйтесь из-за определений, для этого существует королевский научный совет, изложите нам факты.

— Истинно так, ваше королевское величество! Факты и только факты составят фундамент, а также стены и крышу наших построений...

— Не понимаю, адвокат, либо вы собираетесь изложить свои соображения, либо что-то строить...

Цурри-Эш слегка улыбнулся, видимо очень довольный своим остроумием, а воровская часть амфитеатра покатила со смеху. Смех был необыкновенно выразителен: в нем слышалось и презрение к противнику, и почтительная сдержанность, предписываемая этикетом, и восхищение остроумием верховного судьи.

— Ваше королевское величество, позвольте мне от лица пятидесяти тысяч программистов выразить вам

глубочайшую признательность за столь ценные указания. Да, ваше королевское величество, следуя вашим указаниям, мы не будем ничего строить, мы будем лишь излагать сухие факты. Компьютеры, как известно, эмоций не имеют и их не понимают. Они понимают лишь сухой язык данных, заложенный в программе. Поэтому мои подзащитные — это эши, привыкшие оперировать только фактами, а не эмоциями, которыми пытался жонглировать мой уважаемый коллега. Я преклоняюсь перед его профессиональной добросовестностью... — Глухой ропот недовольства прошелестел по лагерю программистов, а члены гильдии захлопали. Но адвокат поднял руку, призывая к тишине, и продолжал: — Да, господа, профессиональной добросовестностью, ибо чем же еще можно объяснить его смешные попытки, да что попытки, жалкие потуги оправдать неоправдаемое, защитить незащитимое, бросить тень на незатемняемое!

Ваше королевское величество, господа, позвольте прочесть вам несколько высказываний, сделанных триста с лишним лет назад теми эшами, которые подавали прошения в суды с просьбой запретить только что появившиеся гравитационные экипажи. Я цитирую отрывки, ваше королевское величество: «Совершенно недопустимой является беззвучность, с которой передвигаются эти новые экипажи, ибо, не слыша привычного грохота и шума, эши не смогут вовремя освободить дорогу и погибнут от ударов этого драконовского изобретения. Мною подсчитано, что, если сейчас же не запретить новомодные экипажи, за ближайшие тридцать лет практически все население Эша погибнет в результате дорожных происшествий». А вот еще одна цитатка, ваше королевское величество: «Передвижение живых существ со скоростью, с какой мчатся новые экипажи, является глубоко безнравственным и приведет ко всеобщему упадку морали. Наши предки жили в условиях медленного движения. Все вокруг было прочно, неподвижно и способствовало формированию правильного взгляда на

вещи. Но о каком взгляде на вещи можно говорить, когда сидишь в летящем экипаже и все вокруг сливается, теряет свои привычные очертания, становится зыбким и ненадежным. Такая скорость, безусловно, приведет к потере почтения к родителям и старшим у подрастающего поколения, ко всеобщему беззаконию».

Ваше королевское величество, смешно было бы мне попытаться сообщить вам какие-то новые факты, ибо король — сосредоточение всей мудрости и всего знания. Не сомневаюсь, что вы знали эти цитаты, ваше королевское величество, и я позволил себе привести их только для господ воров и их адвокатов, которые, увы, так слабы в истории. Да, ваше величество, они умеют незаметно залезть в квартиру, в беззащитные дома ваших кротких верноподданных, но они, очевидно, никогда не пытались залезть в библиотеку. Даже зайти в нее через дверь не пытались, ибо не за знанием они охотились, а за добычей.

Все новое всегда пугает. Страх перед новым, как пишет королевский историк Фариузи в своей книге «Страх как двигатель прогресса», был когда-то полезен, он заставлял наших бесконечно далеких предков спасаться всего, что было им незнакомо. Но мы ведь не дикари, нами правит мудрейший из мудрых монархов, и коль скоро он в своем всезнании даровал эшам компьютеры для облегчения различных вычислительных работ, преступно было бы усомниться в их пользе. Да, господа, преступно. Клянусь повелителем космоса, если бы мне в голову пришли такие сомнения, я бы сам явился к властям с просьбой бросить меня дракону. Целый эш, так сказать, ни одним кусочком не должен сомневаться в неизбывном знании его величества короля Цурри-Эша, в его мудрости. Пусть сомневаются сорок частей, остающиеся после встречи с драконом.

Итак, ваше королевское величество, я позволил себе напомнить тем невежественным и жадным эшам, что в своей корыстной слепоте осмелились побеспокоить сво-

его верховного судью, что смешно и преступно бояться новых изобретений. Да, среди программистов встречаются нечестные эши, смешно было бы отрицать это. Но ведь нечестные эши, увы, попадаются и среди водителей экипажей, и среди астрономов, торговцев, наладчиков очистных сооружений. Но глупо было бы требовать запрещения экипажей, астрономии, торговли, очистных сооружений.

Ваше королевское величество, пятьдесят тысяч программистов Эша припадают к вашим стопам с покорнейшей просьбой защитить их от кампании злостного очернительства, кою затеяли руководители гильдии воров. Я кончил.

Почтительное ликование программистов было прервано Цурри-Эшем, который поднял руку и сказал:

— В своей безграничной мудрости и вечном стремлении к справедливости король Цурри-Эш Двести десятый, выполняющий сегодня функции верховного судьи, сообщает, что заслушал аргументы обеих сторон и повелевает следующее:

В срок не более двух обращений малого светила гильдия воров должна разработать предохранительные меры, которые затруднят или сделают невозможными кражи посредством нарушения работы компьютеров. В тот же срок гильдия программистов должна разработать электронные устройства, надежные и недорогие, которые затруднят или сделают невозможными кражи из карманов, сумочек, портфелей, чемоданов, шкафов, сейфов и так далее.

Приспособления и устройства будут испытаны перед королевским судом ровно через два оборота малого светила. В случае, если таковые устройства представлены в срок не будут или окажутся малоэффективными, руководство той или иной гильдии будет отправлено на необитаемый остров или к дракону.

Следует заметить, что чрезмерно легкая жизнь способствует вырождению. Так, например, чрезмерно обиль-

ные урожаи холи в наших лесах привели к бесконтрольному размножению зарипов, в результате чего среди них наблюдаются болезни, в том числе легкомыслие, бесплодие и ожирение.

Его королевское величество и верховный судья Цурри-Эш Двести десятый не хотел бы, чтобы подобные несчастья обрушились на гильдию воров и программистов. Поэтому жизнь их должна быть более суровой.

* * *

Когда мы остались одни, Цурри-Эш с наслаждением начал чесать себе спину средней рукой, которая у эшей длиннее и гибче двух боковых.

— Представляете, Саша, все заседание умирал от желания почесаться. А нельзя. Королевское достоинство не позволяет. Как вы говорили... ага, noblesse oblige. Так вот и лишаешь себя простых радостей во имя королевского долга. Мало того, что почесаться публично не моги, приходится все время следить и за объективностью. А то так и подмывало крикнуть: все к дракону, сейчас же, шагом ма-арш!

Король жалобно вздохнул, еще раз поскреб спину всеми растопыренными семью пальцами средней руки и сказал:

— А вы говорите «самодержец»! Какой, к дракону, самодержец, когда почесаться всласть нельзя. Ах, Саша, Саша, земной мой друг, не ценят нас, монархов, не ценят. Вот вы недавно мне говорили, что таких архаических формаций, как на Эше, почти и не осталось в изученной вселенной. Верю, верю. Монархия, Саша, это жуткая штука. Хлопот что с компьютерами, что без них — полон рот. Ни днем покоя, ни ночью сна. И прав, прав тысячекратно был мой родитель незабвенный, когда учил меня, что мы, короли, сидим на вулкане. Спасибо ему, так всыпал мне по мягкому моему детскому седалищу, что сделал его необыкновенно чувствительным.

А ведь для хорошего профессионального короля, другой, не голова важна, а седалище. Такое оно должно быть чувствительное, чтобы улавливать малейшие колебания трона, чтобы заранее чувствовать изменения в вулкане. Я как-то раз был в хорошем настроении, уж и не помню отчего, призвал королевских сейсмологов и говорю им: «Господа, предлагаю вам соревнование. Вы устанавливаете самые чувствительные свои сейсмографы, а я просто сажусь на трон. Где-нибудь, ну, скажем, в сотне куней от дворца кто-нибудь топнет ногой. Посмотрим, кто из нас сумеет уловить колебания почвы. И что вы думаете, Саша? Я выиграл. Вот так-то. Нас, монархов, не просто любить нужно, жалеть нас нужно. А то сколь себя помню, ни разу не слышал: ваше королевское величество, бедненький мой, как же вас жаль, всемогущего! Бесчувственные твари эти эши, только о себе и думают. Ну что, устали?

— Честно говоря, да, ваше величество, просто слушать это словоговорение устал. А вам ведь и судить нужно было. Вы прямо как царь Соломон...

— Это с какой планеты? Что-то я не слышал...

— У нас на Земле был такой в библейские времена. Тоже судил.

— Ничего не подделаешь. Входит в штатные обязанности. Пообедаете со мной?

— С удовольствием, ваше величество.

— Ну тогда идемте. Как раз и время подошло. Королевский мой шеф-повар не любит, когда я опаздываю. Строгий эш. Я и не женился пока из-за него. Как хотите, говорит, ваше величество, но я королевы над собой не потерплю. Мне это руководство повседневное и дамская мелочная опека ни к чему. Лучше, говорит, я сам к дракону пойду.

Был момент, признаюсь, Саша, заколебался. Причем кандидатка не своя, не с Эша. Здешние мне и так доступны, отбою от них нет. Эта с нашей соседней планеты, с Круты, была. Такая забавная особа, рук, пред-

ставляете, семь, а глаз вовсе нет, они, оказывается, всей кожей видят. Кожное зрение называется. Такая смешная! И нежная, нежная, насквозь видна вся. Я, говорит, очень удобна для брака, на нас, дам Круты, по всей цивилизованной вселенной спрос. У нас ведь по семь рук, и ловкость их необыкновенная.

Потом думаю: а повар что скажет? Насколько я прогрессивен в нашей отсталой монархии, настолько я консервативен в личных привычках. Так ничем и не кончилось. Иногда, правда, взгрустнется, подумается невольно: хорошо бы рядом была такая, с нежными руками, прозрачная вся... О повелитель космоса, пути твои неисповедимы...

Мы вошли в малую королевскую столовую. Где-то запели трубы, и два огромного роста стражника молча отодвинули нам стулья.

Здесь я должен сделать небольшое отступление. Еще первая экспедиция с Земли, посетившая Эш, установила, что местная пища при всей ее экзотичности, вполне усваивается земными желудками. Тем не менее перед отлетом на Эш меня снабдили сверхконцентрами на случай, если я не смогу приспособиться к необычной кулинарии. Главная трудность — это совершенно непривычный вид пищи на Эше. Она носит скорее растительный характер. Я говорю «скорее», потому что растения, идущие здесь в пищу, не совсем растения. Они полурастения-полуживотные, хотя по форме гораздо ближе к растительному миру, по крайней мере в нашем восприятии. Но главное — эшская пища светится в тарелке. Причем это свечение зависит от качества пищи и ее приготовления и считается эшами главным критерием вкуса. Вначале, признаюсь, я закрывал глаза, чтобы не подавиться этими изысканными гаммами всех цветов радуги, но быстро привык.

Так вот, повар короля действительно был непревзойденный виртуоз. То, что лежало сейчас перед нами на тарелках, излучало необыкновенно чистый и глубокий

синий свет. Но как только я дотрагивался лопаточкой, которые заменяют здесь наши ножи, вилки и ложки, до побегов, похожих на колбаски, синий цвет тут же сменялся фиолетовым, потом красным.

После обеда король пришел в умиротворенное состояние духа, скорее по инерции опять жаловался на тяготы королевской жизни, потом вдруг надумал отправиться в обсерваторию к Зукки. Я отказался и не спеша побрел в Дом пришельцев. Не за горами было окончание командировки, и пора было начать как-то систематизировать горы материалов, которые у меня уже накопились.

Самое забавное, что я начал испытывать к Цурри-Эшу некую симпатию. Но это же смешно, говорил я себе. Дружба младшего научного сотрудника с королем сама по себе, конечно, непредосудительна, но с таким королем! Я, как мудрейший и справедливейший... Скромности в них нет, в этих монархах. Попробовал бы он побыть у нас на заседании сектора... Но, с другой стороны, зачем ему быть на заседании сектора, когда даже я иной раз старался придумать себе оправдание, чтобы не слушать нудных и справедливых поучений Аглаи Степановны...

Иногда мне начинало казаться, что мой королевский приятель с трудом сдерживает желание посмеяться над своей работой, что в душе он потешается над всеми этими атрибутами и обязанностями правителя Эша. Но я тут же напоминал себе, что сотни эшей, исчезающих в подземных очистных сооружениях и выталкиваемых на арену стадиона на расправу Малышу, вряд ли думают о чувстве юмора у Цурри-Эша.

А симпатии мои непонятные к нему объясняются, надо думать, привычкой и комфортом. Да, комфортом, потому что благорасположение ко мне его величества было общеизвестно и раскрывало передо мной все двери. А к комфорту привыкаешь быстро. Когда ты

имеешь то, чего не имеет ближний твой, или когда тебе позволено то, что не позволено другому, ах как неудобно и неуютно считать эти удобства несправедливыми. С дьявольской хитростью древнее чувство эгоизма начинает нашептывать, не сразу, конечно, не грубо, а потихонечку, по капельке: а может, это потому, что ты лучше других... вообще-то в этом есть и нечто несправедливое, но, с другой стороны... И так далее. И тут нужно быть безжалостным палачом: давить в себе змей-искусительниц без всякого судебного разбирательства.

Не хочу хвастаться, но в каком-то смысле пребывание на Эше сослужило мне определенную службу. Младший научный сотрудник, не говоря уже об аспиранте, существо угнетенное, бесправное, посылаемое на все кроссы, от лыжного до бега по пересеченной местности, на все курсы, которые больше никому не хочется посещать, получающее отпуск только после уборщиц и вахтеров, существо, на которое даже машинистки нашего мажбюро смотрят сверху вниз. Такому существу королевские почести могут только сниться, и то редко. И лишь здесь, на Эше, я оказался весьма привилегированной особой, волей обстоятельств приближенной к королю. Но нос не задрал, не забыл, кто я такой и откуда явился. Не загордился, не начал почтительно кланяться себе в зеркало и называть себя мысленно на «вы».

* * *

Здесь я должен во имя единства повествования перескочить сразу вперед на два обращения малого светила, что по нашим земным меркам соответствует примерно двум месяцам. Дело в том, что мне хочется закончить историю о битве воров и программистов, тем более что ничего особенно забавного за это время не произошло.

Итак, мы снова в зале королевского совета, эшей на этот раз меньше, зато между тронem и амфитеатром сто-

ит небольшой ярко-красный компьютер, два манекена, одетые в мужские и женские плащи, и открытый макет небольшой квартиры, сразу напомнивший мне павильон киностудии. Мой приятель Гена, помощник режиссера на «Мосфильме», как-то провел меня на съемки. Сплошное было разочарование. Скрипел и пах опилками вот такой же макет внутренностей какой-то квартиры, бегала и суетилась масса людей, все с крайне озабоченным видом, знаменитая актриса брезгливо жевала бутерброд. Лицо у нее было злос и вовсе не такое красивос, как на экранах.

— Ну, господа, начнем королевскую экспертизу. Сегодня утром мне как раз доложили, что на очистных сооружениях масса вакансий, ха-ха-ха, поэтому не будем терять времени, — сказал Цурри-Эш.

«Что это, — в который раз подумал я, — чувство юмора или жестокость? Или самолюбование?»

— Начнем с гильдии воров. Жалоба была их, пусть они и начинают. Вы готовы, господа?

— Так точно, ваше королевское величество. Следуя вашим многомудрым указаниям, гильдия воров, не жалея средств, наняла десять лучших кибернетиков и поручила им разработать устройство, которое исключало бы возможность для нечестных программистов пользоваться машиной в целях личной наживы. Решение проблемы, ваше королевское величество, кажется нам необыкновенно простым и остроумным.

— А именно? — спросил Цурри-Эш.

— Видите ли, ваше королевское величество, наши кибернетики не пошли по пути создания новых, все более сложных программ. Потому что на каждую новую страховочную программу можно составить контр-программу. Там, где речь идет о краже, ваше королевское величество, предела изобретательности эшей нет.

— Что же вы сделали, господа?

— Наши кибернетики пошли по другому пути. Они совместно с биологами и физиологами пришли к выво-

ду, что любой эш, совершая преступление, испытывает определенные психологические перегрузки. Соединение страха, жадности, восторга, возбуждения и тому подобных эмоций проявляется в изменении пульса, давления крови, потовыделения, заметным образом усиливается биополе, психополе, поле «я». Мы создали небольшую компактную приставку, которая подходит ко всем типам компьютеров. Каждый программист или оператор, начиная работать, должен предварительно подсоединить к себе датчики приставки. Иначе машина не включается. Так вот, как только он начинает любые противозаконные манипуляции с целью кражи, приставка тут же регистрирует изменения в его состоянии, подает сигнал тревоги и защелкивает ручные и ножные кандалы на конечностях преступника.

Стоимость приставки всего шестнадцать тысяч кулей, а в дальнейшем при массовом производстве цена сможет быть еще ниже.

— А если попадается особенно храбрый жулик, к тому же уверенный, что его не поймают, что тогда? Не будет страха — не увеличится пульс, частота дыхания и так далее.

— Как всегда, ваше королевское величество, вы бесконечно правы и дальновидны. Наши исследования показали, что действительно можно представить особенно мужественного проходимца...

— Ваше королевское величество! — вскочил адвокат гильдии программистов. — Я протестую! Мой досточтимый презренный коллега может называть нас ворами и жуликами, но я протестую против «проходимцев»!

— Протест принят, — кивнул король. — Вор может быть проходимцем, а может и не быть.

— Слушаюсь, ваше королевское величество. Я продолжаю. Итак, вор может оказаться эшем мужественным и не испытывать при краже страха. Он даже может не испытывать особой жадности, особенно если он ворует давно и успешно. Но исследования показали, что ни один

эш не может не испытывать чувства восторга при этом. Таков характер эшей. Поэтому нашу приставку обмануть невозможно. К сожалению, мы не можем продемонстрировать вам работу приставки...

— Почему? — нахмурился король.

— Видите ли, ваше королевское величество, любой программист, который сядет сейчас за машину, не осмелится жульничать в вашем присутствии и при работающей приставке, а стало быть, не будет испытывать эмоций, о которых мы говорили.

— Чепуха! — сказал Цурри-Эш. — Достаточно посадить за машину эша, который испытывал бы чувство страха. Не знаю, как программисты, но вообще-то такого эша найти нетрудно. С восторгом, разумеется, сложнее, господа, но чувство страха испытает любой эш, которого стражники схватят на улице. Адъютант! — поднял голос король.

— Слушаю, ваше королевское величество! — лихо отпартовал молоденький адъютант со вспыхнувшего экрана.

— Чтобы через три минуты здесь был первый же прохожий.

— Слушаюсь, ваше королевское величество.

Первый прохожий оказался эшем средних лет, одетым в серый чиновничий плащ. Он неуклюже повалился на пол и застыл.

— Ползите же! — зашипел адъютант, но чиновник лишь плотнее вжимался в пол. Казалось, еще минута-другая — и он исчезнет.

— Достойная скромность, — сказал король. — Народ должен ничего не видеть, молчать и не двигаться, но в данном случае посадите-ка его за машину.

Адъютант и стражник подхватили чиновника и усадили за операторский пульт.

— Слава королю! — слабо пискнул чиновник и снова закрыл глаза.

— Включите приставку, — приказал Цурри-Эш, и

тотчас же один из помощников адвоката метнулся к машине и нажал какую-то кнопку. В то же мгновение послышался леденящий душу вой сирены, яростно замигала мощная лампа, из компьютера высунулись манипуляторы, ловко нащупали руки и ноги несчастного чиновника и защелкнули на них легкие и элегантные кандалы. Чиновник начал клониться набок и упал бы, если бы они его не держали.

— Очень мило, — сказал Цурри-Эш. — Уберите этого господина, и, если он еще жив, наградите его моим портретом.

— Слушаюсь! — рявкнул адъютант.

— Ну-с, господа программисты, а как вы намерены усложнить жизнь членов гильдии воров?

— Ваше королевское величество, — сказал адвокат гильдии программистов, — в отличие от моего коллеги мне легче будет продемонстрировать наши достижения. Позвольте мне пригласить опытного карманника. Прошу.

— Век править королю! — поклонился необыкновенно респектабельный эш. Лицо его дышало благородством, а в осанке чувствовалось достоинство. — К вашим услугам.

— Перед вами два манекена. Согласитесь, что вытащить что-нибудь из кармана манекена легче, чем у живого эша, поскольку живые эши испытывают врожденное и стойкое отвращение к чужим рукам в их карманах. Просим, господин эксперт.

Карманник подошел к манекену, одетому в мужскую одежду. Я понимал, что он намеревался сделать. Я следил за его руками. Я ожидал увидеть ловкость рук. Но я ее не увидел. Я не увидел ее потому, что эксперт, казалось, вовсе и не был заинтересован в манекене. И тем не менее в его руках вдруг очутился бумажник, обычный бумажник, какие в моде на Эше — длинный и гибкий. Все засмеялись, но не потому, что респектабельный вор столь виртуозно продемонстрировал свое искусство, а потому, что от бумажника шла тонкая цепочка к карма-

ну манекена, и вор с недоумением смотрел на нее. Кроме того, какое-то сигнальное устройство громко и тревожно пищало.

— Идея необыкновенно проста, ваше королевское величество. Все ценные вещи в карманах должны иметь колечко, в которое пропускается одна из нескольких тонких цепочек. Как только цепочка натягивается, включается портативное сигнальное устройство. Цена комплекта, включающего пять цепочек и сигнальное устройство, составляет всего двадцать пять кулей.

А теперь я попрошу эксперта по квартирным кражам проникнуть любым удобным ему способом в установленный перед нами макет.

Тощенький немолодой эш с бегающими глазками подошел к двери, сделал несколько движений, похожих на пасы иллюзиониста, и хотя я готов был поклясться своей еще не написанной докторской диссертацией, что он не прикасался к замку, замок щелкнул и дверь открылась.

Вор достал из кармана маленькую коробочку, нажал кнопку, и из нее бесшумно выползла антенна, которую он всунул в приоткрытую дверь. На коробочке вспыхнула зеленая точка.

— Портативный универсальный детектор, ваше королевское величество, — пояснил вор, — регистрирует присутствие любых электронных ловушек. Как только я вижу, что таких ловушек нет, я смело вхожу в помещение.

Вор сделал осторожный шаг, все еще держа в руках детектор, но в это мгновение что-то негромко хлопнуло, словно вытащили плотную пробку из бутылки, что-то мелькнуло в проеме двери, и эксперт издал крик досады и удивления. Он был окутан сеткой, которую тщетно пытался стащить с себя.

— Ничего удивительного, ваше королевское величество, что детектор не среагировал. Он обнаруживает присутствие электронных приборов, но наш сетемет приводится в действие тепловым инфракрасным излучением,

испускаемым любым нагретым телом, в том числе и воров.

— Очень мило, — сказал Цурри-Эш, — его королевское величество благодарит за доставленное удовольствие. Все свободны.

— Но ваше королевское величество... — начал было адвокат гильдии воров, но король прервал его:

— Обычно я не терплю слова «но». Оно пригодно для обычных эшей. А поскольку я всемогущ и всемогущ, слово «но», предусматривающее всякого рода возражения, для меня не существует. Но раз вы просите объяснений, его величество в своей неизбывной доброте представляет их. Дело в том, господа, что по моему приказанию министр юстиции, полиции и очистных сооружений сразу же установил за вами постоянную слежку, так что я в курсе ваших дел. Я знаю, например, что изобретатели приставки к компьютерам одновременно сконструировали адаптер, который преобразует все сигналы от датчиков таким образом, что приставка безмолвствует. Я также знаю, что вместе с цепочками разработаны мощные и легкие кусачки, легко их перекусывающие. Таким образом, господа, его королевское величество благодарит вас за технический прогресс и мудро предоставляет воровскому промыслу развиваться естественным путем. Всего наилучшего, господа.

5

— Саша, друг мой, — сказал Цурри-Эш, — у меня к вам просьба. — Он хмыкнул, покачал головой, пожевал губы. — Просьба! Вам не кажется это смешным — всемогущий повелитель Эша обращается с просьбой к младшему научному сотруднику, да еще с другой планеты...

Король снова замолчал. Я ни разу не видел его таким смущенным. Он, казалось, мучительно ворочал в голове мысли и никак не мог решиться высказать их.

На него это было непохоже. Обычно он сначала говорил, а потом уже думал, а иногда не думал и потом.

Я молчал. Надо было бы, конечно, подбодрить беднягу: смелее, ваше величество, я вас не укушу, но нет ничего на свете ненадежнее, чем королевское чувство юмора.

— Саша, я просто не знаю... Впрочем, ладно. Так или иначе, вы ведь скоро улетаете. Когда у вас кончается командировка?

— Ракета должна быть здесь через одно обращение малого светила.

— Да, помню. Тем лучше. То есть я вовсе не хочу этим сказать, что рад вашему возвращению на Землю, но... Сейчас вы поймете. Видите ли, друг мой, впервые в жизни я в сомнении, а королям сомнения категорически противопоказаны. Мало того, что от них повышается давление крови и пропадает аппетит, они способствуют потере трона, а иной раз и головы.

— Что же заставляет вас сомневаться, ваше королевское величество?

— Гм... сейчас я вспомню одно выражение, которое вы несколько раз употребляли... ага, вспомнил: хочется и колется. И это меня удручает, тут скрыт скверный парадокс. Если самодержцу и может что-то хотеться, то уж колоться — ни в коем разе. И тем не менее колется. И это ужасно. Совершенно незнакомое ощущение. Крайне неприятное, должен вам доложить. Чувствуешь себя простым смертным, каким-нибудь рядовым эшем, а не просвещенным деспотом...

— Так что же все-таки терзает вас, ваше королевское величество?

— Наука, друг мой, наука.

— Ничего не понимаю. Вы казались мне на редкость просвещенным монархом, по крайней мере в научно-популярной сфере.

Я поймал себя на том, что не употребил обращение «ваше королевское величество». Цурри-Эш был прав, со-

мнения не к лицу властителям. Вот-вот я уже назову его «Цуррик, дружище».

— Это верно, я фантастически образован. Вы знаете, я даже школу кончил, домашний курс, разумеется. Вещь для короля неслыханная. И все-таки наука повергает меня в печаль и сомнения... — Король глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сказал: — По моему приказанию лучшие кибернетики Эша в течение пяти обращений большого светила разрабатывали большой исторический компьютер...

— Исторический компьютер?

— Да, Саша, да. В него ввели всю историю Эша и запрограммировали на составление прогноза на ближайшие двадцать обращений большого светила... — Король замолчал, судорожно, как плачущий ребенок, вздохнул. — И вот компьютер установлен в моем рабочем кабинете. Он опечатан. И ждет лишь, когда я его включу. — Цурри-Эш вдруг остренько посмотрел на меня и спросил: — Саша, вы хотите знать свое будущее?

— Как вам сказать, ваше величество. Скорее нет. Я его и так более или менее знаю. Вернувшись на Землю, я защищу докторскую диссертацию. Не сразу, конечно, это не так-то просто. Ее еще и написать нужно. Ну-с, в конце концов мы с Зиной так устанем от наших постоянных ссор и скандалов, что поженимся. Это, знаете, как ближний бой у боксеров. Чтобы отдохнуть, вешаются друг другу на шею. Не забывая, конечно, награждать при этом друг друга тумачами. Ну, может быть, стану заведующим сектором в нашем институте. Слетаю еще на десяток планет. Потом, лет в сто пятьдесят, тихо и благодушно скончаюсь, если, конечно, не надумаю жить и дальше. Вот, собственно, и все. Зачем же мне точно все знать? Это, ваше королевское величество, все равно как посмотреть, чем кончается детектив, а потом начать его читать.

— Вот видите, в этом-то вся разница между младшим научным сотрудником и королем. У вас все ясно, —

завистливо сказал король, и лицо его стало злым и неприятным. — Вам что грозит? Одна, так сказать, эфемерность. А у меня планета на руках, цивилизация. Дракон один знает, как ее развивать и развивать ли вообще. Одни заговоры замучили. Вы думаете, после того, как дракон разорвал премьер-министра, больше не было попыток? Три заговора с тех пор! Три! Представляется? Кажется, приди, скажи открыто, так, мол, и так, хочу сесть на трон. Может, я ему еще все три руки пожму. Так нет, плетут, плетут интриги, не приближенные придворные, а пауки.

Выходит, для монарха знание будущего не роскошь, а средство сохранения престола.

— Так что же вас смущает? Включите электронного своего прорицателя и посмотрите, что вас ждет.

— Гм, легко сказать: посмотрите! А если вдруг увижу, как дракон берет меня в свои лапки и непринужденно начинает разрывать на части, а стадион скандирует: раз, два, три, четыре... Как я после этого править буду? Деспот, Саша, должен быть оптимистом.

— Тогда не включайте свой компьютер. Разбейте его.

— Неглупо, друг мой, неглупо. Очень прогрессивный подход к проблеме, но ведь хочется, Саша, ох как хочется хоть глазком взглянуть в будущее. Знать, кого и чего остерегаться. Я вам, Саша, больше скажу, открою вам все тайники королевского сейфа: готов править на пару с компьютером. Он пусть предсказывает и предупреждает, а я, так сказать, его исполнительный орган. Эффектор, выражаясь научным языком.

— Тогда включите.

— А колется. Страшно. Вот я и хотел просить вас... Я с этим-то вас и пригласил... Включите компьютер вы. Посмотрите, что там меня ожидает. А потом уже мне скажете. Я, друг мой, вам вполне доверяю. Если уж выслушать приговор, то хоть от друга. У нас, знаете, был когда-то обычай: если уж нужно было кого-то предать

или даже казнить, просили это сделать друга. Но это я к слову. Сделаете мне эту услугу, а? А я за это прикажу выбить ваш горельеф и установить его на стене в зале королевского совета, а?

— Обижаете, ваше величество. Я и без этого с удовольствием помогу вам.

Все три глаза Цурри-Эша увлажнились.

— Все б у нас такие были, — вздохнул он. — Вот, друг мой, ключ от компьютера. Чтобы освоиться, можете сначала посмотреть картинки прошлого...

— Что ж вы сразу не сказали! — воскликнул я. — Это ж, это ж... это ж даже передать нельзя, как я вам благодарен! Это для моей диссертации золотая жила!

— Тем лучше, друг мой. Идите, и да пребудет с нами повелитель космоса.

* * *

Я довольно быстро освоился с управлением компьютера: подобно земным моделям, запрос вводился обычной клавиатурой. Я напечатал: «Возникновение династии Цурри». Буквы на дисплее повторили мой запрос, и тут же экран засветился, и ражий бородатый эш воткнул здоровенный грубый кинжал в спину согбенного старца.

Это не было кино, конечно, или какой-либо другой формой хранения информации. На нижней части экрана бежали слова, рассказывавшие, как молодой воин по имени Цурри убил больного вождя племени и провозгласил себя новым правителем. А картинки, похожие на мультфильм, лишь иллюстрировали текст.

Не могу точно сказать, сколько я просидел перед компьютером, разбираясь в белых для меня пятнах истории Эша. Меня подгонял скрипучий голос Аглаи Степановны: скажите, товарищ Бочагов, а почему у вас так слабо освещен вопрос развития ремесел? А почему вы обходите систему землепользования на Эше? А почему? А где? А как? А кто?



Я бы, наверно, просидел перед компьютером еще несколько дней, но вдруг подумал о том, что сейчас должен чувствовать мой друг Цурри-Эш. Нехорошо, сказал я себе, учить короля благородству, а сам, как последний эгоист, присосался к машине. Я запросил компьютер о правлении Цурри-Эша Двести десятого. Теперь изображения на дисплее были менее условны. Очевидно, информация, введенная в память машины, была гораздо более подробной. Но зато и бегущая строка внизу, и сами изображения сменялись много медленнее. Это было понятно. Электронные потроха не выдавали готовую продукцию, а раскидывали так и эдак, взвешивали тысячи факторов, сравнивали, экстраполировали. Но вот компьютер ускорил движение, словно пришел к твердому заключению. А заключение не было для меня неожиданным. Я видел, как толпы эшей двигались по улицам, переворачивая экипажи, как дорогу им пытались преградить стражники, как вспыхивало в их руках какое-то незнакомое мне оружие, как эши падали, обугленные и страшные. Но толпа странным образом не убывала, она уже валом катила по улицам, и там, где она прошла, не оставалось уже ни одного стражника.

Вот и дворец. Цурри-Эш с перекошенной физиономией смотрит из окна. Он начинает что-то кричать, метаться, но вдруг останавливается и, словно замороженный, смотрит на дверь. Она вспучивается противоестественно под напором тел и падает вовнутрь комнаты. Сотни рук тянутся к королю, хватают его. И вот, прочертив в воздухе невидимую и короткую линию, он лежит на мостовой.

Я нашел короля в спальне. Он приказал немедленно проводить меня к нему, как только я выйду из кабинета. Он лежал на кровати и, увидев меня, тут же вскочил.

— Ну? — выдавил он из себя.

— Ваше величество, мне кажется, ни одно разумное существо не может не любить путешествия...

— Что вы хотите этим сказать? — спросил король, но

по тому, как посерело его лицо, я видел, что он понял.

— Я хочу сказать, что любопытство, стремление увидеть и узнать что-то новое — на редкость универсальная черта всех мыслящих существ во вселенной. Вы же, ваше величество, сиднем сидите на одной планете. Как бы вы посмотрели на то, чтобы полететь со мной на Землю? Я уверен, что вас с удовольствием зачислят в штат нашего института. Консультантом. — Мне хотелось добавить, что до младшего научного сотрудника ему как до неба, но тут же спохватился, что, пожалуй, даже дальше.

— Это нужно? — жалобно спросил король.

— Так нужно, Цурри-Эш. — Первый раз я назвал его по имени. Надо было готовить его к жизни на Земле. Трудно было представить, чтобы в нашем отделе кадров к нему обращались «ваше королевское величество».

— Так плохо, Саша? Я это подозревал... Во сне видел...

— Что значит плохо? Для кого? Для Эша? Насколько я знаю историю галактических цивилизаций, это случается всегда. Раньше или позже, но всегда. И потом, положи все три руки на сердце, так ли вы уверены, что монархия — лучшая форма правления? Да и вообще, охота вам с утра до вечера заседать, управлять, казнить, миловать, бояться заговоров? Жуткая работа.

— Это верно, — вздохнул король. — Ну а не зачехну я там у вас без обязанностей? Знаете, что такое отрекшийся король?

— Вот уж этого не бойтесь, ваше величество! Чего-чего, а дел хватит. И работы, и общественных нагрузок. Стенгазету, например, выпускать будете.

— Стенгазету? Что это?

— Не беспокойтесь, ваше величество, научим. Я уж и название придумал: «Голос консультанта». Как?

— А что, — вдруг оживился Цурри-Эш, — звучит внушительно...

СОДЕРЖАНИЕ

Черный Яша
5

Часы без пружины
93

Беседы с королем Цурри-Эшем
Двести десятым
219

ИБ № 4024

Зиновий Юрьевич Юрьев

ЧАСЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ

Редактор **В. Родинов**

Рецензент **С. Абрамов**

Художник **В. Плевин**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Е. Михалева**

Корректор **Т. Крысанова**

Сдано в набор 01.11.83. Подписано в печать 12.04.84.
A08002. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Услови.
печ. л. 13,2. Усл. кр.-отт. 13,65. Учетно-изд. л. 14,1.
Тираж 100 000 экз. Цена 95 коп. Заказ 1729.

Типография ордена Трудового Красного Знамени из-
дательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Су-
щевская, 21.